

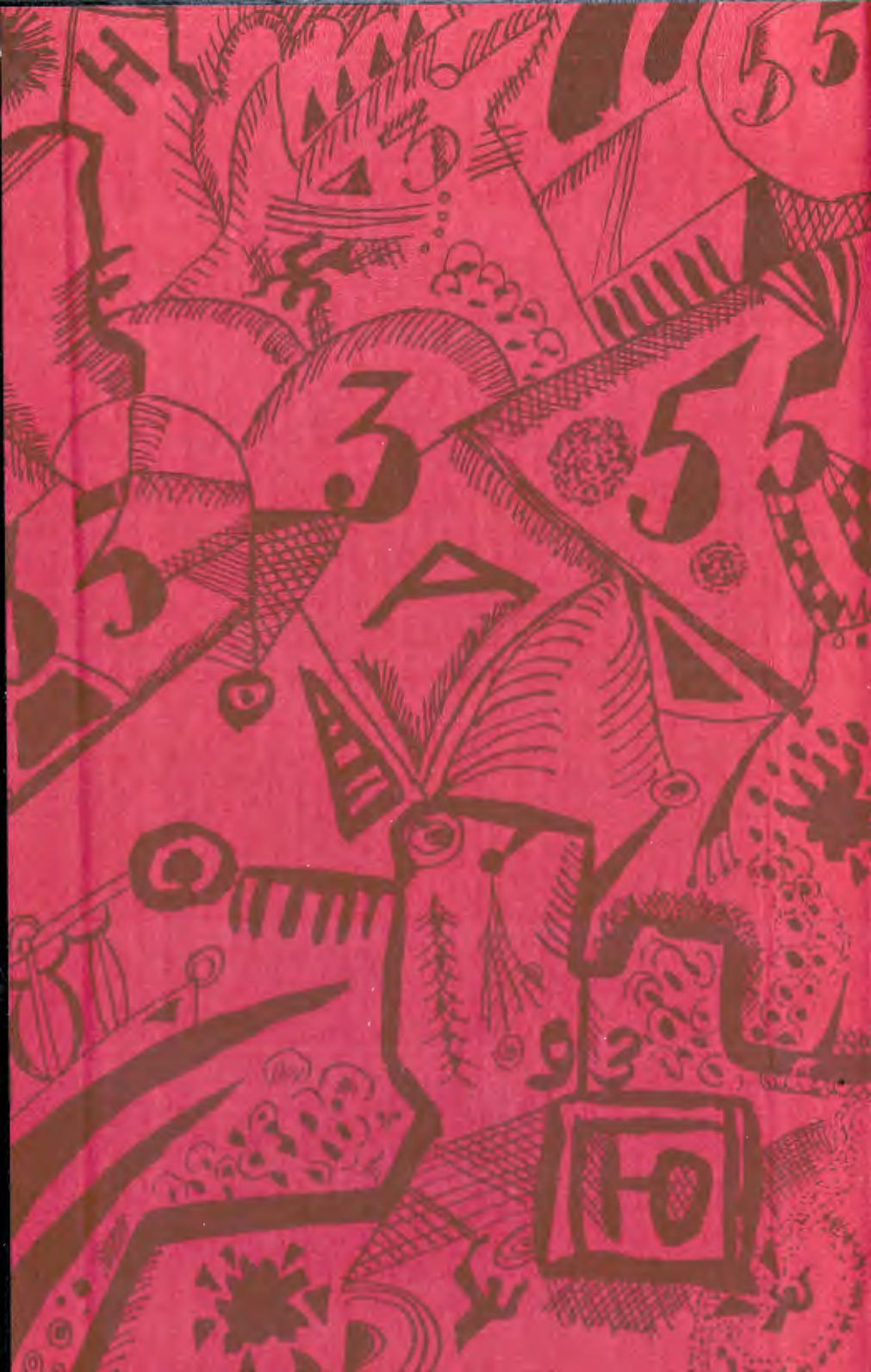
ЮРИЙ КОВАЛЬ

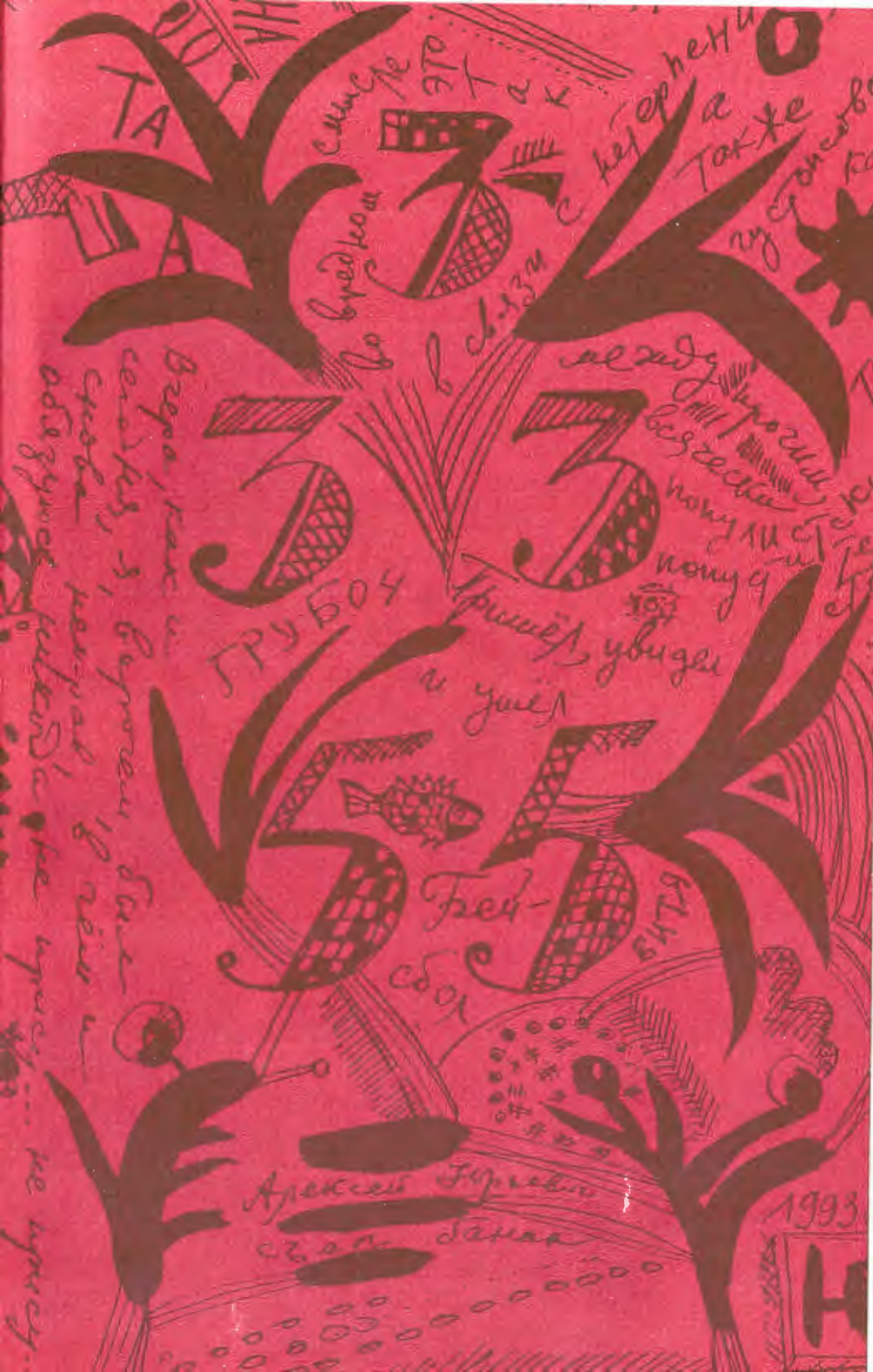
ОПАСАЙТЕСЬ

ЛЫСЫХ УСАТЫХ

И







ТА

А

Смысл
вредком
это
так

непереносим
также
Гонимые

Вера, как и
сестры, и, безразличия
сестра, не-рад, в нем и
однажды, фальшива, не успев...

Грубой

алкоголизм
беззастенчиво
понижу
понижу
Трешка
уши

Белый
Белый

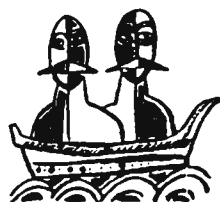
Алексей Тихонов
Своя страна

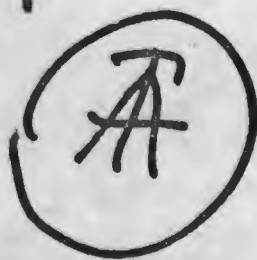
1993

Н



ЮРИЙ КОВАЛЬ





ЮРИЙ КОВАЛЬ

ОПАСАЙТЕСЬ ЛЫСЫХ И УСАТЫХ

Повесть
Рассказы



РИСУНКИ
АВТОРА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИЖНАЯ ПАЛАТА»
1993

ББК 84Р7
К56

На фронтисписе
портрет *Юрия Коваля*
Рисунок
Арсения Александровича Тарковского

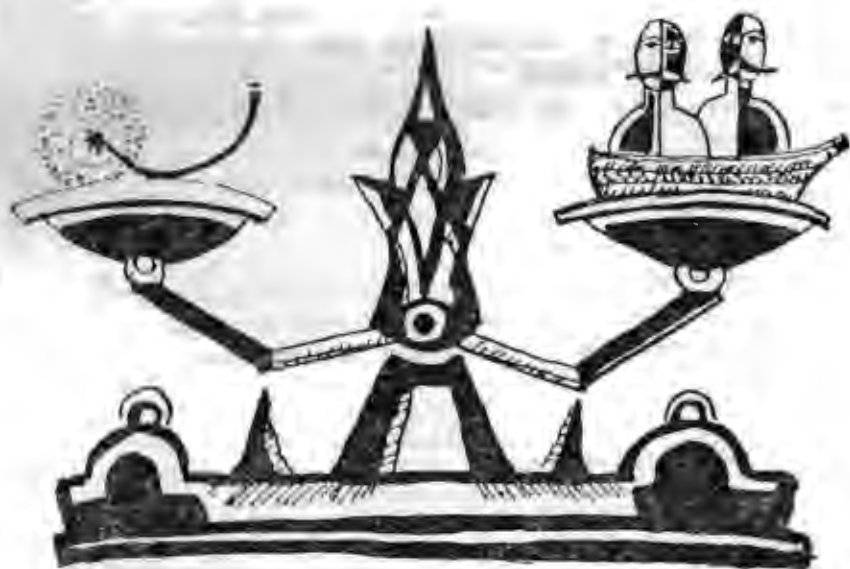
Оформление *Марата Кима*

К 4702010201-010 Без объявл.
008(01)-93

ISBN 5-7000-0404-6

© Юрий Коваль, текст, рисунки;
рисунок А. Тарковского, 1993
© Марат Ким, оформление, 1993

**СА
МАЯ**
ЛЁГКАЯ
ЛОДКА
В
МИРЕ
Повесть



О КНИГЕ ДРУГА

Вам предстоит сейчас увлекательное чтение.

Перу Юрия Коваля принадлежит одна из моих любимых книг — «Недопёсок» — история молодого песца, убежавшего со зверофермы «Мшага» ранним утром 2 ноября.

Другой его роман, «Пять похищенных монахов», также занимает почетное место на наших книжных полках.

Новая книга Юрия Коваля проникнута собственным писателем светлым юмором. Я читал ее, испытывая восхищение перед ярким и своеобразным дарованием автора.

«Самая легкая лодка в мире» — вещь необычного жанра.

В ней есть мечта, в ней есть сказка.

А сказка, которая живет в нас с детства, никогда не умирает.

Спасибо писателю за новый подарок, который он преподносит и юному читателю, и тому, кто, читая эту книгу, снова переживает свою молодость.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I МОРСКОЙ ВОЛК

С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой. Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб блестел, чтоб прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали: «Это морской волк».

В соседнем дворе жил ударник Витя Котелок. Он не был ударником труда. Он был ударник-барабанщик. Он играл на барабане в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние — железные.

Витя умел «кинуть брэк».

Перед началом кино оркестр играл недолго, минут двадцать, и наши ребята мучительно ожидали, когда же Витя «кинет».

Но Витя нарочно долго «не кидал».

Наконец в какой-то момент, угадав своим барабанным сердцем особую паузу, он говорил громко:

— Кидаю!

Оркестр замирал, и в полной тишине начинал Витя тихохонько постукивать палочкой по металлическому ободу барабана и вдруг взрывался, взмахнувши локтями. Дробь и россыпь, рокоты и раскаты сотрясали кинотеатр.

Витя Котелок подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке так, чтоб он светил через вырез воротника.

Я расстегивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу.

Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался.

По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели:

В нашу гавань заходили корабли,

Большие корабли из океана...

Сумерки опускались на Москву и приносили с собой запах моря. Мне казалось, что в соседних переулках шумит при-

бой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движение волн.

Распахнув пошире воротник, я бродил по Дровяному переулку, сиял зубом в подворотнях. Порывы ветра касались моего лица, я чувствовал запах водорослей и соли.

Море было всюду, но главное — оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины.

В тот день, когда я пришел к майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком.

Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк, я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро.

Мало приходилось мне мореходствовать. Как-то две недели проболтался в Финском заливе на посудине, которая называется «сетеподъемник», обошел Ладожское озеро на барже под названием «Луза».

Шли годы, и все меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в Дровяном переулке, ни в Зонточном.

— Выход к морю, — бормотал я про себя, гуляя по Яузе, — мне нужен выход к морю. Мне просто-напросто негде держать корабль. Вот Яуза — родная река, но попробуй тут держать корабль — невозможно. Мертвый гранит, отравленные воды.

Каждый год собирался я в далекое плавание, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато, строить плот — громоздко.

— Купи резиновую лодку, — советовал старый друг художник Орлов.

— Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то свое, необычное.

— Сделай корабль из пустых бутылок. В каждую бутылку сунь по записке на случай крушения — и плавь!

Целый вечер сидели мы у Орлова в мастерской, что находится как раз у Яузских ворот, и придумывали корабли и лодки из разных материалов — птичьих перьев, разбитых гитар и даже членских билетов спортивного общества «Белая лебедь».

— В Москве невозможно держать корабль, — сказал наконец Орлов. — Какой тут корабль? Стены, машины, троллейбусы. Тебе нужен выход к морю.

— Конечно! — крикнул я. — Выход к морю! Я задыхаюсь без выхода к морю и нигде не могу его найти. А Яуза — это не выход.

— Яуза — прекрасный выход. Построил бы корабль и

поплыл прямо из мастерской. Но держать здесь корабль невозможно. Строй лодку — корабля тебе в жизни не видать.

И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль.

Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль все-таки легко выскочила наружу:

— Я построю лодку, но только самую легкую в мире.

— Самую легкую? В мире? А сколько она будет весить?

— Не знаю... Хочется поднимать ее одной левой.

— Без бамбука тут не обойтись, — сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. — Бамбук — самый легкий материал.

— Куплю десятка два удочек.

— Удочки — это прутики. А нужны бревна.

Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, и казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали закупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя.

Постепенно разошелся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук. Неизвестные лица, большей частью с Птичьего рынка, звонили мне:

— Вам нужен бамбук? Приезжайте.

Я ездил по адресам — чаще в сторону Таганки, но всюду находил удочки или лыжные палки. Кресла, этажерки, веера.

Вместе со мной болел «бамбуковой болезнью» художник Орлов, который был вообще легковоспламеняем.

Коренастый и плотный, он никак не соответствовал своей гордой фамилии. Во всяком случае, ничто не напоминало в нем орла — ни нос, ни бледный глаз, разве только усы растопыривали порой свои крылья и сидели тогда на бороде как орел на горной вершине.

— На Сретенке живет милиционер Шура, — сообщил мне Орлов, — говорят, он видел бамбук.

— Какой милиционер?

— Не знаю, какой-то милиционер Шура, художник.

— Что за Шура? Художник или милиционер?

— Сам не пойму, — сказал Орлов, — Петюшка Собаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно.

Несколько дней через нашего знакомого Петюшку мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер-Шура-художник будет ждать нас в половине двенадцатого ночи на углу Сухаревского переулка.

Глава II

БАМБУК ИЛИ ГРАММОФОН?

К ночи разыгралась метель.

Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по Сретенке. На улице было снежно и пусто — мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри. На углу Сухаревского переулка стоял милиционер в служебных валенках.

— Не знаю, как с ним разговаривать,— шепнул я Орлову,— как с милиционером или как с художником?

Валенки шагнули к нам.

— Ищущие бамбук следуют за мной,— сказал милиционер в сретенское пространство, оборотился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскальзываясь, мы поспешили за ним.

«Ищущие бамбук следуют за мной»,— повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник, а уж во второй — милиционер.

Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной камерке. На столе стояла электрическая плитка и старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый граммофон. Признаков желанного бамбука видно не было.

Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки, включил плитку, поставил на нее чайник.

— Это моя творческая мастерская,— строго сказал он.

— Мало метров,— живо откликнулся Орлов, и они завели длинный разговор о мастерских и долго не могли слезть с этой темы. Кубатура, подвальность, заниженность...

Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бамбуком и не пахло.

Меж тем милиционер все больше превращался в художника. Он уже снял шапку и размахивал руками, как это делали, наверно, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся, вопрос «где бамбук?» крутился у меня в голове.

— Ты что молчишь?— сердито шепнул Орлов.— Хочешь бамбук — хвали этюды.

— Отличные этюды,— сказал я,— сочные — вот что ценно. А где же бамбук?



— А зачем вам бамбук? — спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. — Для каких целей вам нужен бамбук?

Вопрос был задан столь серьезно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок.

Орлов объяснил, в чем дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер-Шура-художник-любитель немного смягчился.

— Да бросьте вы, ребята, этот бамбук, — неожиданно сказал он, — хотите, я вам граммофон отдам?

— Граммофон? Но мы в связи с бамбуком...

— Берите граммофон. Пружину вставьте — будет играть. А бамбук — ладно. Потом как-нибудь и бамбук достанем.

Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевел взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать: или бамбук, или граммофон.

— Хороший граммофон, — пояснил Шура, превращаясь в художника. — Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите какая труба!

— Давай и граммофон и бамбук, — не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды.

— Не много ли? — сказал Шура, и взгляд его двинулся в милицейскую сторону.

— Погодите! — сказал я. — Какой еще граммофон! Вы же обещали нам бамбук показать.

— Да на улицу выходить неохота, — признался милиционер-художник. — Надоела эта метель, совсем замерз на посту. А там еще в подвал лезть. Лучше бы посидели, о живописи поговорили... Ну ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам почищать буду.

Глава III

ПРОВАЛ

За полночь метель разыгралась всерьез. Снежные плети хлестали по лицу, фонари в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками.

Я замерз, но веселился про себя, мне казалось смешно — ночью, в метель, идти по Москве за бамбуком. Орлов отставал. Его тормозил оставшийся граммофон.

— Я не уверен, что это бамбук,— говорил милиционер-художник.— Торчит из подвала что-то, какие-то деревянные трубы.

— Вот видишь,— сердито шептал Орлов.— Надо было брать граммофон.

Проходными заснеженными дворами подошли мы к трехэтажному дому. Окна его были темны, а стекла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнезда.

— Дом скоро снесут,— сказал Шура.— Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа, а подвал вон там.

Сбоку к дому был пристроен коричневый сарай. Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперед и остановился.

— Это не подвал, а провал,— ворчливо сказал он.

Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда,— трубы, покрытые столетней пылью.

— Нужен крюк,— сказал Орлов.— Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим ее наружу.

— Какой крюк? — нетерпеливо спросил я.— Где он? Держи меня за хлястик, а Шура пусть фонариком светит.

Орлов крепко ухватил меня за хлястик, я наклонился над провалом, протянул вперед руку. До трубы было довольно далеко, но рука моя все вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойствам человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два, хлястик неминуемо лопнул и я полетел в тартарары.

Ударившись коленями о груды щебня, я повалился на бок. Какие-то кроватные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня.

— Я говорил: надо загогулину,— сказал Орлов, ослепляя меня фонариком.— Посмотри, что это за круглая штука валяется.

Я поднял овальную жестянку, протер ее. Из-под слоя пыли выглянули тисненные буквы.

— Кинь ее сюда,— сказал Орлов.

Под светом фонаря я забрался на груды щебня и дотронулся наконец до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась легкая и неожиданно длинная. Я направил конец ее в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу.

Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме и как милиционер-художник

подает какие-то совершенно небамбуковые команды — «заноси левее», «ложи ее под фонарь» и т. д.

Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос:

— Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук!

И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Но вот глубокой ночью я стоял на дне пропыленного подвала и подавал одно за другим наверх настоящие бамбуковые бревна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый, с удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес.

Орлов вытаскивал бревна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стушевался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации: как милиционеру или как художнику, поэтому и выступил в роли осветителя.

Когда мы вытащили пять бревен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал:

— Хватит.

— Почему? Мало на лодку.

— На самую легкую в мире хватит.

В подвале лежало не меньше двадцати бревен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собрались утащить все. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчеркивая свою твердость.

Под миганье мы уговорили Шуру дать нам еще одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх.

При свете уличного фонаря я рассмотрел наконец бамбук. Орлов воткнул бревна в сугроб. Толщиной с водосточную трубу, оранжевые и коричневые, блестели они, будто покрытые лаком.

— Увязывайте и пакуйте, — сказал Шура-милиционер, — а в субботу приходите граммофон слушать.

Толкаясь локтями, мы жали Шуру руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал:

— Становись-ка ты, Шура, художником.

Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны:

— Не слушай его, будь милиционером.

— Я и сам не знаю, как тут быть, — признавался милиционер-художник, притопывая валенками. — Душа разрывается. И то и другое — дело нужное.

— Надо избрать что-то одно, — сказал Орлов. — И дуть в эту дудку. А то душа разорвется.

— У меня душа крепкая, — объяснял Шура. — Ее так просто не разорвать.



— Дуй в две дудки,— уговаривал его я.— Это душу укрепляет.

Так обнимались мы под метелью, и, когда обнялись окончательно и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестянку.

Красная краска на ней местами облупилась, проржавела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись белым по красному:

Ч А Й

Т-во Чайная торговля
В. ВЫСОЦКИЙ и К°
Москва

Глава IV

НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

Перед нами была старинная вывеска. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук?

— Ты знаешь, чего я думаю,— сказал Орлов,— я думаю, что в этих бревнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили вот на таких лодках, которые называли «чайный клипер».

Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линией. Он пошел кратчайшим путем к истине и промахнулся.

Орлов просто-напросто устал. Его оглушила потеря граммофона. Ведь он мог запросто уносить сейчас под мышкой граммофон, а вместо этого возился с моим бамбуком.

Была уже глубокая ночь. Снег валил со всех сторон.

Мы замерзли и долго связывали бамбук веревкой, связали, звалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных бревен.

Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны выкатывались вслед за нами из темных подворотен, схлестываясь под фонарями, и улетали кверху — гроыхать на крышах, выть на чердаках.

— Воет, как граммофон,— недовольно ворчал Орлов, который шел впереди.

— Право руля! — кричал ему я.

Метель то подталкивала нас в спину, то налетала сбоку и разворачивала поперек улицы. Мы неловко маневрировали, напоминая баржу. Это было первое плавание самой легкой лодки в мире.

— Левая, загребай! Правая, тараны! — покрикивал я и вдруг услышал сзади:

— Стоп-машина!

В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник. Но ошибся. Нас догонял не художник, но — милиционер.

— Суши весла! — крикнул я, и мы повалили связку на снег.

Милиционер-нехудожник оглядывал и нас и бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная труха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке, до блеска начищенная метелью, сверкала как утренняя звезда. Милиционер молчал.

Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал.

— Метель-то какая, а? — сказал он милиционеру.

Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошел он бамбуковую связку, посветил фонариком в черные жерла бревен.

— Попрошу документы.

— Документов нет.

— Попрошу накладные на стройматериалы.

— Ничего такого у нас нет.

— А где вы это... гм... взяли?

— Это бамбук, — чистосердечно ответил Орлов. — Нам его милиционер-художник подарил.

На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно. Фраза озадачила милиционера, несколько секунд переваривал он ее и сказал неожиданно:

— Это Шурка, что ли?

— Шура. Который на Сретенке стоит.

— Да откуда же у Шурки бамбук? Где ваши накладные?

— Накладные остались у Александра, — вставил я. — Необходимы дополнительные печати.

— Какие еще печати? Откуда бамбук?

— Он лежал в Сухаревском переулке, — принялся объяснять Орлов. — У милиционера-художника в подвале. Мы там и вывеску нашли.

Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и К°», которая делу особо не помогла.

— Пройдемте до отделения, — сказал милиционер.

— Да что вы! Пойдемте лучше ко мне в мастерскую, — приглашал Орлов. — Заварим чаю, разберемся.

— Уж если разбираться, так в отделении.

— У нас чай со слоном. А можем чаю-медведя сделать. Согреетесь.

— Уж поверьте нам,— уговаривал я.— Не крали мы этот бамбук. Пойдемте, посмотрите, где мы живем, и если надо, арестуйте.

Некоторое время уламывали мы милиционера, и наконец он согласился, помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперед, а милиционер-нехудожник важно шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой легкой лодки в мире участвуют сопровождающие корабли.

— Вы знаете,— сказал я милиционеру,— вы участвуете в первом плавании самой легкой лодки в мире.

— Как это так?

— Из этого бамбука мы построим самую легкую лодку планеты.

— На легкой-то далеко ли уплывешь? Да и зачем она вам? Рекорды, что ль, бить?

— Да надо бы их побить,— веселился я.— Чего глядеть-то на них?

— Делайте плоскодонку. У нас в Мещере все на плоскодонках плавают. Из осины долбят.

Пока мы шли к мастерской, милиционер-нехудожник вспоминал, как делают лодки у них в Мещере, как выбирают осину, как долбят, как парят, как разводят ее.

Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал:

— Накладные — бог с ними. Но где же все-таки хоть какие-то документы?

Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашел квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин.

— Хорошо, что вы платите за энергию,— говорил Оськин.— И чай хорош, и вправду коричневый, как медведь. Но все-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу — заберу.

Оськин-милиционер немного отогрелся, снял форменную шапку, растегнул шинель.

— Я бы вас сразу в отделение повел,— признавался он.— Да там места мало — бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошел, но, если б вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить.

Раз пять заваривали мы чаю-крепача. За окнами выла метель, а мы сидели красные, распаренные, ели столовыми ложками варенье из банки.

— Хорошо, что вы не побежали,— продолжал Оськин.— Это молодцы. Тут один недавно вздумал убежать...

Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стекляшек палочек. Напротив Оськина на столе висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние четыре года.

— Что это они все в шляпах? — спросил Оськин. — Сделал бы хоть одного в кепке.

— Такие люди кепок не носят, — возражал Орлов. — Это люди серьезные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?

Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья.

— Тибетейку, — сказал он.

Шесть бамбуковых бревен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вылезали в коридор. Снег, облепивший бревна, растаял — на золотистых боках сверкали янтарные капли.

— Одного не пойму, — говорил Оськин. — Как бамбук попал в подвал?

— Чай и бамбук — одного поля ягоды, — отвечал Орлов, помахивая вывеской «Высоцкий и К°». — Поверьте мне, где чай, там и бамбук.

— Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого, — рассуждал я. — Вместе с чаем он привез и бамбук. Хотел, наверно, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нем пить.

— Бамбук применялся для упаковки, — спорил со мной Орлов. — Этими бревнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернется.

Так болтали мы о чае и бамбуке, и чай заваривался в чайнике, бамбук лежал на полу, и мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места.

Глава V

ИДЕЯ ЗАРАСТАЕТ МОХОМ

Мне хотелось начать строительство лодки немедленно.

Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил бревна, гладил их, измерял.

В тельняшке, с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок и так просто тюкнуть топором по бамбуку не решался.

Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная, далеко позади остался треугольный кусочек, я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как известно, служит хозяину примерно десять лет.

Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею.

Прошел месяц, и настроение Орлова переменялось.

— Здесь не чайный склад купца Высоцкого, — шутил он. — Пора превратить бамбук в лодку.

За месяц Орлов совершенно излечился от «бамбуковой болезни». Он подхватил где-то «керосиновую болезнь» — стал собирать керосиновые лампы и в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться.

А я не знал, с чего начать, и, главное, не представлял себе, какой должна быть самая легкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли.

— Тебе, наверно, мешает бамбук? — заискивая, спрашивал я Орлова.

Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями.

— Ну, хочешь, я увезу бамбук домой?

Помалкивал Орлов, помалкивал.

— А что? Возьмем за пятерку самосвал и отвезем на квартиру.

— Для этого надо иметь квартиру, — отвечал наконец Орлов.

Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. Этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу, возводящему голубятню.

Да, так получилось, что прежде чем иметь лодку, я должен был занять квартиру, в которой мог бы хранить строительный материал. Меня всегда поражало, как в жизни все связано между собой:

лодка —

бамбук —

милиционер-художник —

керосиновые лампы —

Петрович —

квартира.

Казалось бы, нет в этом никакой связи, а в голове моей все переплелось, запуталось морским узлом.

— Это узел судьбы, — пояснял Орлов. — Брось ты самую легкую лодку в мире. Давай распилим бревна и понаделаем из

них кувшинов. В таких кувшинах можно держать керосин, олифу, а если надо, сыпучие тела.

Замыслы Орлова пугали меня. Особенно раздражали сыпучие тела. В жидкостях все-таки оставалось что-то от идеи мореплавания.

Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую легкую лодку в мире.

Случайно наткнулся я на фотографию в журнале «Рыбоводство». На ней изображена была лодка, очень легкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись:

«Известный писатель-путешественник любит порыбачить и поразводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоемах Подмосковья».

В справочном бюро узнал я телефон, позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чем дело.

— Ладно, — сказал писатель-путешественник, — заходи завтра ко мне. Покажу лодку.

Глава VI

ПИСАТЕЛЬ-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Я шел по улице, с некоторой гордостью поглядывая на прохожих. Они-то спешили кто в булочную, кто в химчистку, а я к писателю поговорить о лодках. Да, самая легкая лодка в мире, еще даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы.

В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать теткой. Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир».

— Куда? — спросила она.

— К писателю.

— Здесь все писатели.

— Как это?

— А так — полон дом. Ты к кому?

Я ответил и, пораженный, не решился ехать на лифте. Целый дом писателей я встретить никак не ожидал и даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Подымаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездия разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук

пришущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствовалось что-то мощное, крепкое, писательское.

Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку:

Звонить воспрещается!

За нарушение — смертная казнь!

Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскребся в дверь. За дверью в общем-то было тихо, только кто-то поскреб ее с той стороны. Я постоял и снова слегка поскребся. С той стороны поскреблись в ответ.

Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжелым изучающим взглядом.

— Чанг, кто там? — слышался голос. — Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип, что звонил насчет лодки, пускай войдет.

Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обрубок хвоста в сторону комнаты.

Я вошел и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу, на медвежьей шкуре, и курил кривую трубку. По левую руку от него на шкуре росомыи стоял радиоприемник «Телефункен». По правую, на шкуре волка, — красный телефон.

Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел ее боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой засохшей рыбьей чешуей.

Я поздоровался и спросил:

— А как Чанг отличил меня от Гусакова?

— По запаху, — серьезно ответил писатель и негромко приказал: — Чанг, принеси гостю чего-нибудь помягче.

Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принес шкуру рыси. Я расстелил ее и уселся.

— У меня есть еще шкура австралийского ежа. Я стелю ее, когда приходит Гусаков.

— Как же Чанг его до сих пор не загрыз?

— Это не так просто. Чанг грызет его второй год, а тот — как новенький.

Чанг виновато опустил голову, дескать, что ж тут подедаешь, бывают такие, несгрызаемые гости.

— Ваша лодка похожа на каяк, — сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать.

— Это смесь байдарки с каяком. Я прошел на ней восемнадцать рек Западной Сибири... А ты случайно не знаком с Гусаковым?



— И в глаза его не видел.
— А может, все-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подосланный?
— Не знаком и не хочу знакомиться,— твердо ответил я.— Я на лодку пришел поглядеть. Интересно, сколько она весит?
— Двадцать пять.
— Тяжеловата. Мне нужно на двадцать килограммов легче.
— Купи детское корыто.
— Погодите,— принялся объяснять я.— У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче.
— А зачем тебе легкая? Лодка должна быть основательной. Как дом. Но можно, конечно, сделать легкую, заманить в нее Гусакова — и пускай переворачивается, а?
— Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать.
— В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да еще самую легкую в мире, его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать: я — самый великий человек в мире, плавал на самой легкой лодке в мире! Я уж знаю Гусакова.
— А кто вашу лодку построил? — спросил я.— Может, вы дадите мне адрес Мастера?
— Адреса не дам,— сказал писатель-путешественник.— Но в следующее воскресенье я сам поеду к Мастеру в Каширу. Бери бамбук — поедем вместе. Чанг, ты поставил чайник?

Глава VII

ОТРЕЗАННАЯ ГОЛОВА ОРЛОВА

В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал.

Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но еще больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, и Орлов не входил в его расчеты.

Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли словые дрова.

— Вы очень похожи на одного моего знакомого,— сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся.

— Не может быть,— ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете.

— Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков.

— Зачем же мне бороду сбривать?
— Это мы сбриваем мысленно, чтоб на Гусакова быть похожим.

— Да не хочу я быть похожим!

— Вот это правильно. И я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек. А все-таки вы похожи. Вы не родственники?

Орлов объяснил, что они не родственники, и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидным.

Я чувствовал себя виноватым и перед тем и перед другим, пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, с другой — новое знакомство.

«Ладно, — думал я, — главное — довести бамбук до Каширы и лодку построить».

Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив и все это время шуршал газетой.

— И зачем молодые люди носят бороду! — сказал он. — Ну, зачем? Не пойму.

Это был камешек в огород Орлова.

Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды.

— Ну, в старое время люди мало читали — вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи.

Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике, и хоть напоминала порой обрезанную снизу горную вершину, орел усов выглядел поважнее. Орлова я бы и не назвал бородатым. Скорей уж — бородато-усатым. А еще точнее — брадоусым.

— Сбрить бороду — это мало, — ответил наконец Орлов. — Я бы всем, кто носит бороду, голову отрезал.

— Это уж потом, если бороду не сбреют.

Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках.

— Режьте, — сказал он.

— Что такое?

— Голову мне режьте.

На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по-гусиному шею, кто протискивался через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше.

— Вы хотели насильно сбрить мне бороду, — напирал Орлов, — а потом отрезать голову — режьте!

— Режьте, режьте,— поддержал писатель-путешественник.— Хотели резать — режьте. Чего тянуть?

— Ничего я не хотел. Я хотел только бороду сбрить.

— Ничего подобного,— сказал и я, обращаясь к пассажирам.— Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слышали!

— Не хотел я резать! — отбивался человек в золотых очках, привставая и отталкивая нож.

— Граждане! — громко сказал вдруг писатель-путешественник.— Среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с нее бороду!

— Вот вам моя голова! — наседал Орлов.— Что ж вы не режете?

Да кто же это сказал, что Орлов не похож на орла?! Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да орел же! Настоящий орел!

И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. Какой тут товарищ Гусаков? Орел!

Все больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдергивать с крючка свою сумку.

— Только брить хотел, только брить! — объяснял он, пробираясь к выходу из вагона.

Глава VIII

ВРЕМЯ КОМПОТА

Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивались сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи.

Я думал, что увижу человека преклонных лет, но Мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным, каким-то зимним лицом.

Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его:

— Как звать ваших великих друзей?

Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею.

— О делах потом,— сказал Мастер.— Прошу вас и ваших великих друзей в дом, к столу. Прошу, прошу, прошу.

Несколько смущенные, мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом.

За столом собралась уже вся семья Мастера — дедушки и тетушки, сестры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как «великих друзей писателя-путешественника».

Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить свое величие.

— Да, да! Это мои великие друзья! — поддакивал писатель-путешественник. — Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешнее. На самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали!

— Не может быть! — восклицали родственники.

А стол, за который усадили нас, был завален угощением: горы салата, застывшие озера холодца. Белоснежное лицо Мастера порхало над столом, мелькали добрые руки тетушек, которые подкладывали писателю-путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, селедочки в шубе, картошечки в мундире.

Мастер произнес речь в честь своего великого друга писателя. Писатель-путешественник произнес речь в честь своего великого друга Мастера. Дядюшка Карп Поликарпыч произнес речь в честь великих друзей великого друга Мастера.

— Кстати, — пояснял писатель-путешественник. — Мои друзья задумали великое дело. Они решили построить самую легкую лодку в мире. И тут не обойтись без Мастера, который велик, как гора. Скажем — Казбек.

Тут все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус, с гор спустились к морю, а на море и оказалась самая легкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая легкая лодка, кинулись к окнам глядеть на бамбук.

— Бамбук-то легкий! — вскрикивал кое-кто из них. — А можжевельник полегче будет.

— А орех?

— Постойте, постойте, — успокаивал Мастер. — Сейчас не время бамбука и других материалов — время борща.

И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плавание.

— Лодка не получится, — говорил Мастер чуть позже, — если мы не отведаем гуся.

Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом, — двенадцать.

— А все-таки бамбук не такой уж и легкий, — сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч.

— Я раньше никогда не работал бамбук, — заметил Мастер, недовольно двинув бровями. — И ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе.

— А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке, — ответил Карп Поликарпыч.

Подняв брови повыше, Мастер внимательно оглядел Карп Поликарпыча. В глазах его выразилось сильное сомнение в том,

что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли.

Дядюшка глаз своих не отвел, а гусиную ногу стал грызть более напряженно, как бы намекая: вот видишь — ем гуся, а думаю о бамбуке.

Отложив недоеденную гусиную ногу, Мастер встал и вышел из-за стола в кабинет.

В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карп Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тетюшек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке.

Меж тем Мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошел к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полушубок.

В окно мы видели, как Мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает в увеличительное стекло.

Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусиное блюдо. Все напряженно молчали, ожидая, что скажет Мастер.

Откашлявшись, Мастер сказал:

— Время компота.

И только когда прикатали бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и черносливина, и яблочко, и виноградье, и мирабель, Мастер ободряюще поглядел на меня:

— Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая легкая лодка в мире, но самую легкую в Кашире я сделаю.

Глава IX

САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В КАШИРЕ

Ровно через месяц я снова поехал в Каширу. Теперь я ехал один. Самую легкую лодку я должен был легко — одной левой — принести домой.

Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у Мастера доросли до земли, белоснежное доброе лицо его к весне поголубело.

— О делах потом, потом, — встретил меня Мастер. — Вначале — к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья?

Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного, а с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались.

— Ну как лодка? — нетерпеливо расспрашивал я. — Где она?

Оказалось, лодку никто не видал. Мастер до поры до времени скрывал ее где-то, возможно, в сарае.

Снова начались салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами, потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чем угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчет лодки, Мастер смыкал брови и недовольно кашлял.

К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как, и я глотал груши целиком. Только Мастер не торопился, просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить ее в рот. Наконец он встал, скромно потянулся и сказал:

— Теперь бы соснуть часочек.

Но тут все возмущенно зафыркали, не решаясь, впрочем, голосом выказать неудовольствие.

— А что, — говорил Мастер, похлопывая меня по плечу. — Устраивайтесь на диване. После обеда полезно передохнуть.

— Да ты что! — сказал Карп Поликарпыч. — Построил лодку или нет?

— Какую лодку? — как бы удивился Мастер.

— Самую легкую в мире.

— Ах ты про это! Вон оно что. Да ты что ж, Карп Поликарпыч, разве не видел ее?

— Не только я. Никто ее не видел. Пойдем в сарай.

— Зачем в сарай? В сарай идти незачем. Уберите стол, поставьте стулья вдоль стен, а посреди комнаты надо постелить ковер. Тот, новый, который на шкафу в прихожей.

Родственники начали суетиться, а мы с Мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку «Капитанского» табаку.

— Все готово! — крикнул из-за двери Карп Поликарпыч.

— Уж больно вы торопитесь, — недовольно поморщился Мастер. — Расстелили ли ковер?

— Расстелили, все готово.

Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был расстелен ковер «Богатырь», а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперед было выставлено кресло.

— Ковер попрошу зря не топтать, — сказал Мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и наконец вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было.

Зато сам Мастер был в новом темно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстукe.

Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал:

— Друзья! Лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее ста лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки, так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку.

И мастер снова вышел из комнаты.

Глава X

БЕЙТЕ И ТОПЧИТЕ!

Скоро он вернулся, держа в руках с десятков тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре.

Совершенно потрясенный, смотрел я на палочки в руках Мастера. Мои бревна, мои чудесные толстые, массивные, не виданные никем в Москве бревна превратились в бамбуковую щепу. И родственники глядели на Мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что Мастер так искрошит бамбуковые бревна.

Разложив бамбуковинки в некотором порядке, Мастер вышел и принес еще с десятков точно таких же палочек. Среди них имелась и штукovina, которая напоминала лесенку. Уложивши лесенку среди палочек, Мастер успокаивающе помахал нам рукой и снова вышел.

Эти бесконечные его уходы и приходы совершенно измучили нас. Родственники смущенно пожимали плечами и боялись смотреть мне в глаза. Палочки и лесенка были такие тонкие, что всем ясно было — ничего, кроме детской игрушки, составить из них невозможно.

На этот раз Мастер принес брезентовый мешок и шесть полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бамбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Все это выглядело жидко, но, когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце мое стукнуло от волнения в первый раз.

«Неужели что-нибудь получится? — думал я. — А вдруг и вправду сейчас появится лодка?»

Теперь я понял, почему Мастер надел новый костюм и страстно захотел, чтоб фокус его удался. Что ж, разве зря мы с Орловым лазили в подвал? Неужели разрушится здание, фунда-



мент которого стоит на тельняшке и зубе золотом, стены подперты милиционером-художником, а из окошек выглядывает чуть было не отрезанная голова Орлова!

— Сочленяем! — сказал Мастер и, привстав на колено, начал «сочленять» бамбук и полумесяцы.

Полумесяцы всовывались в корзину-огурец, распирали ее изнутри, изгибались так, что казалось, вся конструкция вот-вот лопнет. Каждый бамбуковый прут натягивался как тетива, а по форме напоминал лук. И когда последний полумесяц замкнулся, я увидел длинную и узкую птичью клетку, лежащую на ковре.

— Каркас составлен, — сказал Мастер.

«Да ведь это каркас, — думал я, — а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа на скелет стремительного морского существа? Нерпа? Нет, нерпа коротка, угловата, а здесь легкость, полет».

В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая еще не выпущена на волю.

— Бью! — воскликнул вдруг Мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону.

— Бью сильнее! — сказал Мастер, ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене.

— Топчу! — воскликнул Мастер и топнул, наступил ногой на бамбуковые ребра. Они прогнулись под ударом, напряглись как пружины и отбросили Мастера так, что он еле устоял на ногах.

— Бейте и топчите!

Смертельно побледнев, Мастер отошел к стене и встал, сложив руки на груди.

Родственники зашептались, глаза их расширились.

Дядюшка Карп Поликарпыч поднялся, подошел к лодке, и в этот момент я проснулся. Я вдруг понял, что не желаю, чтоб с этого момента кто-нибудь прикасался к лодке, которая, только что родившись, обнаженная, лежала на ковре.

— Стойте! — сказал я. — Трогать лодку запрещаю! Мастер, продолжайте представление!

Родственники и Мастер, услышав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлявшись, они ее постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий ее родственник.

Дядюшка Карп Поликарпыч отошел на место.

Мастер поморщился. Я подпортил его спектакль. Как видно, он рассчитывал, что лодку будут бить и топтать все присутствующие. Потеряв нить, он сразу не мог вспомнить, что делать дальше. Поглядев на мешок, принесенный Мастером, я понял, что в нем оболочка лодки, ее платье.

— Одевайте ее поскорее, — твердо предложил я.

Мне казалось, лодка слишком уж обнажена, мне было неловко за нее и немного стыдно.

Глаза Мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит.

Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул ее на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал черною шнуровкой.

Я глядел на свою лодку — самую первую в жизни и самую легкую в мире, — и сердце мое плыло и качалось.

Тонкая,

изогнутая,

остроголовая

и длиннохвостая,

в серебристом платье,

она лежала поперек комнаты на помертвевшем ковре и, как стрелка компаса, рассекала комнату пополам, прорезала стены, чтоб вылететь из Каширы к берегу, к ветру, к воде...

Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса:

— Забирайте свою невесту.

Мы обнялись.

Потом я подошел к лодке и легко поднял ее одной левой рукой.

Глава XI

НЕВЕСТА ПОД КРОВАТЬЮ

Поздней ночью добрался я до Москвы. Разобранная лодка покоилась теперь в двух брезентовых мешках, один из которых висел у меня на спине, другой — на груди.

На троллейбусе добрался я до Крестьянской заставы, где снимал комнату, и только лишь открыл дверь, как сразу наткнулся на своего хозяина Петровича

— Что это у тебя в мешках? — спросил он.

— Ничего особенного, — махнул я рукой. Не хотелось рассказывать Петровичу про лодку. Он не слишком-то был достоин такого рассказа. Защитный цвет и необыкновенная форма мешков вызвали у Петровича сильнейшую тревогу. Он никак не мог сообразить, что же это такое находится в мешках, и туго двигал бровями.

— Парашют украл? — спросил наконец он.

Я промолчал и прошел в свою комнату. Петрович не поленился пойти за мной. Он внимательно наблюдал, как я снимаю мешки и засовываю их под кровать.

— Ты это брось,— сказал он.— За принос неизвестных предметов знаешь чего бывает? Телевизор-то смотришь? Вынь мешки и предъяви для опознания.

Петрович стоял рядом со шкафом и так был широк в плечах, так монументален, что казалось, это стоят рядом два брата-близнеца. Но если шкаф был просто гардеробом, то брат его — по виду старше, значительней — был явным владельцем жилищной площади, на которой брат-гардероб только временно находился.

— Принос мешков в ночное время,— говорил Петрович,— недавно по радио говорили и по телевизору показывали...

Речь свою шкаф-Петрович произносил с большим затруднением, делал паузы, чтоб я хорошенько понял смысл, и, подозревая, что смысл до меня не доходит, кратко пересказывал сказанное:

— Ночные переносы... владеlec площади... в газетах пишется...

Я сидел на кровати и слушал Петровича. Я не возражал и не спорил, но мне было обидно и больно за бамбуковую мечту.

Так, отрывочно и грозно, Петрович мог говорить часами, и против этого было одно средство — три рубля.

Я отдал Петровичу трешку, и он ушел наконец в кухню, где немедленно принялся что-то готовить, зажигать газ, греметь посудой. Казалось, он немедленно, не заходя в магазин, превратил трешку в продукты. Но на самом деле продукты были давно заготовлены, и Петрович только вынул из холодильника колбасы и свинины ровно на три рубля, а то и на два пятьдесят, чтоб разбогатеть на полтинник.

Я погасил свет и лег. Хотелось поскорей отвлечься от колбасы и Петровича — подумать, помечтать о своей лодке.

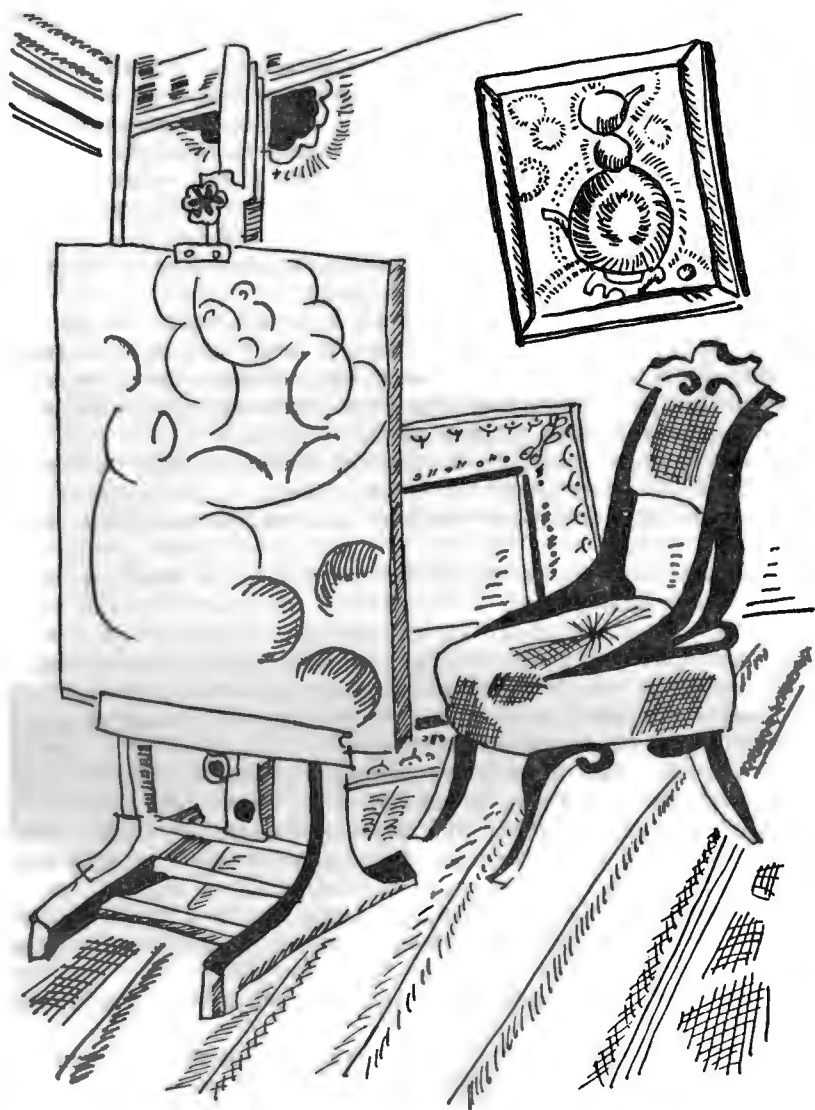
Прикрыв глаза, я увидел ее лежащей на ковре у Мастера, мигнул — перенес на озеро. Серебристая по голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы — таволгу, камыши.

На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далеким островам, и казарки летели ей навстречу.

Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почетном месте.

Я зажег свет и оглядел комнату. В старом продавленном кресле лодка не умещалась, а на шкафу, пыльном и паутинном, место было скорее позорным, чем почетным.

И особенно жалким и горьким показался мне пол, где, давно прогнившие, шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зеленая, из-под зеленой древнейшая охра, и из-под охры совсем нечеловеческая доисторическая чернота.



На стене, освещенная вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая.

Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад, — «Самовар» и «Курильщица табаку». И хоть писаны они были не так давно, смотреть мне на них не хотелось.

Казалось бы, написаны они ярко и смело — активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды.

По моим расчетам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение — «шаризм». Как некогда великие французы потрясли мир «кубизмом», так и я у Петровича на Крестьянской заставе готовил живописную бомбу.

«Шаризм» — это было мое личное открытие, никто в мире не писал «шарами», только лишь я, один.

Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые — «Люди и арбузы», «Гитаризм под облаками». Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так, уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги.

К сожалению, выстрадавший мною «шаризм» себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей «шаризм» не мог распространиться по белу свету.

Шаролюбивая кисть глохла в моих руках и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры — «Самовар» и «Курильщица табаку», с которыми я решил не расставаться до самой смерти.

Гнилой пол, не нужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком.

И потолок был невыносим — покрытый водорослями, желтыми медузами. Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более что кровать — единственный, кроме «шаризма», предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьей и должны были уж как-то поддерживать друг друга.

Я погасил свет и лег, решив назавтра вымыть пол под кроватью.

Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу.

«Мастер назвал лодку невестой, — вспомнил я. — Действительно, похожа — в серебряном платье, легкая, веселая».

Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью.

Глава XII

УВЯДШИЙ БУКЕТ

Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтоб чистить ею, скажем, водопровод.

Везти лодку к Орлову тоже не хотелось, я и так долго мучил его бамбуком. Но, с другой стороны, Орлов лодку не видал, а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось.

И я повез лодку к Орлову.

Я был уверен, что она ему понравится, и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга.

— Что это у тебя в мешках? — спросил Орлов, открывая дверь.

— Сейчас увидишь! — с восхищением пообещал я. В моем обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника.

— На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал все-таки! Сколько же она весит?

— Сейчас взвесишь! — снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесемки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза.

Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось.

— Все, что осталось от бамбука? — спросил он.

— Погоди, погоди, не торопись, — сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и все-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела.

— Хило, — сказал он. — Слабовато.

— Бью! — воскликнул тогда я и ударил каркас ногой.

От удара вылетел серебряный полумесяц-шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга.

— Да, вроде бы скелет красив и прочен, — мямлил он, — но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней.

Я вытащил оболочку, натянул ее, надеясь, что это прорвет плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было.

— Легкая лодочка,— сказал он, небрежно приподымая корму.— Не думаю, что самая легкая в мире. В Кашире — возможно. А где-нибудь в Кашмире есть небось и полегче.

Я заставил его все-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание, но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной.

Когда я пришел в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из кувшина. Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки.

— Слушай,— сказал я,— в чем дело? Тебе лодка не нравится?

— Да нет, почему? Нравится.

— А что ж ты молчишь?

— А что ты хочешь, чтоб я подпрыгивал от счастья?

— Мог бы и подпрыгнуть.

— Не хочется,— сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он обижался на судьбу? Бамбук мы доставали вместе, в Кашире ездили вместе, а лодка получилась моя.

— Слушай,— сказал я.— Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана.

— Ну нет,— ответил Орлов.— Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе, и делал ее не ты, а Мастер. Ты и топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался: самая легкая в мире! Я построил!

Я слушал Орлова, и голова моя все ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы.

Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней — бамбук милиционера-художника, помощь Орлова, талант Мастера. Моими оставались только тельняшка и зуб золотой.

— Ладно,— сказал я.— Будь ты капитаном, а меня возьми матросом.

— Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах»,— возразил Орлов.— Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь.

Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.

Глава XIII

БЕЛЬМО В ГЛАЗУ

Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера. Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай.

К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришел некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно — милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошелся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принес граммофон, завернутый в газету.

Увидевши меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанные под серебряным платьем.

— А почему она серебряная? — сказал наконец он. Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесенного граммофона.

Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу.

— Осторожно! — воскликнул Орлов. — Не повреди раструб!

Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах».

Скульптура, лодка и граммофон — для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу у двух человек.

Орлов с милиционером повернулись к лодке спиной, девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал. Он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить.

Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий ее конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел:

— Карл у Клары украл кораллы...

Клара Курбе счастливо засмеялась.

Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что «Клара украла кларнет».

Орлов зажег с пяток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно.

Трубу приладили к ящику. Петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластика завертелась, и послышался вальс «Амурские волны».

Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и легкая грусть. Далеким и тихим был звук, выливающийся из граммофонной трубы, далеким и тихим, как из морской раковины. Казалось, вальс доносится сквозь шум прибора.

— Бедные звуки...— шептала Клара Курбе.— Какие они тоненькие и маленькие...

— Вот это настоящая музыка! — подхватывал Орлов.

Милиционер-художник гордился граммофоном и командовал:

— Тише, тише! Дайте послушать!

Подперев руками щеки, все столпились, сидя вокруг граммофона. Орлов то и дело толкал Петюшку локтем, боясь, что тот пропускает красоту звука. Петюшка и вправду красоту пропускал, налегая на кильку и яблоки.

Стали пить чай. Про лодку все позабыли, и Шура-милиционер купался в лучах граммофонной славы.

Глава XIV

«ЛЮДИ В ШЛЯПАХ»

Между тем скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить ее к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная черно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и Шура-милиционер сиял, направляя раструб на девушку.

— Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор,— сказал наконец Орлов.— Скорей всего, на необычную шляпу.

— Ничего похожего,— ответил Шура-милиционер, не ожидая неприятностей.— Она похожа на ухо.

— Жалко, что здесь нет никакой шляпы,— сказал Орлов.— А то бы мы сравнили.

— А группа-то скульптурная! — воскликнул Шура, попадаясь на удочку.— Вон там сколько шляп — и ничего похожего.

Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедились, что действительно — ничего похожего.



Тут Петюшка Собаковский задумал отличиться. Он схватил граммофонную трубу и нахлобучил себе на голову. Милиционер сделал бровью, Орлов поморщился, девушка глянула на Петюшку с некоторым презрением.

Затырканный Петюшка отдал трубу хозяину и сел на место.

— Люди в шляпах,— сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову.— Какой интересный замысел!

— Все в шляпах,— заволновался Орлов.— И у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него все равно свой мир. Как думаете, какой?

Девушка Клара Курбе, а за нею и остальные пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир.

— Ясно, что в этом человеке происходит борьба,— сказала Клара,— но борьба непростая.

Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нем может происходить такая уж борьба.

— Мне кажется, это борьба неба и земли,— пояснила Клара.

Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчетливо остолбенел. Ему, пожалуй, и в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок.

— Все это правильно,— чуть заикаясь, сказал Орлов.— Точно подмечено. Именно — борьба...

— А под той кривой шляпой,— продолжала Клара,— под той борьба огня с водой.

Милиционер с граммофоном окончательно пошатнулся. Силою своих взглядов девушка Клара Курбе решила затмить не только граммофон, но и скульптурную группу. Милиционер-художник обеспокоился. Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в нее пальцем и сказал:

— А под этой происходит борьба добра со злом.

— Хэ-хэ,— ответила Клара Курбе.— Ничего подобного.

Милиционер поежился и, закрыв рот, воззрился на Клару.

Орлов толкнул локтем Петюшку, который чем-то хрустел в кармане.

Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала.

— Под этой шляпой происходит нечто иное,— замедленно начала она.— Это... борьба борьбы с борьбой!

Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. Одна из керосиновых ламп внезапно пыхнула и погасла. Все общество, расширивши

глаза, вглядывалось в Клару, соображая, может ли быть на свете такая неслыханная борьба.

Старый мой друг художник Орлов наконец-то поглядел на меня в поисках поддержки. Борьба борьбы с борьбой вышибла из его глаз мое бельмо, то есть лодку. Но обида еще не угасла во мне, и я решил не связываться в дело.

Орлов глянул на милиционера, но тот затравленно молчал, оглядываясь на граммофон. Петюшка Собаковский, которому запретили хрустеть, в расчет не принимался. Орлову надо было выпутываться самому.

— Борь-ба,— медленно выговорил он.— На вид человек как человек, а в душе все — борьба, борьба...

— Борьбы с борьбой,— подчеркнула Клара.

Орлов передернулся и опять глянул на меня.

— А мне нравится, когда борьба борется с борьбой,— сказал я, выручая старого друга, хорошего, в сущности, человека, который всегда выручал и меня.

— Подумать только! — воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня.— Вы, кажется, понимаете, что такое «борьба борьбы с борьбой».

— Конечно, понимаю,— сказал я.

— Что же это?

— Очень даже простая штука,— ответил я, глядя Кларе в глаза.— Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы каратэ. Вот это и была борьба борьбы с борьбой.

— Ерунда,— сказала Клара.— Чтоб понять, что такое «борьба борьбы с борьбой», надо много страдать, много думать.

— Я и думаю, только не о вашей «борьбе», а о своей лодке, самой легкой в мире.

— Эта лодка самая легкая в мире?

— Самая легкая.

— А легче нету?

— Нету и не может быть.

Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку.

— И здесь борьба,— сказала она,— легкое борется с тяжелым, но тяжелое побеждает.

Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место.

Этого я стерпеть не мог.

— А ну-как вылазь! — крикнул я, вскакивая.

Потрясенная моим тоном, Клара оглянулась на Орлова.

— Вылазь, вылазь,— повторил я.— Вылазь без борьбы.

— Он хозяин,— развел руками Орлов.— Раз говорит «вылазь», значит, вылазь.

Клара Курбе выкарабкалась из лодки, подсела к столу и

нервно глотнула чаю. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлеченно звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону.

Вечер, кажется, был испорчен.

— Слушай,— сказал Петюшка,— а как называется твоя лодка?

— Сам не знаю,— ответил я,— еще не придумал.

— Ты знаешь, что я думаю,— сказал Петюшка.— У самой легкой лодки в мире должно быть и название самое легкое в мире.

Глава XV

САМОЕ ЛЕГКОЕ НАЗВАНИЕ В МИРЕ

Такой выходки от Петюшки не ожидал никто.

В первую секунду все приокаменели, раздумывая, что, собственно, сделал Петюшка — брякнул ли глупость или высказал нечто разумное?

Особо напрягался милиционер-художник и даже почти схватился за голову, которая не успела переварить «борьбу борьбы с борьбой», а Петюшка подбросил нового материала.

— Как это может быть — самое легкое название? — сказал Шура.— Легкая лодка — я понимаю. А название?

Петюшка Собаковский и сам растерялся.

— Ну взять, к примеру, название «Пена»,— сказал он.— Пена-то легкая.

Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена».

Клара замкнуто звякала ложкой. Теперь и на Петюшку смотреть ей не хотелось. Во-первых, он брякнул глупость, во-вторых, он разговаривал со мной. А после того, как я выгнал Клару из лодки, разговаривать со мной не должен был никто. Глянув на Петюшку, как на некоторую неприятную пену, Клара углубилась в чай.

Орлов с милиционером сразу поняли, что Петюшка потерял золотое место в сердце Клары, и молчали, решив свои места пока сохранить.

— «Пена» не годится,— сказал я.— Как-то нелодочно.

— Почему нелодочно? — спросил Петюшка.— Легонькая, беленькая, бегаёт по волнам.

— Да разве нет ничего легче пены?

— Наверно, есть,— сказал Петюшка.— Может быть, пепел? А?

Клара снова глянула на Петюшку, как бы превращая пену в пепел.

Милиционер-художник зашевелился. Ему явно хотелось влезть в разговор, но золотое место в сердце Клары накладывало печать на его уста.

Все эти Кларины взгляды и золотые места начали немного раздражать художника Орлова.

— «Пепел»,— сказал он, не глядя на Клару.— Ну и название! Какой же дурак назовет свою лодку «Пепел»? Придумал бы что-нибудь нежное. К примеру, «Бабочка».

Милиционер-художник заерзал на стуле. Ясно было, что он придумал легкое название, но не решался его сказать, оглядываясь на Клару. Он так и сяк замыкал свой рот, но придуманное слово рвалось наружу.

— Ласточка! — гаркнул он.

Эта милицейская ласточка прорвала плотину, и птичьи названия полетели одно за другим: «Чиж», «Горихвостка». Вспыхнув на миг, название тут же меркло.

— Название должно быть даже легче птицы,— сказал Орлов.— Надо, чтоб оно и звучало легко и просто. Например, «Эхо».

— «Эхо» — не очень лодочно,— сказал я.

— Лодочно! Лодочно! — сказал Орлов.— И лодка, как эхо, будет летать от берега к берегу.

Я заволновался и неожиданно подлил чаю Кларе Курбе. Мне вдруг ужасно захотелось назвать свою лодку «Эхо». Я представил себе, как красиво можно написать это слово на серебряном борту, как будут удивляться капитаны встречных кораблей, читая — «Эхо».

— Есть кое-что полегче, чем эхо,— сказал Петюшка. Он давно помалкивал, выращая в голове легкое название.

— Что же это? — спросил Орлов.

— «Ау».

— Чего?

— «Ау» легче, чем «Эхо». Просто — «Ау»!

— Ну и название! — усмехнулся Орлов.— «Ау». Вот лодка утонет, тогда и будет — ау!

— Зато всего две буквы,— защищался Петюшка.— «А» и «у».

— Можно придумать название из одной буквы,— сказал Орлов.— Например, «О»! Чего уж легче — «О». Что может быть легче, чем «О»?

— «Привет»,— сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает свое название.

Глава XVI

САМОЕ ЛЕГКОЕ НАЗВАНИЕ В МИРЕ (продолжение)

— Привет,— повторила Клара.— Вот что самое легкое в мире. Один человек передает другому привет. Куда уж легче?

На миг я представил слово «привет», написанное на борту лодки, и мне стало скучно. Но я решил промолчать, зато милиционер-художник отомкнул уста:

— Да,— сказал он,— привет — легкая штукавина.

Тут уж всем стало окончательно ясно, что желание иметь золотое место в сердце Клары и в собственном сердце милиционера также занимало золотое место.

— А если один очень толстый человек передает привет другому очень толстому? — сказал Петюшка.— Какой тогда получается привет? Тяжелый или легкий?

Клара повела плечами.

— «Привет» для названия лодки не годится,— сказал Орлов.— Надо придумать что-то другое.

— Тогда «Мечта»,— сказала Клара и задумчиво посмотрела на художника Орлова.— Мечта даже легче привета.

— То «Привет», то «Мечта»,— грубовато хмыкнул Орлов.— Больно уж красиво.

Девушка Клара Курбе огорченно посмотрела на художника Орлова, который по собственной воле уходил из ее сердца.

— А если я мечтаю о двухпудовой гире? — спросил Петюшка, и милиционер-художник неожиданно хрукнул от смеха, а потом ухмыльнулся.

Тут уж все мы — и я, и Орлов, и Петюшка — тревожно поглядели на Клару, надеясь, что она это хруканье с ухмылкой не заметит.

Милиционер и сам напугался и попробовал преобразить неуместную ухмылку в сосание больного зуба. Но это не получилось — смешливая ухмылка тянулась, продолжалась. Все поняли, что милиционер-художник с громом и треском рухнул из сердца Клары на грязный пол.

Отчаяние и ужас отобразились в его глазах. Ему совсем не хотелось рушиться на пол. Да ведь он и ничего такого не сделал, только хрукнул, только ухмыльнулся! Нельзя же так сразу — из сердца на пол!

С ужасом, повторяю, в глазах Шура-милиционер искал выход из неприятного положения.

— Ха-ха,— нервно засмеялся он в открытую.— Ну и насмешил ты меня, Петюшка. С чего ты мечтаешь о двухпудовой гире?

— Мечтаю, и все! — лаконично ответил Петюшка. — Выжимать ее хочу.

— Вот так мечты! — продолжал смеяться Шура, направляя свой смех на девушку. Из всех сил он приглашал Клару посмеяться над Петюшкой, но она даже не улыбнулась. Поджав губы, она глядела внутрь керосиновой лампы. Ясно было, что она хоть треснет, а больше никогда в жизни не взглянет на милиционера-художника.

Но и на художника-немилиционера, то есть на Орлова, ей смотреть не хотелось, ведь он сам, по собственной воле ушел из ее сердца. А меня и Петюшку она давно уже видеть не могла.

Некоторое время Клара раздумывала, на кого из присутствующих могла бы она посмотреть, и поняла, что смотреть не на кого. В глупое, неприятное положение попала девушка Клара Курбе — сидела за общим столом и ни на кого не могла смотреть. Вокруг же разместились четыре совершенно рухнувших в ее глазах человека.

Милиционер-художник прервал свой смех, вытер губы носовым платком. Отвага и безумие шевельнулись в его глазах.

Бедняга-милиционер-Шура-художник-любитель решился на отчаянный шаг.

— Если б у меня была лодка, — тихо сказал он, — если б у меня была лодка, самая легкая и самая лучшая в мире, я бы назвал ее «Клара».

Глава XVII

САМОЕ ЛЕГКОЕ НАЗВАНИЕ В МИРЕ (окончание)

Я и теперь, через несколько лет, часто задумываюсь, какое же слово, какое название самое легкое в мире? То вспоминаю я милицескую «Ласточку», то Петюшкину «Пену», то снова придумываю:

«Пыль»,

«Печаль»,

«Тень»,

«Рассвет».

Ни на одном слове я никогда не могу остановиться. То кажется мне слово недостаточно легким, то не очень чистым, то совсем уж нелодочным. Где взять, как выбрать из миллионов слов самое легкое?

И «пыль», и «печаль», и «тень», и «рассвет» — все эти слова

беспокоят меня, и я не понимаю, что же лучше, что легче — пыль или печаль?

Конечно, все эти слова не очень-то лодочны. Хотелось бы услышать наконец настоящее лодочное слово!

Но лодочное слово — это «весло». Настоящим лодочным словом лодку не назовешь. Что тогда мучиться, что выбирать? Не взять ли первое, что пришло в голову? Так и сделал милиционер-художник. Он сказал «Клара», и это слово действительно было для него самым легким в мире.

Но после того как милиционер сказал свое слово, в комнате стало тяжеловато. Все немного задохнулись, почувствовали тяжесть на плечах. Керосиновые лампы потускнели, начали коптить.

Я подошел к окну, открыл форточку.

За окном увидел я деревья, заваленные сизым снегом, оранжевые окна соседнего дома, человека с собакой, который вышел прогуляться перед сном.

С неба падали большие мартовские снежинки. Это был, наверное, последний снег нынешней зимы, пахло от него по-весеннему.

Я подумал, что скоро, очень скоро вскроются реки и на своей лодке — самой легкой в мире — я отправлюсь в плаванье. И плаванье это будет веселым и легким. Уж если лодка самая легкая, пускай и плаванье станет самым легким в мире. По маленьким рекам, по тихим озерам, по лесным ручьям.

Жаль, конечно, что капитан лодки не самый легкий в мире. Есть на свете люди куда полегче меня. Но в конце концов на всю эту невообразимую легкость должно же быть хоть что-то тяжелое.

Запах недалекой весны развеселил и обрадовал меня. Он разогнал коричневый керосиновый туман, все вздохнули полегче. Только милиционер-художник сидел чуть дыша. Горло его перехватило, лицо сделалось неподвижным. Он явно не знал, что же теперь делать, ведь только что на виду у всех он признался в любви к девушке Кларе Курбе.

Клара Курбе, чьим именем собирался Шура назвать свое судно, упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу ее ясно было, что она свою лодку «Шурой» не назовет.

— Может, назвать лодку «Снежинка»? — сказал я, жалея милиционера. — Легкая, по небу летит.

— Назови лучше «Стратостат», — сказал Орлов.

Грубоватая шутка Орлова никого не развеселила. Интерес к легким названиям угасал вместе с керосиновыми лампами. А лодка моя, безымянная, лежала на полу, в тени. Сама-то она знала, как ее звать, да сказать не могла. И тут вдруг я увидел, что лодке здесь, в мастерской, неуютно. Она и вправду никак не соединялась с граммофоном, и все эти разговоры насчет названия



ей неприятны. Боком, боком, бортиком отгораживалась от людей, сидящих за столом. Она терпела все это только из-за меня.

— Послушайте! — сказал вдруг милиционер-влюбленный и показал на меня пальцем. — Его лодка, пусть сам и название придумает. Мы стараемся, лезем из кожи, а он только «Снежинку» придумал. Сразу видно, что в голове пусто.

Владелец граммофона был прав. Ничего легкого не приходило мне на ум. Только где-то на краю сознания мерцало слово «пузырек». Но соваться с «пузырьком» я не решался.

— Я потом придумаю название, — миролюбиво сказал я.

— Ну уж нет, — возразил милиционер. — Придумывай сейчас, чтоб мы все знали, на что ты способен.

Я заволновался, сжал зубы, тряхнул головой, чтоб шевельнулись мозги, но они тупо стояли на месте. От этой тряски на том же краю сознания, где мерцал «пузырек», возникло только странное, хотя и легкое словечко «тюль».

— Подумай о пухе, — сказал Орлов. — Все-таки «пух» — самое легкое.

«Глупое название „Пух“, — подумал я. — Но как легок тополиный пух, летящий над городом! А пух одуванчика над полем! Дунешь — и летят по небу светлые пушинки».

— Давай, давай, — подгонял меня Шура. — Придумывай скорей или сдавайся!

— Я придумал, — сказал я. — Лодка называется «Одуванчик».

И тут холодный пот прошиб меня.

«Глупо, глупо! — думал я. — Слишком нежно, слишком красиво!»

И все-таки в этом что-то есть.

Трудно из миллионов слов выбрать одно-единственное, а если выбрал — держись!

— Лодка называется «Одуванчик», — повторил я и окончательно понял, что лодка — моя и это наше с нею дело, как мы назовем друг друга.

А чего такого плохого в слове «одуванчик»?

Одуванчик — самое простое, что есть на земле. В небе — воробей, в реке — пескарь, на лугу — одуванчик.

Есть люди, которые одуванчиков не замечают, не ставят их в букеты, не вяжут венков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их можно рвать сколько угодно, и никто не заругает. А можно сунуть в рот горький стебель и быстро проболтать:

«Колдуй,

баба,

колдуй,

дед,

заколдованный билет!» —

и стебель одуванчика заколдуются, завьется завитушками, как хвост тетерева-косача.

— Самая грязная речка в мире, — сказал Орлов, печально оглядевши яузские берега. — Отложим испытание. Потеплеет — поедем на Клязьму, лодку-то хотя бы пожалей.

Я и сам понимал, что самой легкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Яузе. Мне было жалко ее, но поделаться я ничего не мог. «Одуванчик» родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Яузу.

У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз, опустили лодку на воду. Яузская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Ослепительно блеснуло на ней серебряное платье «Одуванчика».

Давно-давно не видали яузские жители свободного корабля на ее волнах. Иногда только бродят здесь катера «Озон» и «Орион», и снова пусто меж каменных берегов — чердаки да крыши отражаются в скучной городской воде.

Я достал из-за пазухи бутылку шампанского.

— Давай-ка я речь произнесу, — сказал Шура. Отделавшись от весел, он немного успокоился.

— Товарищи! — начал он. — Минуточку внимания! Сегодня мы опускаем к воде самую легкую лодку в мире. Холодными зимними ночами, в пургу доставали мы бамбук, не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи! Большому кораблю — большое плаванье!

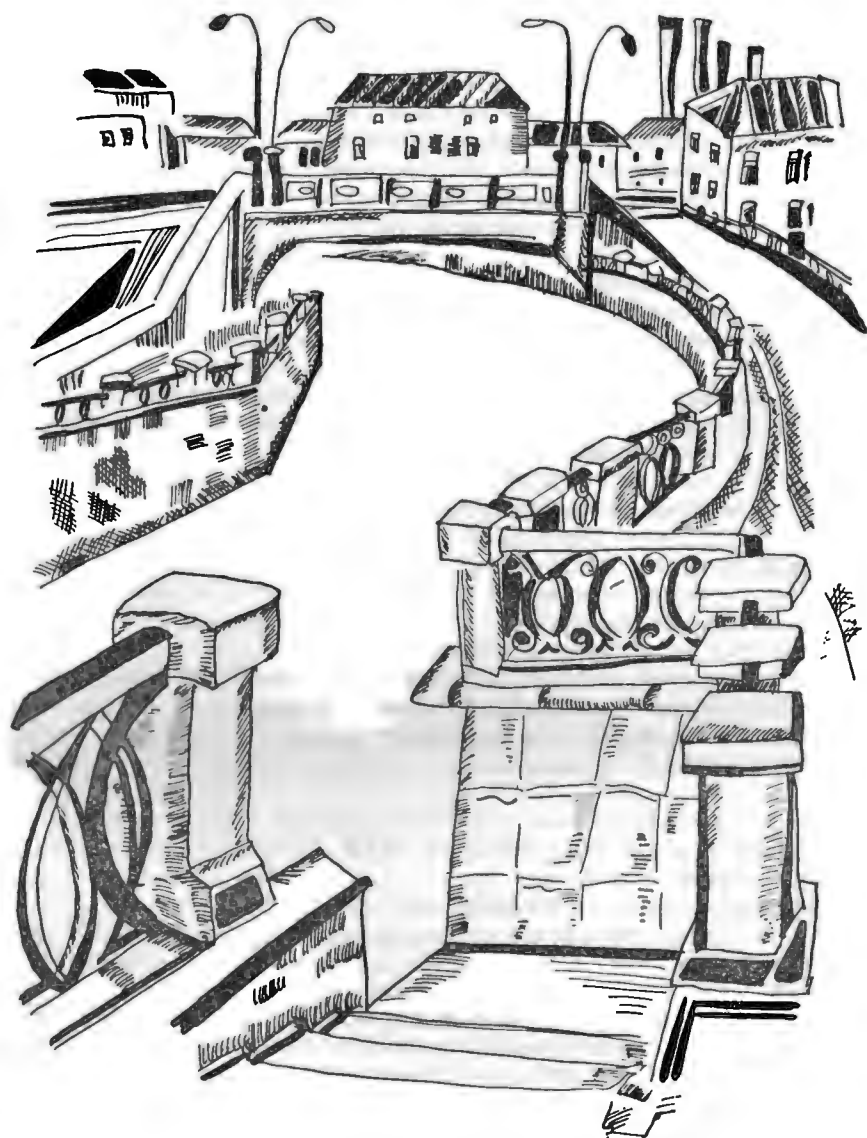
Я хлопнул пробкой и обрызгал пеною нос «Одуванчика», все расцеловались.

Осторожно, держась за милиционера, сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести «Одуванчик» погрузился глубже, нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось ту же серебряное платье, загудели бамбуковые ребра, звонко скрипнули шпангоуты-полумесяцы.

Удивительным оказалось, что сижу я очень низко, прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до яузской волны, но сделать это не решался — грязная, сточная, мертвая. Пересилив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, страхнул с пальцев холодные капли и взял весло.

— Пошел! — крикнул Орлов, и я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега.

Силу толчка я не рассчитал, и «Одуванчик» буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком — бум-бум-бум — ударили волны в дно лодки. Я гребанул слева — нос резко повернул вправо, гребанул справа — «Одуванчик» выровнялся. Только два раза и ударил я веслом, а лодка уже летела стремительно вперед, и я не знал, как ее затормозить.



— Осторожно! — кричал сзади и сверху Орлов. И он и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся повернуться.

— Надо было веревку взять! — выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать «Одуванчик», то ли вытягивать меня, уже утонувшего.

Кое-как взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца, передо мною уплывала в Москву-реку темная обтаявшая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона.

— Оглянись! — кричал мне Орлов. — Это последняя льдина!

Я оглянулся — за нами не было видно ни одной льдины. Хоть и мутная, а свободная от зимы вода.

А над нами, над гранитными стенами виднелись маленькие человеческие головки — бородатая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далекими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через двадцать снова увижу их, когда вылезу на берег, и все же казалось — уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома.

Последнюю льдину я обгонять не стал. Положил весло, течение неторопливо повлекло лодку.

«Неужели совсем, навеки мертва эта отравленная городская река? Неужели умерла навсегда?»

И вдруг прямо перед нами из-под носа «Одуванчика» поднялись с воды две утки. Это были чирки-трескунки — уточка с синим зеркалом на крыле и селезенок с буйной зеленой головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть. Они не боялись мертвой воды.

Потрескивая, полетели чирки перед нами, из гранитного колодца выбираясь к небу. Я глядел им вслед — и над высотными домами, еще выше, еще глубже в небе, увидел летящих на север журавлей.

Глава XIX

ЛОВЛЯ ОРЛОВА НА ГРАММОФОННУЮ УДОЧКУ

В детстве я проделывал зимой такую штуку: наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтоб он скорей растаял, чтоб скорее пришла весна. Хотелось помочь весне, уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лед на озерах, пригнать на поля грачей.

Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой, жду.

Скоро раскрываются почки, а весны все нет.

А когда наконец приходит она, вянют на столе тополиные листья, жалко становится их, и думаешь, куда торопился, только ветку испортил.

И все-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя, чтоб скорее увидеть зеленый лист, чтоб поторопить весну.

Пришла весна, и я стал готовиться в плавание. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далекое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плаванья нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек — художник Орлов.

Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но все-таки еще раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить. И я пошел в мастерскую.

На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары, зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменял его у милиционера на канделябр.

Подперев руками щеки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает.

— А магнитофон? — спрашивал наивный фотограф. — Неужели и он хуже?

— В десятки раз! — наваливался Орлов. — У магнитофона звук — дуб!

— Но граммофон слишком тихо играет, — сомневался фотограф.

— Магнитофон — гроб! — ввязался я, чтоб поддержать Орлова. — А у граммофона не звук, а воздух! Шумы залива!

Орлов обрадовался поддержке, и тут я понял, что судьба посылает мне подарок, кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку.

Объединившись, вдвоем с Орловым ловкими ударами справа и слева мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон.

— А что бы ты стал фотографировать? — коварно спросил я. — Магнитофон или граммофон?

— Магнитофон, — сжавши зубы, ответил фотограф.

— Фотографировать магнитофоны — глупость, — сказал я. — Куда лучше фотографировать дальние озера, невиданных рыб и зверей и вообще места, по которым не ступала нога человека.

— Таких мест уже на свете нет, — сказал профессионал, твердо держась за магнитофонную линию.

— Мало, — поправил его я, — но все-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что.

— Конечно, знаем,— сказал Орлов, сам не понимая, что клюет потихоньку на мою удочку, и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души.

— Есть на свете Багровое озеро,— сказал я.— На нем никто не бывал уже лет двести.

— Почему же? — спросил фотограф.

— Он не знает почему! — усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем.

Между тем Орлов и сам не знал, о чем идет речь, но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно нападал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона.

— Дело в общем-то простое,— сказал я.— Давно, наверно, лет двести назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем.

— Это как же? — спросил фотограф.

— Уж это мы знаем как! — засмеялся я, подмигивая Орлову.

Орлов хотя и с сомнением, но клюнул молча на мою удочку

— Уж мы-то с Орловым проберемся,— сказал я, решивши, что пора уж подсекать мою рыбину и усаживать получше на крючок.

— Ага,— сказал Орлов.

— Дело в том,— продолжал я,— что Багровое озеро связано с другим озером — Сиверским. От Сиверского ведет к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке.

— Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?

— Приходила,— усмехнулся я.— Но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка, заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти, во всяком случае, попробуем.

— Как?!

— Очень просто. У нас есть «Одуванчик» — самая легкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку.

Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил.

Как огромный и мудрый брадоусый голавль, смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого, опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег.

Последний шанс остался у голавля — ударить хвостом, разорвать леску. И он напрягся, собираясь сделать это немедленно.

Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что голавль сорвется, если не уложить его поскорей в подсачек. И я ловко

подвел подсачек под чудесную бородатую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег.

— Кстати,— сказал я,— по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так и называется — Керосиновка.

Оказавшись на берегу, голавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, разевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры.

Фотограф-профессионал никакого такого голавля не заметил.

— А сколько человек влезет в «Одуванчик»? — спросил он.

Я стал рассказывать про лодку, а голавль мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью.

— Да,— вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением.— Вот это путешествие!

— Это тебе не магнитофоны слушать,— сказал я, чтоб повеселить голавлишку, чтоб ему было поуютней на берегу.— Это плаванье для людей граммофонных, для подлинных ценителей керосиновых ламп.

— А когда вы отплываете?

— Пожалуй, через недельку,— ответил я, оборачиваясь к своему голавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал голавлишко, только пучил глаза из травы.

— Может, меня возьмете? — робко попросил Глазков.

— Ну уж нет,— засмеялся я,— лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов?

— Да что ты привязался к этому магнитофону? — примирительно сказал фотограф.— Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная.

— А какая же? — смеялся я.

— Может, патефонная, кто ее разберет.

— Ты слышишь? — хлопнул я по плечу голавля.— Слышишь, как он заговорил?

— Слышу,— глухо ответил Орлов,— но только не слишком ли ты торопишься?

— Надо спешить,— ответил я,— позже на озеро не пробраться. Протока так зарастает травой, что ее не найти.

— Ну что ж,— сказал Орлов,— плыви, когда хочешь, а на меня не рассчитывай.

— Как то есть?

— Я не плыву, остаюсь в Москве.

Серая муть объявилась в моих глазах, и за этой мутью я увидел, как голавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошел обратно в реку.

— Стой! — крикнул я. — Стой! Останься на берегу!

— Я и остаюсь на берегу. Это ты плывешь, — сказал голавль и спокойно прыгнул с берега в воду.

И тут треснуло сердце старого рыбака — уже ни удочки, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс — с ходу, в одежде, в сапогах и телогрейке, прыгать в воду за голавлем и схватить все-таки его за хвост. И я прыгнул, вытянув руки.

— Почему ты не хочешь плыть со мной?

— Мне некогда. Работать надо. Заказ сдавать.

— Но лампы, керосиновые лампы! Знаешь, сколько их стоит там, на далеких берегах! Клянусь, найдем и граммофоны!

— При чем здесь граммофоны? Работать надо.

— Да, — сказал я, глядя Орлову прямо в глаза, — я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю — почему? И лодку мы строили вместе, и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плавание, подожду, пока ты сдашь заказ.

— Не жди, отправляйся. Ты и так уже долго ждешь.

— Значит, бросаешь меня?

— Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывешь.

Горькая и ужасная обида вошла в мое сердце, я понял, что сделать ничего не могу, надо сматывать удочки, уползать потихоньку домой.

— Да возьми ты с собой фотографа, — сказал Орлов. — Видишь, он рвется в плавание, и душа у него вроде бы граммофонная.

Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого.

Глава XX

ПОСЛЕДНИЙ ТОРТ

Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно: лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе.

Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что сверху.

Вроде бы надо сунуть вниз сапоги — до болот доберемся еще не скоро, сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съедать ее в первый день, можно купить на станции пирожков. Значит, колбаса снизу, сапоги сверху. Но ведь пирожков на станции может не оказаться, где ж тогда быть колбасе?

— Да сунь ты ее в сапоги,— сказал фотограф-профессионал.

В огромнейших и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправлялся со мной в плавание.

С трудом, с трудом согласился я взять его с собой.

Мне казалось, что душа у него все-таки сильно магнитофонная, и черт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озерах и увязать в болотах.

Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен все-таки товарищ — помощник, напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чаю попить на берегу, и ухи похлебать.

Фотограф очень просился в плавание, и я в конце концов согласился.

Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удовольствию, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому — «рябчик».

— Рябчик — штука в плавание необходимая,— объяснил он мне,— рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты-то берешь рябчика?

Беру ли я рябчика? Я, не снимающий тельняшку с самого рождения?

— Рябчик — это птица,— буркнул я, мучаясь с колбасой.— И в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков. Не спутай их с тельняшкой.

Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом и, хотя давно получил трешку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги.

Раздался звонок — в комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский.

— Шайка потихоньку собирается? — спросил у меня Петрович.

Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок — появилась внезапная Клара Курбе, а за нею — милиционер-художник.

При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнется стрельба, отбор колбасы и задержание преступников.

Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стол. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты.

Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не

сообщай ни о чем, умоляю». Специально, чтоб попугать Петровича, я строил Шуре сообщающую рожу.

— Это ты пригласил Клару? — потихоньку спросил меня Орлов.

— Да нет.

— Сама явилась, — сказал Орлов и поморщился.

Это орловское поморщивание было мне непонятно. Вроде раньше он особенно не морщился при виде Клары. Непонятно было, откуда Клара взялась у Петровича, ведь она никогда в жизни не знала моего адреса, не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали, а откуда? И почему Клара пришла с милиционером?

В суматохе сборов спрашивать об этом было неловко.

Клара между тем была сегодня какой-то необычной, я бы даже сказал — необыкновенной. Она как-то стеснялась, пряталась за милиционера, и в руках у нее была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не соображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне, и я на всякий случай отошел к лодке.

Клара водрузила коробку на стол.

Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно-розовая толстая роза.

Фотограф взялся заваривать чай, а Клара резать розу.

Стали пить чай с Клариным тортом. Милиция, как я и предполагал, навалилась на розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок.

Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал о Багровом озере, о легкости «Одуванчика».

— Слушай, — сказал Петюшка, втянув остатки розы, — а кто у вас капитан?

— Что такое? — не понял я. — Какой капитан?

От кого, от кого, но от Петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан — я. Я строил лодку, задуывал плавание, все организовал, так кто же капитан?

— Он, — сказал фотограф и показал на меня пальцем.

— По-моему, он безрассуден, — сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолубивым языком. — Он не годится в капитаны.

Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит Шуре, но все молчали, а Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к ее розе.

— Но ведь он построил лодку, — сказал фотограф, — значит, он — капитан.

— Не важно, кто что строил, — сказал милиционер, — важно, чтоб плавание прошло удачно.

— Слушай,— сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня,— а зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плаванье задумал, вот и плыви себе. А капитаном пусть будет фотограф, надо же и ему за что-то отвечать.

— Да какой из фотографа капитан! — возмутился наконец Орлов.— Он и весло-то держать не умеет, не знает, где Север, где Юг. Тоже мне нашли капитана.

— Почему же это из меня не выйдет капитана? — замедленно вдруг произнес фотограф.— Кто сказал, что я не знаю, где Норд, а где Зюйд? Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба?

Фотограф-профессионал неожиданно взволновался, губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его, поближе к локтю, мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь.

Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и устался обиженно в торт.

— У краба десять ног,— сказала Клара.— Но дело не в этом, дело в успехе плаванья. Я предлагаю проголосовать.

— Проголосуем? — спросил и милиционер-художник.

За меня проголосовали Орлов и фотограф, а за фотографа все остальные, и даже Петрович махал у шкафа лапой. Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал: да зачем тебе быть капитаном? Брось ты это.

И я понял, что Петюшка прав. Главное — плыть, куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул: капитан-фотограф.

Но с Петровичем я решил разделаться немедленно, раз и навсегда.

— Нам пора в дорогу,— сказал я, вставая.— У меня осталась единственная просьба: пускай Орлов заберет мою раскладушку. К Петровичу я больше не вернусь.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

ОПАСАЙТЕСЬ ЛЫСЫХ И УСАТЫХ

— Вы еще не проснулись? Проснулись вы или нет?

Кажется, я еще не проснулся.

— Неужели вы спите? А вид такой, будто вы проснулись.

Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал: начну спорить — сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что еще не проснулся.

— Жалко, очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно, и все.

Я просто не знал, как быть — просыпаться или нет. Пожалуй, надо было не валять дурака, а просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид.

Но как это сделать? Глупо подсказывать и орать, дескать, я проснулся. А как еще показать, что это свершилось, я не мог сообразить, потому что все-таки проснулся не до конца.

— Ладно. Вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза, покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать.

Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в черном платке, который окутывал голову и плечи, из платка выглядывал кривой колдовской нос.

Над головою старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа, и я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего «Одуванчик» из Москвы.

— А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте...

Кажется, надо было и вправду закрывать только что открытое. Неловко пялить глаза, если их просят закрыть, и я покорно сомкнул веки.

— Вот молодец. Хорошо. А теперь слушайте. Я хочу вас предупредить, а то умрете и сами не узнаете от чего. Главное — берегитесь Волны!

Мне захотелось немедленно открыть глаза, но я удержался.

— Я вам все расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься Волны. В ней все дело. Вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы все поняли.

Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи.

— Волна эта чрезвычайно опасна,— говорила старуха, наклоняясь ко мне.— Ее распространяют лысые и усатые. Они знают секрет.

— Какая волна? — собравшись с силами, сказал я.

— Лучевая,— пояснила старуха.— Ее распространяют лысые и усатые. Вы поняли?

Кажется, я все понял. Старуха была «с приветом» и сейчас пыталась передать мне этот привет.

— Только лысые и усатые знают секрет Волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять Волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять Волну?

— Что? — спросил я.

— Отойти, просто отойти в сторону. А потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать: «Я знаю!» Чтоб он понял, что вы знаете про Волну. Или еще есть средство, очень верное.

— Какое? — спросил я.

— А что вы делаете, если обожжетесь? Какое есть народное средство?

— Слюна? — предположил я.

— Умница! Вот именно, слюна! Надо помазать пораженное место слюной! Какая умница! Какое осмысленное, проснувшееся лицо!

Почему-то моя догадливость насчет слюны очень понравилась старухе, и она расхваливала меня, шарила глазами по купе в поисках человека, который тоже мог бы одобрить такую мою смекалку. Но подходящего человека не было. Фотограф-профессионал спал, равнодушный к Волне, слюне и моей сметливости.

— И еще я скажу вам: берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши.

— Как это?

— Разве вы не слышали, что уши — вместилище разума?

— Не слышал.

— Как же так? Ведь все проходит в мозг через уши! Именно уши — вместилище разума.

— Так говорили древние греки,— послышался голос, и капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду.

— Вот это умница! — воскликнула старуха.— Вот умница так умница!

Мудрые слова капитана-фотографа поразили ее, и она вос-

клицала, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной.

— А как же глаза? — спросил я. — Глаза-то что ж такое?

— Глаза — это источалище разума, — пояснила старуха. — Они разум источают, а уши — вместилище.

— А нос-то небось чихалище? — спросил капитан.

— Нос и глаза сами за себя постоят, — усмехнулась старуха. — А вы берегите уши. Не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг.

— А как быть с бородатými? — спросил я, намекая на капитана-фотографа. — Бородатые тоже опасны?

— Ну нет, бородатые — совсем другое дело. Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы... Вы никогда не носили усов?

Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос, и под носом сразу зачесалось, стало неловко.

— Да вроде не носил.

— Вы меня обманываете.

— Не носил я усов, — твердо сказал я, хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота.

— Как же так! — воскликнул капитан-фотограф. — Ведь ты отращивал усы! На кот-то был еще похож!

— Это я так, баловался. И носил их всего две недели.

— За две недели Волну не сделаешь, — сказала старуха. — И все-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать Волну?

— Что вам надо! — сказал я, начиная раздражаться. — Усы я давно сбрил и Волну делать не умею. Отстаньте!

— А по-моему, ты умеешь делать Волну! — сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха «с приветом».

— Настоящую Волну ему не сделать, — сказала колдунья. — А маленькую, незаметную он сделать может. Такая Волна самая противная. Она по-настоящему не убьет, а нервы попортит.

Капитан глупо засмеялся на верхней полке, старуха же без тени улыбки глядела мне под нос.

— Да, бабушка, — смеялся фотограф, — это вы верно сказали. Такая Волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах.

Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана.

— А ты, парень, что-то уж больно развеселился, а ведь едешь и сам не знаешь куда. Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждет.

— Может, вы нам скажете? — прищурился капитан.

— Сами скоро узнаете! — каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. — Но один из вас домой не вернется.

Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали, но когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился.

— Выйдите отсюда! — сказал я, подымаясь.

— Уехали двое, потом вас будет четверо. А все равно один домой не вернется. Только не знаю кто.

— Выходи, тетка, — сказал я, — а то сейчас Волну сделаю!

— Мало каши ел, — сказала старуха, презрительно подымаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки.

— Гадалка, что ли? — спросил он, натягивая брюки.

Поезд между тем приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные ветлы гнулись под порывами ветра.

Мы сошли с поезда и по хлюпающей разваленной тракторами дороге отправились к Северскому озеру.

Болтовня старухи, ветер и дождь — это было не слишком удачное начало плаванья, и все же счастье испытывал я. До чего надоел Город с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары Курбе и милиционеры-художники.

Под дождем на берегу Северского озера мы стали собирать «Одуванчик», и я все вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый.

Усатых набралось немного, лысых и того меньше. Но мой ближайший друг художник Орлов, как ни крути, был все-таки лысоватый.

Глава II

ДОЖДЬ В КОРОВЬЕМ ЗАЛИВЕ

Дождь не переставал. Он то моросил тоскливо, то начинал отчаянно хлестать, то прощально шелестел в кустах, обещая скоро кончиться, но не кончался, а придумывал что-нибудь новое, например падение капель сразу со всех сторон.

Я заметил, что меня дождь старается промочить сильнее, чем капитана. Профессионалу-фотографу удавалось увернуться, он нашел с дождем общий язык, я же ругал дождь на все корки.

Комары летали между каплями дождя и ныли:

«Ннннннннн...»



Я оттолкнулся веслом от берега, и «Одуванчик» отправился наконец в плавание... Увидев нас плывущими, какая-то комолая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже все стадо ревело в нашу честь, и под этот рев, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из Коровьего залива на Большую Воду.

Неуютно оказалось на Большой Воде. Здесь бродили холодные волны. Серый северный ветер заворачивал нос «Одуванчика», а дождь хлестал сильнее и казался мокрее.

Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного гребка, и лодка пойдет ко дну.

— Мы перегружены, — сообщил с носа фотокапитан. — Надо бы высадить кого-нибудь на берег. «Одуванчику» будет легче.

— Кого это — кого-нибудь?

— Ну, кого-нибудь из нас. Или меня, или тебя.

— Как это — посадить меня?

— Ты меня не понял. Я сказал: посадить временно. Понимаешь? Временно, пока не уляжется волна. А потом снова всадить. Один пока бы вел лодку, а другой по берегу прошелся. Понимаешь?

— Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно руками не махай. Высаживайся на берег сам. Понимаешь? Капитан не ответил, и вопрос этот угас.

Впрочем, и до берегов-то было уже далеко.

Хоть и греб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими Кларами и милиционерами-художниками еще дальше.

Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки.

«Одуванчик» понял, что мы перепугались, и старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных. Он был терпелив и покорен, как Конек-Горбунук.

Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку. Но «Одуванчик» сам летел вперед, а я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей.

Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но «Одуванчик» легко взлетал на ее вершину, а я хлопал волну веслом по спине — «Катись дальше!».

Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но «Одуванчик» увертывался, и я хлопал волну по спине — «Катись дальше!».

Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нем ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе.

Здесь и вправду дождик уже перестал.

Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верхом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек — большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул:

— Эй на катере! Спичек нету?

— Разве ж это катер? — сказал я, подгребая к берегу. — Это лодка, самая легкая в мире. Назвал бы еще баржей.

Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзенный молнией. Вокруг черепа висела надпись:

«Не влезай — убьет!»

Глава III

ЧЕРЕП, РАЗБИТЫЙ МОЛНИЕЙ

Привязав нос «Одуванчика» к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником, как он сказал:

— Трава сырая. На вот, подстели.

Из черной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай — убьет!» и протянул мне. Потом достал еще одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай — убьет!».

Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твердую, как лодочное весло, руку.

— Натолый, — сказал он.

Почтительно пожавши весло, мы познакомились, закурили. Натолый внимательно разглядывал нас.

— Веслаетесь? — спросил он, начиная разговор...

— Веслаемся, — согласился я. — Веслами гребем...

— А я обколачиваю, — сказал Натолый. — Да вот погода сегодня...

Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода — никуда, и я невольно подумал, что странная собралась на берегу компания — двое веслаются, один обколачивает.

— А что вы обколачиваете? — спросил капитан.

— Столбы, чего же еще. Вон табличками с черепушкой. — И Натолый кивнул на то, на чем мы сидели.

— Это специальность у вас такая, обколачивать?

— Специальность у нас монтер. Вначале столбы ставим,

потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем. Не вылезай, мол на столб, а то током дернет.

— Неужели на каждый столб табличка? — спросил капитан.

— Через раз,— пояснил Натоллий.— На первом столбу он прочтет — на второй уже не полезет. Ну а пока до третьего дойдет, может и позабыть, что написано. Возьмет да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем.

— Да неужели есть такие люди, которые на столбы лазят? — наивно спросил капитан.

— Бывают.

— Да чего ему там делать-то, на столбе?

— А ничего,— сказал Натоллий.— Залезет и сидит.

Капитан искоса глянул на столбы, стоящие вдоль берега,— не сидит ли кто? Но пусто было на столбах, только на пятом или шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на нее, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером.

— Сами-то нездешние, что ли? — спросил Натоллий.

— Из Москвы.

— То-то я гляжу — нездешние плывут. Вид у вас, что ли, такой, нездешний?

— Вид, наверно,— согласился я и глянул искоса на капитана. Ничего, абсолютно ничего здешнего не было в его виде. И взгляд какой-то нездешний, и вельветовые неуместные брюки. Да и откуда, скажите на милость, возьмется у здешнего человека такая тупорылая борода?

А сам-то я, наверно, еще более нездешний, чем капитан. А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот уж нет, в Москве я совершенно нездешний, нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда — и опять нездешний. Тьфу!

— А с вами кто на лошади ехал? — спросил я.— Здешний или нездешний?

— Со мной? Со мной никто.

— Да как же! Двое слезли с лошади.

— Ах, вон ты чего! — засмеялся всадник-монтер.— Так это здешний. Сын это мой, Пашка. Увязался за мной, а теперь и побежал куда-то.

— Не заблудится?

— По столбам найдет. Я ведь только по столбам езжу.

— А мы на Багровое озеро пробираемся,— сказал капитан.

— Не проплыть,— сказал Натоллий и покачал головой.

— Да ведь протока есть. По протоке проберемся.

— Нету протоки,— сказал Натоллий-всадник-монтер.— Откуда ей быть?

— Как же нету протоки? — сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне.— Говорили же — есть протока.

— Нету, парень, нету протоки, а макарка совсем заросла.

— Какая макарка?

— А какая на озеро ведет.

— А как она выглядит, эта макарка-то?

— А никак не выглядит,— сказал Натолий.— Я ж говорю, заросла.

Разговор запнулся. Печально и растерянно глядел на меня капитан, перевел взгляд на всадника и вздрогнул. Тут, между прочим, и я заметил, что всадник наш усат. Насчет же лысины пока было неизвестно, мешала монтерская кепочка.

— А где она, эта макарка, которая к Багровому озеру вела? — спросил капитан.

— Там, где мост Коровий,— ответил Натолий.— Оттуда шла макарка к Багровому, а уж из Багрового другая макарка — к Илистому. А уж из Илистого в Покойное.

— Значит, тут не только Багровое? Тут еще Илистое озеро есть?

— И Илистое есть, и Покойное, а вот макарок нету. Заросли.

— У нас лодочка легкая,— сказал капитан.— На ней можно хоть по болоту плавать.

— Засосет,— сказал Натолий.— В черную чарусью попадете — и засосет. Там, в макарках, чарусьи есть. Ямы черны, бездонны, засасывающие.

И всадник-монтер печально вздохнул, сокрушенно покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив наконец свою лысину.

Глава IV

ПАШКА И ПАПАШКА

До Коровьего моста капитан-фотограф пошел берегом, а я повел «Одуванчик» через озеро. Легко и быстро пересек я середину и под лесом, на другом берегу, увидел черные сваи, торчащие из воды. Это и вправду оказался мост, старый, прогнивший, и я понял, что название — Коровий — к нему вполне подходит.

Скользкие его сваи были непомерно толсты. Они лоснились масляной торфяною чернотой, лениво выказывая из воды неповоротливые бока.

На мосту лежал толстенный опавший лист. Подпрыгнув и шлепнувшись в воду, он оказался лягушкой.

Под мостом, между бревен, набилось так много коряг и обломков, что продираться через этот озерный хлам на «Одуванчике» не стоило. Лодку надо было перетаскивать.

Сразу же за мостом вела в глубину заболоченного леса

узенькая струя черной воды — та самая макарка. Было видно, как петляет она среди таволги и тресты, пропадает неподалеку. Здесь, поблизости, макарка казалась вполне судоходной, но что делалось впереди, в серых и белых болотных травах, угадать было невозможно.

Столбы, которые обколачивал всадник-монтер, перешагивали через макарку, проносили над нею свои провода. С одной стороны макарки столбы были обколочены табличками, а с другой — нет. Видно, там начинался чужой участок, и монтеры с этого участка были настроены более философски. Если какой дурак и залезет на столб — полагали они, — пускай его убивает.

Поджидая капитана, я решил половить рыбу.

Из тростников поднялась цапля. Вобравши в грудь свою гордую корабельную голову, она полетела над макаркой к Багровому озеру.

«Где цапля, там и рыба», — подумал я и закинул удочку. Тут же клюнуло, я подсек и вытащил маленького окунька. — Будет уха, — обрадовался я.

Окунька я отпустил, слишком уж он был мал, снова закинул удочку и снова вытащил того же самого окунька.

Раз за разом закидывал я удочку, а ловил все одного и того же окунька.

Вставши на колени, я заглянул под мост.

В прозрачной воде я увидел сотни и тысячи окуньков. Они плавали над песчаным дном, то собираясь в стайки, то рассыпаясь в стороны. Я заметил, что они разбегаются, как только я шевельнусь. Подниму руку — рассыпаются, опущу — опять собираются в стайку. Мне понравилась эта игра, и так, махая руками, я стоял на коленях и глядел под мост.

— Окуней гоняешь? — услышался голос.

На мосту стоял мальчик лет шести, очень похожий на окунька. В руке у него была жестяная короткая сабелька, в которой я с интересом узнал подрезанную табличку «Не влезай — убьет!». По табличке я и догадался, что это та самая часть всадника-монтера, которая в свое время отделилась от лошади.

— Тебя Пашкой звать?

Окунек моргнул, разглядывая меня. Необычная лодка и мой нездешний вид сильно его удивили, но расспрашивать, кто я такой, он не решился. Как-то это некрасиво сразу спрашивать, кто ты, мол, такой да откуда. И я молчал, потому что сразу болтать, что я такой-то, плыву туда-то, тоже не очень красиво. Мы молчали. Пашка-окунек глядел на меня, а я достал трубку, закурил.

— Слушай, парень, — сказал Пашка. — А как это ты дым из носа пускаешь?

Я захлебнулся дымом, закашлялся, выпуская из носу немалые между тем клубы, — вопрос оказался неожиданным.

— Само как-то получается,— ответил я и, набравши дыму, повторил этот нехитрый номер — выпускание из носа табачных струй.

— Здорово,— сказал Пашка,— Змей Горыныч, а?

— Дело, в общем, простое,— сказал я, отфыркавшись.— Беру дым в рот, а выпускаю через нос. Ты попробуй, набери воздуху в рот, а выпусти через нос.

Раздувши щеки, Пашка набрал воздуху в рот, сомкнул губы и напыжился.

— Ну, теперь валяй, выпускай.

Пашка покраснел, закрутил глазами, подражая мне, но выпустить через нос ничего не мог. Губы его наконец отомкнулись — воздух вылетел наружу.

— Не выходит,— сказал он.— Я чего в рот набираю, ртом и выпускаю, а уж что в нос, то из носу. У тебя-то, может, нос неправильный. Можно потрогать?

Растерянно кивнув, я наклонился, и Пашка потрогал мой нос.

— Все вроде правильно,— сказал он.— А теперь ты потрогай, как у меня нос, правильный ли?

Так мы стояли на Коровьем мосту и трогали друг друга за нос.

— Как тут насчет рыбы? — спросил я, отвлекая разговор.

— Нету рыбы,— сказал Пашка и махнул рукой.— А вот щуки много.

— А щука — не рыба?

— Ты что, парень? Какая же щука рыба? Щука — это щука. А вот окунь, подъязок, ляпок — это рыба. А щука — не рыба. Она-то всю рыбу здесь и поела, а теперь щуку Папашка жрет.

— Какой Папашка?

— Тот самый, с Илистого озера. Он не только щуками, он больше лосями питается.

Окуньки, что стояли под мостом, собрались в темный табунок. Тыкаясь в скользкие сваи, они подымали головы, повиливали хвостами против течения.

— А этих-то,— сказал я, указывая на окуньков,— Папашка жрет?

— Жрет помалу,— ответил Пашка.— Но этих-то сколько надо на три головы.

— Разве у него три головы?

— Одна — щучья,— сказал Пашка, загибая палец,— другая — медвежья, третья — человечесья. Щучьей-то он рыбу жрет, а медвежьей — лосей.

— А человечесьей? — спросил все-таки я.

— А человечесьей что попало,— ответил Пашка.— Мы-то что попало едим, так и Папашка.

— А людей он как? — осторожно спросил я.— Трогает?

Пашка серьезно посмотрел на меня, печально и значительно кивнул, — увь, людей он тоже трогает.

— И какой же головой?

— А тремя сразу.

— А в Багровое озеро он заплывает? — с легкой тревогой спросил я.

— В Багровое ему не пролезть, макарка заросла совсем. Да и чего ему в Багровом делать? В Багровом ведь бесы хозяева. А бесов Папашка не жрет, они горькие.

— Тут есть ведь еще одно озеро, — сказал я, — Покойное. А там-то кто живет?

— Ты что ж, сам не понимаешь?

— Не очень.

— Покойники, — сказал Пашка.

Я слегка растерялся. Действительно, догадаться, кто живет в Покойном озере, было нетрудно, но как-то в голову не приходило, что вопрос решается так просто.

— Покойники в земле лежат, — сказал я. — Чего им в озере делать?

— Это тихие в земле. А те, что порезвей, в озере плавают. В земле скучно лежать.

— Да, брат, — сказал я, похлопал Пашку по плечу. — А мы-то собирались рыбу ловить. Останемся, пожалуй, без ухи.

— А ты раков налови, — сказал Пашка. — Здесь раков много. Вечером так и ползают по песочку.

Глава V

РАЧЬЯ НОЧЬ

На высоком берегу вновь среди столбов объявилась фигура монтера-всадника. Шагов за двадцать до Коровьего моста всадник, к удивлению, опять раздвоился, и капитан-фотограф сныгнул на землю.

— Ну как уха? — весело кричал капитан. — Как рыба? Наловил на уху?

— Мелочь.

— Из мелочи уха наваристей.

Прокатившись на лошади, капитан-фотограф прибодрился, повеселел. Ни о бесах, ни о покойниках он не подозревал, деловито оглядывался, отыскивая макарку.

— Вот она, макарка, — сказал всадник-монтер, указывая пальцем в глубину болота. — С полкилометра проплывете, а уж как там — не знаю.



— Прорубимся,— сказал капитан.— Или прокопаемся. У нас есть топор и лопатка.

— Лучше уж серп,— сказал Натоллий.— Тресту жать.

— Тресту будем руками выдирать,— быстро нашелся не имеющий серпа капитан.

— Вам виднее,— согласился всадник-монтер.— Только чарусью остерегайтесь, краешком плывите, не лезьте в середину, засосет. Щепку бросишь — и ту засасывает.

— Щепка ей ни к чему,— сказал Пашка.— Ей бы теленка.

— Как это? — не понял фотограф-капитан, впервые приглядываясь к Пашке.— Для чего теленка?

— Ей живое надо,— пояснил Пашка.— Торф-то мертвый, но он чарусью родит. Она и сама из торфа, только живая. Бывают здоровые — быка проглотят. Есть и поменьше, чарусеныши, но тоже глотают.

— Какие чарусеныши? — спросил капитан, оглядываясь на монтера-всадника.— Неужели живые?

— Что-то вы нас совсем запугали,— сказал я и засмеялся для капитана.— То Пашка говорит, в Багровом бесы живут, то — чарусеныши.

— Какие еще бесы? — обеспокоился капитан.— Где бесы? В Багровом?

— Не знаю я,— сказал Натолий.— Какие там бесы? Воеет что-то по ночам.

— Волки, наверно.

— У волка голос нежный. А тут гнус какой-то. Гнусит, гнусит.

Упираясь коленками в лошадиный добродушный бок, Пашка вскарабкался на лошадь и как-то хоть и медленно, а быстро всадник-монтер и Пашка стали уходить от нас, не прощаясь, на высокий и крутой подымаясь берег.

Отошедши шагов с двадцать, всадник оглянулся и крикнул: — Чарусью остерегайтесь...

И больше они не оглядывались, по столбам, по столбам удаляясь от нас, а когда мы вытащили на берег «Одуванчик», ни всадника-монтера, ни Пашки, ни даже столбов видно не было — быстро темнело.

— Бесы, чарусеныши,— бормотал капитан-фотограф.— Чепуха, чушь. Больше он ничего не рассказывал, чего там еще есть?

— В Багровом только бесы,— честно сказал я.— А вот в Илистом Папашка живет... трехголовый. Ну а в Покойном озере и сам можешь догадаться, кто живет.

— Кто же? — спросил недоверчиво капитан.

— Покойники.

— Черт знает что! — сказал капитан.— Бесы, покойники. И мальчик-то большой. Наверно, уж в школу ходит.

Мы разбили палатку, развели костер, и капитан-фотограф взял удочку, привязал самый большой крючок, насадил червя.

— Сейчас мелочь спать пошла,— говорил он,— крупная к берегам выходит. Сейчас накинется на московского-то червячка.

Перед отъездом из Москвы мы накопили червей, на которых капитан особо надеялся. Ему казалось — как только местные рыбины увидят московского червяка, тут уж сразу с криком «московский!» навалятся на наши удочки.

Я взял фонарик и пошел по берегу поглядеть, не видно ли и вправду раков.

Медленно шагая по хрустящей старой тресте, я освещал пес-

чаное дно и видел камушки, утонувшие прутья, скорлупу перловиц.

Берег изогнулся, дно наклонилось вглубь, и я увидел рака.

Он надвигался к берегу из глубины озера и шел не задом, как мы думали, а прямо шагал вперед, выставив две черные по бокам клешни.

Вступив в электрическое пятно, лежащее на дне, рак остановился. И пока он раздумывал, откуда здесь электричество, я шагнул навстречу, опустил руку в воду и выставил свои пальцы против его клешней.

Присев на хвост, он поднял плечи, а клешни наклонил косо, чтоб удобней было хватать и рубить. Грозен и готов к бою был его вид — пальцы мои ничуть его не смутили.

Тут я понял, что рак этот огромен. Две косо расставленные клешни были шире моих растопыренных пальцев. Его блестящие глаза-глазки выставились над треугольным лицом. Они двигались на стебельках. Длинные тугие усы шевелились между клешнями, со дна доставая поверхности озера.

Я решил обхитрить рака, обойти его сзади, чтоб взять за панцирь позади зловещих клешней. Повел руку в обвод, но рак — черный рыцарь — обернулся на хвосте, заметив мой нервный маневр.

Мечтая о рачьей перчатке, я водил рукой вправо-влево и, наконец решившись, сверху накрыл соперника, резко прижал к песку. Рыцарь рубил клешнями воду, щекотал и кромсал ладонь — я выхватил его из воды и кинул на берег.

— Эй, капитан! — крикнул я. — Неси ведро! Рыцаря поймал!

Капитан с ведром подбежал ко мне, восторженно затолкал добычу в жестяную посудину. Рак стучал клешнями о стенки, вытягивал к фонарю свои глаза.

— Смотри-ка, — тревожно шепнул капитан, — крест у него, на хвосте.

На средней из черных панцирных чешуй, которыми оканчивался рачий хвост, действительно был замечен маленький светлый крестик.

Отчего-то этот крестик испортил настроение. То ли мы сильно устали за день, то ли соединился крестик с бесами и покойниками. Но, пожалуй, за один день слишком много набралось разной ерунды:

Лысые и усатые,

бесы и покойники,

Папашка трехголовый,

крест на рачьем хвосте.

— Не знаю, что делать, — сказал капитан, — раньше я крестов на рачьих хвостах не замечал. Можно ли его сварить и съесть?

— Одного варить глупо, — заметил я, — надо еще наловить.

С фонариком и ведром, в котором трещал и корябался рыцарь, мы вернулись на берег. Я осветил дно — и рука моя дрогнула.

Раки наступали из глубины. Один за другим выходили они из мутной тьмы, поднявши к небу свои черные военные усы.

Бледный и нездешний, обмотавший руку полотенцем, чтоб хватать легионеров, капитан-фотограф стоял по колено в воде, готовясь к предстоящей битве.

Двухклешневые, длинноглазые, угрожающе подбоченившись, с крестом, который хоть и не был различим, но угадывался, раки быстро окружали нас. Иные взгромождались на камни, чтоб получше нас разглядеть, другие подползали, прижимаясь к песку, третьи покачивались на стеблях канадской элодеи, которую справедливо зовут водяною чумой.

Выбрав крестonosца покрупней, капитан сунул руку в озеро — и сражение началось.

Впрочем, обладатель редкого оружия — вафельного полотенца — капитан-фотограф сразу же оказался победителем. Он просто хватал рыцарей и бросал в ведро. Скоро в ведре, гремя доспехами, лязгало и скрипело с полсотни легионеров. Из ведра они не умели добраться до капитана и схватывались между собой, вспоминая старые ссоры.

Многие воины не выдержали капитанского успеха и, поджавши хвост, улетали обратно в глубину. Они не пятились, они улетали, как торпеды. На поверхности воды виден был их уса-тый след.

Ведро повесили над костром, и, окутанный рачьим паром, капитан помешивал в нем еловою палкой, приготавливая чудовищное варево. Некогда черные, а теперь огненные усы и клешни высывались из ведра, и над ними парила зловещая тень капитана.

— Я раков не раз варил, — объяснял мне капитан, — с Петюшкой Собаковским мы как-то съели по сто раков. В рака надо больше соли, больше перцу, больше лаврового листа.

Я слушал старого ракоеда и думал: что же будет дальше и возможно ли это в жизни — поедать вареных рыцарей?

Глава VI

КАЗБЕК РАКОВ

Ночь приблизилась, подошла вплотную, и ничего вокруг нас не осталось, только костер, только мы с капитаном, только ведро, из которого валил пряный пар, да песчаная кайма берега



и серебристый нос «Одуванчика», подвинувшегося к костру поближе.

Капитан снял с костра ведро и вывалил раков на траву.

Груда раков, курган раков, гора Казбек раков возвысилась над землей рядом с мигающим жарким костром. Бурые панцири, алые клешни, багровые усы тянулись к небу, нацеливались, угрожали и просто так торчали в разные стороны.

Не раков и не рыцарей в багряных теперь доспехах напомнили они, а жителей планеты Сатурн, космических пришельцев, которых мы с капитаном по глупости наловили, сварили и приготовились есть. И я содрогнулся, представив, как прилетят на Землю эдакие пришельцы в форме раков, а какие-нибудь типы, вроде нас с капитаном, сунут их в свой наивный бульон.

Капитан тем временем схватил космического гостя, обжигаясь, взломал панцирь, с хрустом оторвал шейку и высосал брызнувший сок. По-каннибальски подмигивая мне, он сопел и грыз. Откровенное блаженство было нарисовано на лице пожирающего пришельцев из космоса.

— Помню, с Петюшкой Собаковским... — журчал каннибал-фотограф. — Ну и раки были тогда... А ты что сидишь? Бери вон того здорового.

— Что-то не могу, — сказал я. — Мне кажется, это пришельцы.

— Что такое? — обиженно остановился капитан.

— По-моему, это пришельцы из космоса, с планеты Сатурн. Вот и крест у них на хвосте. Видал ты когда-нибудь рака с крестом?

— Не видал, — сказал капитан, позабывший уже про крест.

— Конечно, это пришельцы, — сказал я, — в форме рака.

Капитан оглянулся на озеро, над которым клубился уже тревожный глухой туман. Ничего на первый взгляд особенного не было в этом тумане — обычный ночной земной туман, сырость и глухота. И все же в нем жило, таилось нечто космическое. Почти не шевелясь, выползал туман к берегу, обтекал костер, касаясь наших щек и коленей. В ночи и в тумане мы остались совсем одни перед горою пурпурных пришельцев из космоса.

— Зачем же мы их наварили-то? — спросил капитан.

— По глупости. Приняли за раков. По простоте душевной.

— А может, это все-таки раки? — сказал капитан. — Если это пришельцы, зачем у них рачий вкус? Ну пускай форма рачья, а вкус должен быть другой, неземной, космический. По-моему, это раки.

— А почему у них на хвосте крестик?

— Откуда я знаю? Крестик так крестик, ничего страшного. Может, этот крестик принесет нам счастье!

И капитан надломил нового рака и высосал сок. И счастье заблестало в его глазах, запуталось в бороде.

— Черт возьми! — сказал капитан. — Можно в конце концов рубануть и пришельцев, если они съедобны.

И мне показалось, что вареный рак в руках капитана каким-то чудесным образом превратился в долгожданный плод — гранат, что ли, северный? Именно с таким счастливым видом, как будто это гранат вроде северный, но только не гранат, а что-то еще и космическое, неземное, озерное, капитан поедал рака.

— Нет, нет, — бормотал капитан, чмокая и хрустя. — Это мы с тобой пришельцы. А раки не пришельцы. Они скорей пограничники, охраняющие подступ к Багровому озеру. А раз мы пришельцы, а они раки, так какого черта? Чего тянуть?

Вслед за ним и я достал из кучи небольшого рачка-пограничника, аккуратно отломил клешню.

— Фу! — сморщился капитан. — Неправильно. Кто так ест рака! Погоди сосать клешню. Надо, пожалуй, научить тебя правильно есть раков.

Глава VII

НАСТАВЛЕНИЯ КАПИТАНА-ФОТОГРАФА

— Я не знаю, как едят пришельцев из космоса, — наставлял капитан, — а рака надо правильно взять в руки. За панцирь левой, за шейку правой рукой. С правильной постановки рук начинается поедание этого редчайшего и сладчайшего плода водоемов.

В старые времена, конечно, существовал особый столовый раковый прибор, похожий на эдакий настольный велосипедик. В нем были разные крючочки, вилочки, колесики, при помощи которых поедался рак.

Теперь такие приборы редкость, руки и зубы — наш «велосипедик». Итак, взявши рака, как полагается, надо разломить его пополам и выпить сок, струящийся как из левой, так и из правой части...

Наставляя меня, капитан-фотограф демонстрировал все это на примере, и я неловко повторял за ним взламыванье, высасыванье и поедание.

— В раке съедобно все, — говорил капитан. — Даже его панцирь, который состоит из особого вещества под названием «хитин». Настоящие ракоеды, к примеру Петюшка Собаковский, охотно вкушают его. Поверь, что и хитин имеет свой вкус,

если это, конечно, настоящий хитин. В конце концов, не каждый день удастся отведать истинного хитина. Добавлю, что хитин полезен хоккеистам.

— Почему? — спросил я.

— Чего почему?

— Почему хитин полезен хоккеистам?

— Ты что — дурак? Не понимаешь, что ли? Ведь хитин — это панцирь, а хоккеистов все толкают и клюшками бьют. Надо же им как-то укрепляться. Кроме хитина, им полезно есть яичную скорлупу и толченые черепаши панцири. Сообразил?

— Сообразил. Расскажи, как едят клешню.

— С клешнями надо обращаться осторожно. Легким нажимом взломав клешню, надо вынуть ее содержимое так, чтобы получилось как бы две клешни. Одна — из панциря, другая — обнаженная, розовая...

Капитан причмокнул, надкусил клешню и ловким ракоедским движением вытащил ту, другую, внутреннюю клешню, обнаженную и розовую. Сунув ее в рот, капитан продолжил:

— Мясо рачьих клешней — мужская пища. Тот, кто ест клешни, обладает крепким рукопожатием... И наконец финал — раковая шейка! Королева стола! Заметь, что раковая шейка на самом деле рачий хвост. Но так она вкусна, так бесподобна, что назвать ее хвостом никто не решается. Это единственный случай, когда чей-то хвост называют так возвышенно. Один поэт так воспевал раковую шейку:

О, шейка рака!
Как собака,
Тебе я предан всей душой...

Другой поэт, из круга Веневитинова, писал еще восторженней:

В мой рот вошло речное диво!
Дрожит от жадности кадык.
И шейку тронувший стыдливо,
Бледнет бедный мой язык.

Именно так нужно есть раковую шейку, стыдливо, застенчиво. Мало на земле людей, которые достойны ее.

Воодушевленный, капитан-фотограф хлюпал стыдливо соком, застенчиво прикрывал глаза, вслед за ним и я принялся взламывать раков, высасывать, брызгаться и хрустеть.

Туман же над озером сгущался. На багровых рачьих панцирях блестела холодная роса.

Глава VIII

МУТНОЕ СЕРДЦЕ ТУМАНА

Я не мог уснуть. В палатке было душно.

Туман, вползающий через щели, покрывал мой лоб испариной, как холодная подушка, наваливался на грудь, придавливал и душил. Палатка была набита туманом.

А там, за брезентовыми стенками, была тишь. Ничто не булькало, не ворочалось, не плескало, но я точно знал, что это неправда. Там обязательно что-то двигалось, что-то булькало и плескало, только очень тихо, еще тише, чем движение тумана.

Раки опять наступали из глубины на берег, ночные летучие мыши летали над нами, и выдра проплывала, спрятав голову под водой. А что еще там делалось, я не знал — не бесы ли катались на лодочке под бесшумными парусами?

Мне представлялась небольшая коричневая лодочка, набитая молчаливыми бесами, и туманный парус, и бес-капитан с седыми усами, и рожи бесов-матросов, испачканные чугунной сажей.

Что они делали там, в лодке, я не видел — рыбу не ловили, выдру не гоняли, только для чего-то мочили в воде толстые веревки.

— Ты спишь? — спросил я капитана.

Капитан спал. Спал капитан, убаюканный усталостью, духотой и туманом.

Я вылез из палатки в полную темноту. И все же, как ни странно, в темноте этой виден был туман. То ли белый, то ли сизый — неведомо какой.

Вытянув руки, вышел я к берегу озера, наткнулся на корму «Одуванчика», потрогал его холодную серебряную кожу.

Забрался в лодку, сел на свое место, прикрыл глаза. В «Одуванчике» мне было спокойнее, чем в палатке, дышалось легче. И я решил подремать в лодке, дожидаясь рассвета.

Бесы ли шутили надо мной, но и в лодке не дремалось, не спалось. Взявши весло, я легонько ткнул им в дно озера — и лодка отошла от берега. Неожиданно поплыл я в темноте и тумане.

Изредка опуская за борт весло, я слегка касался воды, которую не видел, и не слышал ее плеска. Порою я даже и не зацеплялся веслом за воду и двигался вперед, отталкиваясь от тумана.

«Так и надо, — думал я. — Так и надо плыть — отталкиваясь от тумана. Для этого и построен „Одуванчик“».

Туман над озером оказался легче, чем тот, в палатке, при-

брежный. Там он был гуще, там он давил на грудь, а здесь пролетал легко, оставляя на щеках влажный след.

Чем дальше отплывал я от берега, тем нежнее становился туман, я чувствовал это кожей лица, — нежнее, влажней, невесомей. Он не терял своей густоты, но непрестанно менялся. В темноте тянулись над головой легчайшие туманные нити, которые вели в недра тумана, к самому его туманному сердцу.

«Мутное, наверно, у него сердце, — думал я. — Муть да белая серость. Ни черта там не видать, в его сердце».

Бесформенным и рыхлым огромным комом представлялось мне сердце тумана, оно лежало на воде, посреди озера, неподвижное и густое.

«Надо хоть добраться до него, поглядеть, — думал я. — В самое сердце я вплыть не буду, рядышком, около поплаваю».

Туман не мешал мне. Он вроде и не сердился на человека, который собрался доплыть до его сердца.

Впереди я заметил темное пятно. Своей глубиной и бархатностью оно отличалось от всей остальной ночной темноты и поэтому притягивало к себе. Ударив веслом, я всплеснул воду и вплыл в темный круг, очерченный туманом на воде.

Чистый ночной воздух окружал теперь меня. «Одуванчик» плавно пересекал свободный от тумана пятачок черной воды, окруженный глухими белесыми стенами. Далеко-далеко, высоко в небо уходили стены тумана, а там, где кончались они, горели три ярких, к земле наклоненных звезды.

Я остановил лодку и сидел, испуганный, в сердце тумана, задравши голову к небу.

Я узнал эти звезды, внезапно открывшиеся мне, — Пояс Ориона. И, пробиваясь сквозь туман, светили в небесах и остальные звезды — и все созвездье Орион стояло надо мной, над озером, над пустым сердцем тумана.

Я ничего не понимал. Сейчас, летом, даже глухою ночью никак не мог быть виден Орион, и все-таки он стоял надо мной и над моей лодкой.

Не знаю отчего, но я всегда радуюсь и волнуюсь, когда увижу созвездье Орион. Мне кажется отчего-то, что созвездье это связано с моей жизнью. Как будто даже Орион — о, небесный охотник! — наблюдает за мной, хоть и маленьким, а живым, и я ни перед кем, а только перед ним отвечаю за все, что делаю на Земле, — за себя, за свою лодку, за плаванье в сердце тумана.

Неподвижно сидел я в лодке, не шевелясь, стоял вокруг меня туман, и не шелохнулась волна под килем «Одуванчика» — только свет Ориона двигался к нам и достигал нас.

Как некоторые южные люди загорают на солнце, так и я подставил свое лицо под свет Ориона и чувствовал кожей прикосновение его лучей.

Они не были теплыми или холодными, они касались кожи почти незаметно и все-таки отпечатывались на лице. Не знаю, что изменилось на нем — светлела ли, темнела кожа, но я чувствовал, как проходят мои усталость и тревога, легче, яснее становится на душе.

«Все не так уж плохо,— думал я.— Вот я даже доплыл до сердца тумана».

Прикрыв глаза, я вспомнил вдруг людей, оставленных в городе,— Орлова и Петюшку, Клару и милиционера-художника и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. И все они казались мне совсем неплохими и, пожалуй, самыми лучшими и самыми легкими в мире.

Подремывая и вспоминая, я долго сидел так в лодке, а когда открыл глаза, увидел, что нет уже надо мной Ориона и туман сомкнулся над головой.

За туманом, где-то неподалеку, слышался тихий и жалостный вой.

«Уууууууу...» — то ли вздыхал, то ли плакал кто-то, так горько и печально, что хотелось немедленно кинуться на помощь.

Легонько ударяя веслом, я поплыл поскорее на этот вой, и чем быстрее плыл, тем светлее становилось вокруг, развеивался, таял туман. Впереди я увидел лодку с парусом и темные фигуры на борту.

«Бесы,— понял я.— Заманили все-таки. Воют, холеры, мочат в воде веревки».

Коричневая лодочка приблизилась, и я увидел рожи, испачканные чугунной сажей, и капитана с седыми усами. Увидавши меня, он поднял руку, помахал приветливо.

Я махнул в ответ, и бесы-матросы дружно выхватили из воды веревки, к которым привязаны были ржавые жирные крючки. Бесшумно прошла мимо меня коричневая бесовская лодочка. Быстро скрылась она за спиной, а вой все слышался впереди.

«Кто же это воет? — думал я.— Неужели капитан-фотограф? Кто-то прихватил его и душит во сне».

Быстро поспешил я, погнал «Одуванчика», и нос его врезался в прибрежный песок. Я бросился к палатке.

— Эй, капитан! — крикнул я, откидывая полог.— Ты чего воешь?

Капитан заворочался, высунул из спального мешка бороду.

— А? — хрипло прорычал он, изумляя меня тем, что можно хрипло прорычать такое простое слово.— А?

— Это ты воешь?

— Чего еще? — недовольно продирая голос, сказал капитан.— Сколько времени?

— Воешь ты или нет?

Бестолково прочищая глаза, капитан чудовищно призывал.

— Кто воет? — раздраженно расспрашивал он. — Где?

Пока я тормошил капитана, вой и плач прекратились, затихли над озером, пропали. По лицу же капитана ясно было, что выть или рыдать он просто-напросто не умеет.

— Сколько время-то? — спрашивал не умеющий выть капитан. — Пора, что ль, в макарку?

— Светает, — ответил я.

Капитан выпутался из спального мешка, подполз на коленях к костру и принялся раздувать тлеющую головешку.

— Надо чайку вскипятить, — сказал он.

Глава IX

ВТОРЖЕНИЕ В ЗАРОСШУЮ МАКАРКУ

Мы медленно плыли по макарке — черному коридору среди болот, заросших таволгой и вехом. Кое-где мелькали и кусты молочая — бесова молока.

Широкая вначале макарка быстро сузилась. Я отложил весло и, цепляясь за болотные травы, подтягивал «Одуванчик» вперед. С кустов, которые я дергал и шевелил, на нас сыпались спящие еще жучки и мотыльки.

— Надо было дожждаться солнца, — ворчал капитан-фотограф. — Того гляди напоремся на корягу. Видишь — коряги впереди!

Кривые и толстенькие коряги, торчащие из воды перед носом «Одуванчика», с шумом хлопнули крыльями и поднялись в воздух, превратившись в утиную стаю. Вода в макарке взволновалась, какая-то рыбина метнулась из-под лодки, покачнув «Одуванчик». Шуршащий взрыв раздался в камышах — вытянув зеленую шею, взмыл в небо запоздавший селезень.

— Все, — сказал капитан, — дальше нам не пройти.

Поперек макарки лежала почерневшая сучковатая береза. Как видно, ее принесли сюда рыбаки или охотники, гуляющие в болотах. Береза была как бы мостиком через макарку.

— Попробуй ее утопить, — сказал я. — Тогда проплывем над нею.

Капитан-фотограф поднялся и, упираясь веслом в дно, встал одной ногой на березу. Медленно, неохотно береза затонула под его тяжестью, да и сам капитан ушел в воду по колону.

Я подтянулся за куст — нос лодки въехал на березу. Капитан



выхватил из воды ногу, закинул ее в лодку — и береза всплыла, глухо толкнулась в дно «Одуванчика» и подперла нас снизу.

Все стало на свои места. Капитан сидел на своем месте, я на своем, береза вернулась на свое. И мы сидели на березе.

Впереди, за березой,— капитан, сзади, на корме,— я. При желании мы могли покачаться как на качелях, но плыть назад или вперед никак не могли.

— Сели, что ль? — достаточно хладнокровно спросил капитан.

Напряженно вглядываясь в дно лодки, я искал пробоин. Мне казалось, что острый сук впился в платье нашей общей теперь с капитаном невесты, вот-вот разорвет его и мы не то что утонем, а повиснем посреди макарки полумокрые, полузатонувшие.

— Сидим,— ответил я,— пробоин не видно. Надо бы снова утопить березу, тогда прошмыгнем.

— Твоя очередь утопливать,— справедливо указал капитан.

Кое-как приподнявшись, я шагнул из лодки в воздух, стараясь наступить на березу. Она уклонялась от моей ноги, увертывалась. Нога летала в воздухе над водой, замах ее пропадал, она уже не знала, что делать. Вернуться в лодку нога не могла, для этого надо было от чего-то оттолкнуться. Ударом весла капитан подвинул ко мне березу, и нога в отчаянии рухнула на нее.

Береза сразу затонула, и я сделался человеком набекрень. Правая нога уходила в воду, левая подымалась вверх и уплывала вперед с «Одуванчиком».

Схватив себя за колено, я выволок ногу из воды и свалился в лодку. Береза не успела всплыть, как «Одуванчик» шмыгнул вперед, проскочил, и теперь уж никакого пути назад не было. Всплывшая береза покачивалась за кормой.

Я оттолкнулся от нее веслом, направляя лодку вперед.

— Запахло чарусенышем,— сказал капитан.

В воздухе и вправду почувствовался резкий, едкий запах. Утопленная береза потревожила дно макарки. Со дна всплывали пузыри болотного газа.

— Это не чарусеныш,— сказал я,— это пузыри со дна. Поехали.

— А по-моему, чарусеныш,— настаивал капитан. Он тормозил лодку. Из-за плеча капитана я старался разглядеть, что там, впереди, но признаков чарусеныша не замечал.

— Надо кинуть щепку,— сказал капитан,— засосет или нет? Дай мне какую-нибудь щепку.

— Откуда я возьму щепку? — раздраженно ответил я.

— Отломи от березы.

Подав лодку назад, я изогнулся, отломил от березы черный сучок, отдал капитану. Капитан бросил его в воду перед собой, и давно прогнивший сучок немедленно затонул.

— Засосал, холера,— сказал капитан.— Видно, здорово проголодался.

Я не стал больше слушать капитана, сильно оттолкнулся веслом от березы. Легко и свободно пересекла лодка подозрительное пространство.

Петляя в болоте, макарка повела нас дальше. Она то расширялась, и тогда приходилось веслаться, то сужалась резко, и мы двигались вперед, цепляясь за травы.

Скоро мы увидели новую преграду, которая перегораживала нам путь. Это была уже не береза, а какой-то еловый крокодил, затопить которого не удалось. Рядом с крокодилом торчали из воды какие-то колья.

— Попробую его поднять,— сказал капитан.— Может, удастся подпереть его колышком.

Балансируя веслом, капитан наступил на высокую болотную кочку, которая сразу закашляла под его сапогом. В болотных сапогах-броднях на кашляющих и хрипящих болотных кочках капитан-фотограф стоял как болотный памятник Великому покорителю бревен. Над головой его носились утиньи стаи.

Приподняв елового крокодила, капитан подпер его колышком, и получилось что-то вроде медвежьей ловушки. Сибирские охотники, которые хотят завалить медведя, подвешивают иногда над тропой бревно. В нужный момент бревно это и падает медведю на голову. Съездившись, проплыли мы через ловушку и сразу увидели новое, совсем уже неприятное бревно. Оно чуть высывалось из воды, и видно было, что та часть, которая оставалась под водой, совершенно непроходима.

— Придется рубить его топором,— сказал капитан.

Он потыкал бревно веслом.

— Его и не сдвинуть,— сказал он, и тут бревно само по себе шевельнулось, лениво высунуло из воды хвост, грянуло хвостом по поверхности и уплыло, возмущив воду в макарке.

С полминуты сидели мы в лодке, охолодев. Руки не хотели двигаться, а голова соображать. Но даже и при всем желании голова моя сообразить ничего, пожалуй, не могла.

— Кошмар! — сообразила наконец голова капитана.— Слушай, а бывают на свете пресноводные киты?

Я промолчал. Голова капитана работала великолепно, и я не хотел ей мешать.

— А может, Папашка? — продолжала работать чудесная голова.— Как думаешь, он уплыл или под воду спрятался?

Я невольно огляделся — нельзя ли в случае чего выбраться на берег? Но берега не было — крутые и круглые болотные кочки, трясина и вода меж кочками. Надеяться мы могли только на «Одуванчик», на его выносливость и быстроту. Открытая протока была перед нами, и я стал быстро грести, уходя поскорей от опасного места. Черт знает, в кого ткнул веслом

капитан — в ожившее ли бревно, в древнейшую ли огромную щуку или впрямь разбудил Папашку?

Не останавливаясь, плыли мы вперед. Макарка то сужалась, то расширялась. Иногда вдруг всплывали мы в болотистое блюдо, утыканное кочками, и плавали меж кочек, отыскивая продолжение макарки.

Капитан то и дело вскрикивал:

— Пахнет чарусенышем! Право руля!

В некоторых местах завалена была макарка гнилыми травами и сучьями, и мы подолгу разбирали завал, веслами расчищали дорогу. Иной раз, чтоб протиснуть лодку вперед, капитан с дьявольским скрежетом ломал и выдира л болотные кочки.

Вдруг внезапно, совсем неожиданно макарка кончилась. Перед нами была трава, только трава — таволга, вех, молодой — и никакой макарки.

— Вот и все, — сказал капитан, — конец плаванию.

Он встал, пошевелил веслом траву перед носом лодки.

— Ни черта не видно, — сказал он, — никакой макарки. Дебри болотных трав.

Глава X

ПАПАШКА С БАГРОВОГО ОЗЕРА

— Поддай-ка лодку чуть правей, — сказал капитан.

Я подал правей.

— Теперь поддай левей.

Я подал левей.

Капитан встал ногами на сиденье и стал шарить веслом в траве.

— Дебри, — бормотал он, — дебри.

Толстенные, куда выше капитанского роста стебли вырастали из густой торфяной воды. Белые зонты и желтые цветочки перепутывались с какими-то зелеными пузырями, полными, казалось, сока и яда.

— Ничего не поделаешь, — сказал капитан, — надо продираться.

— Куда продираться?

— Туда, — и капитан махнул веслом в неопределенную сторону.

— Как продираться? И почему — туда?

— Я чувствую — Багровое озеро там.

— Макарка течет прямо — значит, и озеро прямо по носу.

— А по-моему, она сворачивает в эту сторону. Чувствую.

— Ну знаешь. Я твоему чувству пока не доверяю. Надо вернуться к Коровьему мосту. Вскипятим чайку и подумаем, что делать дальше.

— Ничего не выйдет,— сказал капитан и внимательно уставился мне в глаза.— Назад пути нет.

— Ерунда,— сказал я.— Бревно снова приподыдем, а другое затопим.

— Дело не в бревне. Дело в том, что я не из тех людей, которые возвращаются. Понял?

— Из каких же ты, интересно, людей?

— Из тех, других. Которые только вперед идут.

Капитан смотрел на меня пристально и целеустремленно. На лице его было написано, что он из тех, кто вперед идет, а я из тех, кто возвращается.

— Ладно, ладно,— сказал я.— Я тоже не из тех, кто возвращается. Выдирай траву.

Ударом весла капитан вогнал нос лодки в заросли и принялся немедленно выдирать траву. Лохматые и мокрые корни рогоза, чудовищные, похожие на золотых гусениц корни аира выволакивал капитан из трясины и разбрасывал в стороны. Постепенно втащили мы лодку в неизвестное пространство, и дебри болотных трав сомкнулись за нами.

— Вперед! — крикнул капитан.— Назад хода нет!

Капитан выдрал огромный зонтичный куст, стряхнул на меня синих стрекоз и золотых жучков — и перед нами вдруг открылась свободная вода.

Небольшое, совсем круглое, лежало Багровое озеро среди болотных трав.

Зыбкие берега охватили его, стянули петлей. Далеко, очень далеко отсюда начинался настоящий берег, лесной, земляной.

— Не видно признаков багровости,— прошептал для чего-то капитан.

Вода в Багровом озере была черна, так черна, что почти не отражала неба. Только ближе к середине двигались на поверхности небесные облака, а по краям у берегов окружала озеро кайма траурной воды.

— Вот оно — озеро,— сказал капитан.— Сейчас будем рыбу ловить.

Воткнув весла в илистое дно, мы привязали к ним «Одуванчик».

Плюнув на червя, капитан забросил удочку.

— Здешняя рыба, наверно, и в глаза червяка не видала,— сказал он,— надо ее как-то приманить.

Он высыпал в воду горсть геркулеса.

— Мелочь любит геркулес,— пояснил он,— вначале придет мелочь, а за нею — крупная рыба. Хотя здешняя мелочь и геркулеса-то в глаза не видала.

Неожиданно появилось солнце. Пробившись сквозь облака, оно осветило озеро, и тут я понял, как бездонно оно. Лучи совсем не проникали в темные воды. Озеро отталкивало их, не открывало солнцу своей глубины.

Стало как-то не по себе. Показалось, что в озере нет жизни — оно мертво, и кто знает, как глубоко в землю уходит его дно.

Капитан сидел не шевелясь и даже перестал сыпать в воду геркулес. Этот геркулес, наши удочки и червяки, которыми мы собрались приманивать жителей Багрового озера, как-то глупо, мелко выглядели пред спокойным и даже грозным его молчанием.

В тишине слышался плещущий шелест.

Я оглянулся и увидел, как из воды высунулся черно-зеленый конический бутон. Из бутона, как из приоткрытого рта, показался ослепительный язычок.

Бутон открывался на глазах, превращаясь в кувшинку-лилию с яркой солнечной сердцевинкой. И тут же по всему озеру распластались кувшинки. Они таились под водой, ожидая солнца.

Поплавок мой чуть шевельнулся.

Я взволновался, и капитан тревожно покосил глазом.

Кто-то «понюхал червячка». Но кто это? Какая рыба может жить здесь, в Багровом?

Поплавок капитана тоже шевельнулся. «Некто» понюхал и его, чтоб выбрать, какой червячок интересней. Капитан-фотограф немедленно принялся сыпать в воду геркулес.

Но «некто», очевидно, уплыл — поплавки больше не шевелились. А может, стоял неподалеку и глядел снизу задумчиво на нас? К нему подошли и другие жители Багрового озера, и все они окружили «Одуванчик», рассматривали нас, раздумывали, перешептывались. Казалось, я слышу этот шепот, идущий со дна.

Из воды показалась черная гребенка. Доплыла до моего поплавка, толкнула его и плавно опустилась в глубину. Теперь «некто» рассказывал, что такое наши поплавки и можно ли пробовать червя. Я знал, что сейчас они посоветуются и пошлют пробовать самого маленького. Так всегда бывает среди водных жителей — первым пробует маленький.

Он, конечно, сопротивляется, прячется за спины старших, но его подталкивают вперед, и в конце концов — эх, пропади все пропадом! — он разом хватает червя.

Поплавок ушел под воду. Я подсек, и леска натянулась до предела. Медленно-медленно я вел кого-то к лодке, но только не маленького, а мощного и тугого.

Из воды показалась черная гребенка — и я махнул удилищем.

Трепещущее и черное, рот разевающее, с горящими глазами и огненными перьями, вылетело из воды существо. Оно летело в лодку, и я не решился перехватить его в полете.

Ударившись об дно, «некто» запрыгал, забился, заметался.

Он был горбат и крупноглаз, и бока его были черны и чугуны. Двухязыкий хвост горел ярче брусники. Стянутые пленкой колючки росли из горба.

Подскакивая, он хлестал хвостом в спину капитана, тыкался носом в мои резиновые сапоги.

— Неужели Папашка? — взволнованно шептал капитан.

И впрямь какой-то Папашка-Горбач топорщил драконьи колючки, выпучивая золотые глаза с птичьим зрачком.

Капитан задрожал, напрягся и вдруг с каким-то немым воплем выхватил удочку из воды.

И новый Горбач вылетел из озера в воздух и, хлопая колючками, как грач перьями, упал в колени капитана. Капитан закричал, засопел, ухватывая Грача-Горбача, выдирая изо рта его крючок.

— Это Окунь! — шепотом кричал он. — Какой здоровый! Какой жуткий! Какой горбатый!

Капитан бросил мне под ноги Грача-Горбача, и теперь вместе с Горбачом-Папашкой они прыгали передо мной, туго отталкиваясь от бортов лодки, палили на меня свои полуптичьи глаза.

— Так бы десятка два — уха! — шептал капитан с восторгом и тревогой.

Через полчаса мы и вправду надергали десятка два жителей Багрового озера. Все они были крупны и колючи, и все-таки первый Горбач-Папашка был самый большой, самый златоглазый.

— Хватит, — сказал капитан, — пора на сушу, уху варить.

С трудом вытащили мы весла, засосанные озерным дном, и поплыли потихоньку вдоль берега Багрового озера. Настроение у нас вдруг оказалось прекрасным.

По макарке мы плыли напуганные, в озеро вошли пришибленные, а как взошло солнце, нам стало лучше, поймали окуня — еще лучше.

Солнце и окунь — это ведь всегда счастье, и как давно этого не было в моей жизни. Солнце и окунь приблизили к нам Багровое озеро, оно стало вроде бы нашим, своим.

Окуни успокоились на дне лодки, уснули, и только Папашка-Горбач-Златоглаз все глядел на меня, растопыривал плавники.

Я взял его в руки и за спиной капитана опустил потихоньку в воду. Проплыв за нами на боку, он выпрямился, будто встал на ноги, и разом ушел в глубину Багрового озера.

Глава XI

БОРЬБА ГЕРКУЛЕСА С БЕСАМИ

Протянув руку за борт, я опустил ее в воду — в воде рука сделалась красной. Я взялся за скользкий и тугой стебель кувшинки, потянул. Кувшинка нырнула, стала багровой в густой, насыщенной торфом воде.

И все-таки в Москве, когда я задумывал плавание, Багровое озеро казалось мне более багровым. Сколько тайны и мощи в этом слове «Багровый». В нем даже есть кровь.

Теперь, побывав на озере, я назвал бы его попроще — Темно-коричневым.

— Это оно прикидывается темно-коричневым,— заметил капитан,— как бы оно не повернулось к нам своей багровой стороной.

Постепенно забирая влево, мы совершали осторожный круг вдоль берегов. Я все ждал — вот выскочит кто-нибудь из травы, вот плеснет рыбина, подыметца цапля. Но ни плеска, ни взлета птицы, будто жители Багрового притаились и глядели на нас из густой травы, со дна торфяного.

— Бесов что-то не видно,— сказал капитан,— спят, что ли? Наверно, днем они спят, только ночью вылезают на промысел.

— Какой же промысел?

— Заблудших ловить.

Скоро мы замкнули круг, приблизились к месту, где ловили окуней.

— Здесь и макарка,— сказал капитан.

— Чуть дальше,— поправил я.

Мы всматривались в траву, раздвигая ее веслом, но не видели входа в макарку — таволга, вех, гориголова.

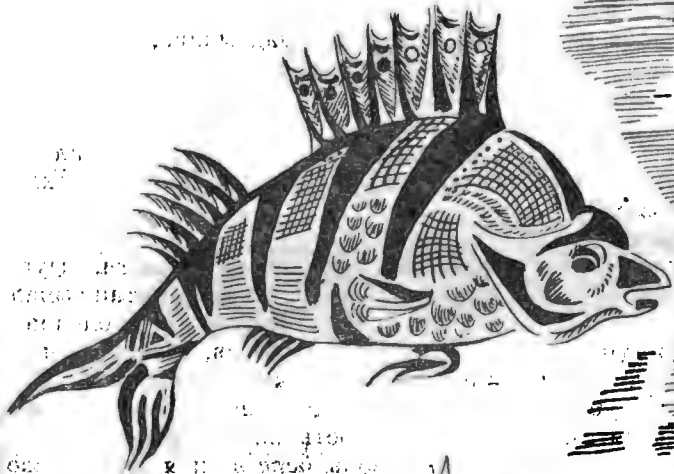
— Вот дураки,— сказал капитан,— не поставили вешку.

— Вешка — дело капитанское,— сказал я,— капитан отвечает за корабль и судьбу экипажа.

Фотограф промолчал и стал энергично шарить веслом в траве. Стрекозы и мотыльки сыпались в воду.

— Похоже, что это шуточки бесов,— сказал капитан. Он поднялся на ноги и теперь не просто шарил, а рубил лопастью весла траву, ломал хрупкие стебли. Скоро он искорежил-измял весь берег, входа в макарку, однако, не обнаружив.

Багровое озеро сомкнуло берега. Бесы легко пропустили нас в свои владения, но выпускать обратно явно не собирались. Сколько угодно мы могли плавать по плоскому водяному блину среди вязких болот. Плавать до ночи, а уж ночью...



Легкое отчаяние коснулось моего сердца. Да что же это такое? Неужто и вправду мы не найдем выхода?

Солнце вдруг потускнело и спряталось, и я окончательно понял, что Багровое озеро заманило нас и теперь уж не выпустит добычу из своих зыбких когтей.

— Озеро похоже по форме на букву «о», — неожиданно и неуместно заметил капитан.

— Скажи что-нибудь более капитанское...

Капитан напрягся. Он вглядывался в берега и воды.

— Следов на воде не остается, — задумчиво, но малокапитански сказал он. — И все-таки нам надо найти место, где мы ловили. Макарка там, рядом.

— Как его найдешь?

— Тут вся надежда только на геркулес, — сказал капитан. — Там, где мы ловили, я сыпал геркулес. Может, остался на воде его след?

— Тьфу!

Геркулес — этот идиотский плод современности, изуродованный овес — всегда раздражал меня. Когда капитан сыпал его в озеро, мне казалось это глупостью. Геркулес оскорблял потайное, недоступное озеро и, конечно, бесов. Каково им было сидеть на дне, обсыпанным капитанским геркулесом? Оскорбленные и униженные, вот теперь они и придумали эту штуку — спрятать макарку, запереть нас на озере.

Взад-вперед плавали мы вдоль берега, и я волей-неволей шарил глазами по поверхности озера в поисках геркулеса. Но какие могли быть следы? Все геркулесины давно затонули, разбухли, ушли на дно.

Так плавали мы, полагаясь на геркулес, вступивший в борьбу с бесами. Все это напоминало борьбу борьбы с борьбой.

И я вспомнил Клару Курбе, скульптурную группу «Люди в шляпах», которые так далеко уплыли теперь от нас. Похожее по форме на букву «о», Багровое озеро все больше превращалось в нуль, внутри которого мы крутились. А что может быть там, внутри нуля? Какой нормальный человек согласится быть заключенным в нуль, окаймленный болотом, с бесами, пожирающими на дне геркулес?

Стоило ли строить лодку, самую легкую в мире, чтобы приплыть к нулю?

Тупо и безнадежно глядел я в глубину нуля — и хоть бы Папашка-Горбач блеснул со дна золотым глазом.

И вдруг в нулевой воде мелькнула багровая точка, светящаяся, как окуневый глаз. Это и была геркулесина, застрявшая на подводном листике кувшинки.

Глава XII

ОТСУТСТВИЕ МОЛОЧАЯ

Танцуя от найденной геркулесины, мы быстро разыскали макарку и плыли теперь по ней. Капитан веселился как мог. Он даже напевал себе под нос, и постепенно под носом его складывался гимн, восхваляющий геркулес.

— Хвала тебе, о победивший бесов! — бормотал капитан. — Над ними ты имел немало перевесов...

Подпевать капитану я не стал, но чувствовал благодарность. Мне бы никогда не пришло в голову искать на воде следы геркулеса. Впрочем, я сомневался, что бесы так просто отпустят нас. Оскорбленные геркулесом и хвастовством капитана, они еще придумают какую-нибудь штуку.

Обратный путь между тем вдруг показался короче. Быстро доплыли мы до бухты «Ожившего бревна», которое на этот раз никак не обнаружилось, миновали «Медвежью ловушку». Бесы пока ничего не придумывали. Они, видно, сидели на дне и соображали. И я даже подумал, что бесы туго соображают, как вдруг капитан прервал свою подносную песнь, неловко охнул, затормозил лодку.

«Одуванчик» медленно вплыл в болотное блюдо, затянутое ряской. За спиной капитана я не видел, что там такое, впереди.

— Три макарки, — сказал капитан.

Я не понял капитана. Мне показалось даже, что это шуточка в его духе. Но это была шуточка в духе бесов.

Перед нами действительно было три макарки. Одна шла по центру, узкая и заросшая, справа и слева две другие, попросторнее. Из какой-то мы выплыли рано утром, а тех, других, сбоку не заметили. Теперь же они видны были ясно — три коридорчика в высокой траве.

Такой каверзной глупости мы никак не могли ожидать. В утреннем сумраке, напуганные бревнами, мы быстро пролетели это место. Опасаясь чарусенышей, вглядывались в воду и не слишком изучали берега — вот и проморгали две макарки.

— Пожалуй, наша центральная, — сказал я.

— Слишком заросшая. Мы бы примяли траву. Наша правая.

— Направо пойдешь — богату быть, — вспомнил я.

— Богату? — изумился капитан. — А налево?

— Налево — женату быть. А уж прямо — сам понимаешь чего.

— Чего? — недоверчиво спросил капитан.

— Убиту быть.

— Так что, направо, что ли?

— Пожалуй, прямо. Все богатыри ходили прямо.

— Не тянет,— сказал капитан.— Не тянет эта макарка.

— Ладно, двоих не убьют. А одним пожертвовать можно.

Я подогнал лодку ко входу в центральную макарку, капитан развел веслом траву, и мы вошли в ее воды.

Я сразу понял, что это не наша макарка. Какие-то другие травы составляли ее стены, другой формы, другого цвета. Все вроде бы то же самое — таволга и рогоз, кошачья петрушка, гориголова, и все-таки не то. И вдруг я понял, что не вижу молочая. Утром, когда мы плыли к озеру, я то и дело отмечал кустики молочая и вспоминал, что молочай называют бесовым молоком.

— Не наша это макарка,— сказал я,— молочая нету.

— Уж больно тонкое наблюдение,— заметил капитан.

Но молочая на берегах не было. Казалось, кто-то выдрал все кусты молочая, выпил молочаево молоко.

Я всегда любил это растение — молочай, его скромные нецветочные цветы, собранные в кузовок, крепкие стебли, текущие на переломе молоком, которое лизнуть было нельзя — бесово,— а лизнуть хотелось.

Молочай был братом одуванчика, из стеблей которого тоже брызгало дикое молоко, и это меня поражало — не только растут, не только цветут, а еще и молоко дают.

И какими-то совсем странными их родственниками были млечные грибы — чернухи, скрипухи. Только вылезли из земли, а уж полны молоком — горьким, земным, подлесным. Для кого созрело это молоко, кому его пить?

Я-то разок лизнул дикого молочка, а ничего вроде и не почувствовал.

С полчаса уже плыли мы по макарке, которая постепенно становилась шире. Напившись молочаева молока, бесы равнодушно взирали на наше плаванье, никаких штучек не придумывали — ни бревен оживших, ни чарусенышей.

А может, это они и придумали — больше нячего не придумать? Решили сделать макарку бесконечной, чтоб мы плыли и плыли — до ночи, до осени и не могли вылезти на берег всю жизнь, до самой старости.

Да нет, зачем бесам мучить нас так долго. Они могут разделиться с нами поскорее. Чего тянуть?

— Ну вот и все,— сказал капитан.— Приехали.

Прямо перед нами по всей макарке, как забор, вколочены были в дно толстые черные сваи, переплетенные еловыми ветками. Это был обычный рыбацкий закол, поставленный по всем правилам.

Пришибленные, сидели мы в «Одуванчике», неумолимо понимая, что через эту чертову плотину нам никогда в жизни не перебраться.

Тут мы и услышали голосок:

— На уху-то наловили?

Глава XIII

ТРАВЯНАЯ ГОЛОВА

— На уху-то наловили? — повторился голосок, и из травы высунулась лукоподобная головка с влажными торфяными глазками. Она покачивалась над травой, держалась на ней, как луна порой держится на лесных верхушках. Казалось, она и сплетена из засохших болотных трав.

— Наловили,— ответил я, взял из лодки Горбача-Окуня и показал Голове.

— О! О! О! — с восхищением покачала головой Голова.

— А ты, дедушка, как в болоте-то стоишь? — спросил капитан, смекнувший, что такая голова может быть приделана только к немолодому телу.

— Я-то в валенках,— ответила Голова.— А вы-то как?

— А мы веслаемся,— с некоторой бодростью заявил капитан,— и на уху наловили.

Цокая, как белочка, языком, Травяная Голова любовалась окунем, я же все старался рассмотреть, к чему она приделана. В густой траве я не видел никакого тела и никаких валенок, и даже шеи, на которой полагается держаться любой голове, не наблюдалось.

— Через закол-то нам не перебраться? — спрашивал меж тем капитан.

— Никак не перебраться,— отвечала Голова, по-прежнему не показывая признаков тела.

— А ты бы, дедушка, разобрал закол.

— Как же так? — изумилась Голова, погружаясь испуганно в траву.— Как его разбирать? На уху-то ведь надо ловить?

— Так ведь и нам проплыть надо.

Удрученно мигая глазками, Голова по самую макушку уехала в траву и вдруг, подпрыгнув, крикнула:

— А вы лучше назад плывите!

В этих травяных словах была своя железная логика.

Меня же поражало, что не было видно, к чему приделана Травяная Голова. И вдруг я понял, что она вообще ни к чему не приделана, а просто так, сама по себе болтается в болотах. Тревожный пот прошиб меня, я вперил глаза свои в траву под Головой и на том месте, где полагалось быть телу, видел явные просветы небесной синевы.

— Дедушка,— жалобно сказал капитан.— Мы назад плыть сил не имеем. Нам бы на землю попасть, ушицы наварить.

— Верно говоришь, парень,— покачивалась согласно Голова,— уши надо наварить. А соль-то у вас есть?

— И соль, и лаврушка,— заманивал Голову капитан.— И лук репчатый, и перец-горошек.

Размахивая руками и даже причмокивая, капитан соблазнял Голову ухом, совершенно не замечая, что уха этой Голове ни к селу ни к городу. Во всяком случае, под головою у Головы не имелось живота, куда волей-неволей должна в конце концов поместиться уха.

И все-таки Голова слушала капитана с любопытством и тоже причмокивала, сощуривала нос. Она явно желала ухи.

— Окуней у нас пол-лодки,— размахивал руками капитан.— Заварим крепкую, тройную, с картошечкой.

Голова дрогнула.

— Ладно, парень,— сказала она,— вы лодку к заколу привяжите, а сами вылезайте. Я вас до берега доведу.

— Спасибо, дедушка,— обрадовался капитан,— устали в лодке — сил нет.

Подгребая и загребывая, капитан подогнал лодку к заколу, стал привязывать нос к бревну. Оглядываясь на Голову, я потихоньку дернул его за рукав.

— Ты чего? — отмахнулся капитан.

— Слушай,— шепнул я,— тела-то нету.

— Чего такое?

— Под Головою тела нету.

— Ты что — дурак? — спросил капитан, вглядываясь в мой живот.

— Да под тою Головою, под тою,— указывал я большим пальцем через плечо.

— Под какую?

— Под дедушкиной.

— Ты с ума сошел, нанюхался болотных газов,— прошептал капитан и, оглянувшись на Голову, добавил: — Тело есть, только очень маленькое, в валенках. Складывай окуней в ведро.

Капитан выбрался из лодки на закол, помог вылезти и мне. Во весь рост поднялся я над болотом — и голова моя закружилась. Я увидел просторный зеленый мир вокруг — зеркала озер, поблескивающие там и сям, еловые леса за озерами и снова за лесами озера, какие-то за озерами холмы, дальние деревни на их склонах, и совсем чудесными оказались три корявых сосны неподалеку от нас. Бугром подымался под соснами берег, и по бугру этому ходили коровы.

Увидевши меня и капитана, коровы издалека с берега протянули к нам свои губы и замычали.

Открывшийся простор, сосны и коровы отвлекли меня от Травяной Головы, и мелькнула мысль, что в конце концов наплевать, приделана она к чему-нибудь или нет. В таких-то просторах — в озерах, болотах, лесах — любой голове захочется поболтаться свободно. И я пожалел, что моя бедная голова не

может прокатиться колобком по этому миру. Уж она бы погуляла там и сям, а после как-нибудь приделалась обратно к брентному телу.

— Полтора десятка, — сказала Травяная Голова, подсчитав вынимаемых из лодки окуней. — Будет уха. Ну а теперь по кочкам, по жердочкам за мной.

Слегка подпрыгнув, она переместилась, и мы повлеклись за нею через трясины. Обвешанные рюкзаками, топорами и ведрами, то и дело проваливаясь по пояс в черную воду, мы брели к берегу за Травяной Головой, которая так и не показывала нам своего тела и плыла над болотом, подобно маленькой дневной луне, обращенной к нам затылком.

Глава XIV

СМЕСЬ САМОЛЕТА С ТРАКТОРОМ

Уже неподалеку от берега я увидел, как Травяная Голова выкатилась по травке к соснам, подпрыгнула и вдруг приделалась к телу, которое сидело под сосной.

Небольшое тело в черном старом пиджаке и в валенках с галошами поджидало голову, которая гуляла в болотах.

Как только Голова, увенчав пиджак, устроилась на своем месте, тело зашевелилось, одной рукой зачесало нос, по которому, как видно, соскучилось, а другою замахало нам с капитаном:

— Сюда вылезайте, к сосенкам.

Мы вылезли из трясины, а Голова спокойно сидела на своем месте и наблюдала, как капитан-фотограф выливает из сапога черную воду.

Коровы, стоящие за соснами, разглядевши нас, остолбенели. Тупое и безумное любопытство светилось в их крупных детских глазах. Они даже перестали жевать и наивно хлопали ресницами. Было ясно, что ничего такого, как снимающий сапоги капитан, прежде им видеть не приходилось.

Изумленные коровы слились с Травяною Головой в единое целое, и теперь все это выглядело как самое обычное стадо с пастухом.

Но я-то понимал, что у этого пастуха голова не совсем обычная, и внимательно оглядывал коровьи головы, не любят ли и они побаловаться, полетать над миром, оставив на земле вымя и копыта.

— Сколько у вас в стаде голов? — спросил между тем капитан.

— Семнадцать.

— А бык есть?

— Наш бык — делопроизводитель, — ответила Травяная Голова, — его в район повезли.

Капитан обрадовался, что бык в отъезде, протянул деду руку. Охотно пожимая капитанскую ладонь, Травяная Голова назвалась Аверьяном.

Капитан сразу же стал звать пастуха дедом Аверей, а дед капитана — «парень». Они быстро нашли общий язык и болтали теперь на этом общем языке. Я как-то не мог влезть в их разговор, но предложенную дедом руку почтительно пожал. Рука эта оказалась сухонькой, легкой, и показалось, что пожимаю я пучок сухой травы.

Скоро запылал костер, на сосновых ветках развесили мы мокрые носки, начистили окуней, поставили на огонь ведро.

— Значит, вы прямо из Москвы? — спрашивал дед Аверя.

— Прямо из Москвы, — размахивал ложкой капитан, — вон как здорово. Из Москвы — и прямо сюда.

— Да неужто это так? — изумлялся дед. — Прямо сюда? Из Москвы.

— Из ней! — восклицал капитан. — И прямо сюда!

Так болтали дед и капитан на их общем языке. Язык этот я немного понимал, но проникнуть глубоко в смысл его не мог.

— А вы-то бывали в Москве? — спросил капитан.

Дед Аверя хмыкнул, покачал своей головой.

— Ты на самолете-то летал? — спросил он капитана.

— Летал.

— Ну, на таком-то не летал. Тут у нас в деревне вынужденная посадка была. Самолет вдруг в небе объявился — на лужок и сядь. А я рядом пасу. Тут из кабины летчик выскакивает.

«Ах, — говорит, — дед, бензин кончился».

Ну, я сбегал домой, у племянника-то моего мопед, так в сарае канистра стояла литров на двадцать. Принес бензин семьдесят шестой, а летчик говорит:

«Ты, дед, слетай со мной в Москву, заступишься в случае чего, а то меня могут уволить, потому что везу я бандероль Большому Человеку, опоздание — смерти подобно».

Ну, я залез в кабину, и мы полетели. Ну, парень, это был самолетик! Не простой, а смесь самолета с трактором. Летит, летит, вдруг остановится и, как трактор, по облакам ползает! Ну долетели и только приземлились — Большой Человек бежит. Где бандероль?

Я подаю ему бандероль — мне ее летчик на хранение сдал, а Человек-то этот, Большой, и говорит:

«А ты кто такой?»

Так и так, отвечаю.



«Как? — Человек-то говорит. — Неужто ты и есть самый дед Аверя?»

А как же, отвечаю, я это он и есть.

«Золотой ты мой, — говорит Большой-то этот Человек. — Да ведь я твое письмо знаешь где храню? На сердце».

И тут достает из сердечного кармана письмо, которое я ему прошлый год писал.

«Я, — говорит, — твое письмо каждый день на ночь читаю и плачу».

— Ну и ну! — восхищался капитан, слушая деда. — Во ведь как бывает. Плачут Большие Люди.

Капитан хлопал себя по коленям, а меня по плечам, приглашая изумляться вместе с ним. Но я помалкивал, отвлекался от рассказа, помешивая уху. Дед Аверя заметил это.

— Ты на тракторе катался? — спросил он меня.

— Катался.

— А на самолете?

— Катался.

— А на смеси самолета с трактором катался?

— Нет.

— А я вот катался, — сказал дед Аверя и засмеялся радостно.

— Не понимаю, зачем вам смесь самолета с трактором, — сказал я, — с такой головой, как у вас, в Москву и без смеси слетать недолго.

Дед Аверя обернулся и внимательно посмотрел мне прямо в глаза.

— С такой головой, как у меня, — сказал он, — можно генералом стать. Да я, вишь, пастух — генерал коровий.

— Ничего, — сказал я, — не огорчайтесь. Не у всякого генерала есть такая голова.

— Это верно, — сказал дед Аверя, улыбаясь.

— У генералов голова крепко к телу прикручена, — продолжал я, — не оторвешь, а у вас сама летает, где хочет.

— Голова у меня легкая, — смеялся дед Аверя. — Сижу, бывало, под сосной, а голова то в Москве, то в Харькове.

— Телу-то без головы небось скучно.

— Как то есть? — не понял дед. — Чего ему сделается, телу?

— Ну как же, — сказал я, — голова летает, а тело сидит.

— Да ведь и голова сидит, — сказал дед, наивно мигая болотными глазками. — Голова в мечтаниях летает, а на теле-то сидит пока крепко.

И он хихикнул, покачал обеими руками голову, подергал и за волосы.

— Не открутишь, — сказал он.

— Ладно тебе, отец, — не выдержал я. — Я сам видел, как тело ваше сидело под сосной, а голова над болотом болталась.

Глава XV

КАПИТАНСКАЯ УХА

— Ты что городишь? — сказал капитан. — Какая голова над болотом?

— Евонная, — ответил я, указавши на деда, и передернулся, потому что никогда в жизни не произносил этого дикого слова — «евонная».

— Евонная? — переспросил капитан и тоже передернулся, но только не от слова, а от его смысла.

Капитан поднял в воздух руку и постучал своим пальцем мне по лбу.

— Ты что, шутишь?

— Ты лучше деду постучи, — сказал я, отмахиваясь. — Глядишь, головка и слетит с места, как жаворонок.

— Да ты что, парень, — сказал дед обиженно. — Что ты на меня нападаешь? Чего я тебе сделал?

Дед явно прикидывался дурачком, делал вид, что не понимает, как это голова может жить без тела.

— Ладно, — сказал я, — плевать я хотел на вашу летающую голову. Летает она и пускай летает.

— Что такое-то с тобой? — сказал капитан, пораженный моим внезапным сумасшествием. — Дедушка! Не слушайте его, он нанюхался болотных газов.

Высказавши эту неожиданную белиберду, капитан замолк. К слову «евонная» он умудрился пристегнуть «не слушайте» и совершенно надорвал общий язык, который до этого находил с дедом.

Капитан-фотограф и дед Аверя сидели друг напротив друга возле костра и глядели в воздух, в котором и висел надорванный их язык. Ясно было, что говорить на нем они уже не могут. Дед Аверя даже высунул свой язык, чтоб сказать что-то, капитан высунул из солидарности свой. Пару секунд болтали они в воздухе языками, но не могли поймать ни слова.

— Слушайте, слушайте, — сердито сказал я, — евонная не летает, а ваша где хочешь болтается. К тому же она из травы сплетена. Но меня все это не интересует. Меня интересует только одно — уха. Как там, не готова ли? Жалко, что у нас одни окуни. Эх, сейчас бы лещовую головку! Ставлю лещовую голову против летающей!

— Вот это ты, парень, верно сказал, — с некоторым облегчением вздохнул дед, — лещовая головка сладкая.

— У леща в голове как у купца в сундуке, — вставил и капитан, которому пора было вернуться к разговорной жизни.

Капитан немного успокоился, достал из рюкзака насквозь прокопченную варежку и снял с костра ведро ухи.

Из прибрежных кустов налетел комар, закружился в пару над ведром. Пар, пропитанный каплями окуня, вкусный пар, густой, как кучевые облака, обволок наши лбы, затуманил глаза, прочистил мысли. Я не знаю, о чем думал летающий лоб деда Авери, но чистый лоб капитана в пару разгладился и думал о лавровом листе.

«В жизни все сложно,— размышлял я,— все непонятно. Но пора же отведать ухи!»

Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей дымящейся ухой. Мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху. Мы знаем, что она должна чуть поостыть. Мы внимаем ее аромату.

Невозможно сказать — «мы нюхаем уху». Мы — дышим уху.

Ложки у всех в руках, миски стоят на земле. Пора, кажется, начинать?

Я переглядываюсь с капитаном. Он делает бровями некоторый знак, который можно прочесть так: «Вечно ты торопишься. Дай ей поостыть».

Летающая Голова — дед Аверя не вмешивается. Как человек, приглашенный к ухе в гости, он терпеливо ждет и глядит на дальние озера.

Я поднимаю ложку. Некоторое время я играю ею в воздухе, заслоняю солнечный луч, поглаживаю край миски, протираю черенок ольховым листом. Я делаю вид, что это не ложка, а, может быть, бабочка, порхающая над ухой, как над ромашкой.

Мне не хочется сразу огорчать уху, ведь она еще спит, еще не знает, что скоро будет съедена без остатка.

Я ввожу ложку в нежный организм ухи с тысячью предосторожностей.

— Посхали,— говорит уховар-фотограф и теперь тревожно заглядывает мне в глаза, спрашивая «ну как?».

Никак нельзя торопиться, пробуя уху. Хорошую уху нужно есть так, как писали стихи древние эллины. Хорошую уху нужно есть гекзаметром.

Отведав ухи, стоит задуматься, отложить ложку в сторону, отчего нервно вздрагивает душа уховара, и только потом степенно заметить:

— Ничего, неплохо. И соли в меру.

— Подходяще,— вздыхает Летающая Голова.

Уховар сияет, наливает всем добавки. И добавка сближает нас, а уж после третьей добавки мы все становимся родные братья, потому что никто и никогда на земле не ел этой ухи вместе с нами.

И я пожалел, что нет сейчас Орлова и Клары, Петюшки и милиционера-художника, и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. Конечно, с ними можно отведать и другой

уши, но ведь никогда не знаешь, получится ли она в жизни.

— А вы на Иллистом-то озере бывали? — спросил дед Аверя.

— Не бывали.

— Вот где рыбы-то. И лещ, и карась, и окунь. Там ведь и Папашка живет.

Разморенный ухом дед Аверя прилег на травке, скинул с ног валенки, в которых оказался босиком.

— Папашка? — поперхнувшись, переспросил капитан.

— Папашка, ага, — подтвердил дед Аверя. — У него две головы и тело на подводных крыльях.

— Две? — переспросил капитан. — А мы слышали — три.

— Откуда ж три? Две. Одна — щучья, другая — медвежья. Я его недавно видел, когда клюкву брал. Да недалеко отсюда-то — от деревни Коровихи три километра.

— Неужели вы видели Папашку? — взволновался капитан.

— Да что ты удивляешься, — сказал я. — С такой головкой, как у нашего деда, не только Папашку — самого черта повидать можно.

Дед Аверя засмеялся, толкнул меня пальцем в бок.

— Нравишься ты мне, парень, — сказал он, — ей-богу, нравишься.

— Да и ты мне нравишься, — улыбнулся я, — особенно головка твоя.

— О-хо-хо! — смеялся дед. — Ну чего ты к голове моей привязался?

— А чего она летает?

— Да кто тебе сказал?

— Я сам видел. А тебе, дед, стыдно врать. Если летает, так и скажи: летает, мол.

— О-хо-хо! — смеялся дед. — Ладно уж, тебе скажу. Уха мне ваша понравилась. Но чтоб никому ни слова.

Дед Аверя наклонился ко мне поближе и сказал:

— Голова-то моя, конечно, летает. Но не шибко далеко — километров на пятнадцать.

Глава XVI

ДАВАЙ-ДАВАЙ, МАТУШКА!

Бедняга мой друг-капитан-фотограф все-таки надорвался.

— Ты что говоришь, дед? — сказал капитан, обиженно протирая глаза. — Как так — летает?

— По воздуху, парень, — пояснил дед. — Но не больно высоко, сила земного притяжения мешает. А вдаль, пожалуйста, но тоже недалеко, тело назад тянет.

— Эх, дед-дед,— сказал укоризненно капитан,— старый человек, а чего мелешь?

— Чего мне зря молоть? — усмехнулся дед.— Вот и друг твой видал.

Капитан усмехнулся в ответ.

— Если не врешь,— сказал он,— тогда покажи.

— Чего? — не понял дед.

— Покажи, как она летает.

— Пожалуйста,— ответил дед,— хорошим людям могу и показать.

Дед поднял с земли валенки, которые скинул прежде, сунул в них ноги.

— А то без головы замерзнуть могут,— сказал он,— когда она улетит. Ну теперь, ребята, держись! Сейчас пойдем на взлет.

Он вдруг раскинул, как птица, руки, прищурил глазки, а потом вытаращил их и зарычал как самолет: ддрдрдрдрдр... Головою же он завихлял из стороны в сторону, зверски поглядывая то на меня, то на капитана.

Мы невольно отодвинулись от деда, не зная, чего можно ожидать при взлете человеческой головы. Голова, впрочем, пока не взлетела, а только лишь рычала, вертась.

— Ддрдрдр... стоп,— сказал дед и опустил руки,— чего-то не летит, застряла.

Тут он вдруг хлопнул себя по затылку и закричал, как на лошадь:

— Но-о-о-о... давай-давай! Трогай потихоньку, матушка!

Голова никак не реагировала и крепко сидела на плечах.

Стараясь расшевелить свою голову, дед подтягивал ее за уши кверху и даже, схватившись одной рукою за нос, другой пинал себя в затылок, чтоб оторвать голову от тела. Голова упиралась.

— Вот старый пеня! — хлопнул вдруг дед себя по лбу.— Да я же с тормоза не снял!

Он торопливо расстегнул рубашку, выкатил голый живот и, надавивши себя в пупок, сказал:

— Чик! Чик!

— Ддрдрдр...— зарычал он снова и рычал так мощно, что на лбу его выступил пот.

— Вот так всегда с нею мучаюсь,— сказал он наконец.— Стоит как вкопанная. Сейчас сделаем так: я буду мотором работать, а вы кричите: давай-давай! Все вместе-то небось стронем.

И дед зарокотал, раскинув руки, а мы с капитаном — два балбеса под сосной — дружно гаркнули:

— Давай-давай, матушка!

Но голова сидела на месте. Дед уж рычал так и сяк, то и дело чикал себя в пупок, но взлета добиться не удавалось.

— Тьфу! — плюнул капитан. — Так и знал, что все это вранье.

— Напрасно так говоришь, парень, — сказал дед, — обижаешь. Голова старая, поношенная, сразу с места ее не сдвинешь, приходится попотеть.

— Да ты дай ей передохнуть, — сказал я.

— И то верно, — согласился дед, вытирая пот со лба, — пусть передохнет, а то прямо закружилась.

— Вранье, — махнул рукой капитан, — смесь самолета с трактором.

— Ты что ж, не веришь, что ли? — спросил дед.

— Конечно, не верю.

— Мне, Аверьяну? — и дед ударил кулаком себя в грудь. — Мне не веришь? А если взлетит, сапоги даешь?

— Ну уж нет, — неожиданно пожадничал капитан. — Сапоги мне самому нужны.

— А лука даешь три головки?

— Даю.

— Ну смотри, парень, — угрожающе сказал дед и так яростно затряс головой, что она и вправду могла каждую секунду оторваться.

Бешеными порывами, грубо, как мотоцикл, тряслась голова и вдруг обернулась носом в сторону спины.

Дед еще принажал рычать — и медленно закружилась на месте голова. Она вертелась быстрее, быстрее, мелькал только нос и слышался голос:

— Давай-давай, матушка!

И, разинувши рты, мы увидели, как Аверьянова голова отделилась от пиджака и поднялась в воздух над нами.

Приподнявшись метра на два, она перестала кружиться и сказала сверху капитану:

— Гони, парень, луку три головки.

Глава XVII

ГЛЫБА РАЗУМА

Ох и нанюхался же я все-таки болотных газов, нанюхался! Но не знаю, когда именно — здесь ли, в макарке, или когда-нибудь раньше, совсем давно. Только нанюханный может увидеть такую несуразную картинку вроде отрыва головы от пиджака с карманами.

А самая легкая лодка? Она-то откуда взялась? Кому она нужна, кроме нанюханного? Только нанюханный может построить такую лодку и плавать на ней, чтоб нанюхиваться и дальше.

И я всегда знал, всегда предчувствовал, что самая легкая лодка в мире заведет меня неведомо куда. Но только думал, что это будет когда-нибудь потом, немного позже.

И вот прямо перед нами висела в воздухе Аверьянова голова. Она чуть шмыгала носом. Она висела легко и просто, и даже коровы не обратили на взлет ее никакого внимания.

Рядом с безголовым туловом сидели под сосной мы с капитаном.

Зачарованно смотрел капитан на дивное творение природы, висящее в воздухе. Страх и счастье, восторг и полоумие играли в его глазах. Как ребенок, он дергал меня за рукав, тыкал пальцем в воздух.

Я хоть и нанюхался болотных газов, а сидел на месте спокойно. Не дергался, не кричал. В этой чудовищной сцене, когда одна голова болтается в воздухе, а другая сходит с ума, мне была отведена одна роль — роль Глыбы Разума. Неторопливо превращался я в эту глыбу. Каменели лоб и затылок.

— Ты видишь? — толкал меня капитан. — Видишь или нет?

— Вижу, — тяжело, как жернов, провернулась в ответ Глыба Разума.

— Вот ерундовина-то, а?

— Точнее не скажешь, — туго сработала Глыба.

Обнюхивая веточки, Летающая Голова поднялась выше, добралась до сосновой макушки.

— Далеко-то как видать, — мечтательно сказала она, — все леса видны, все озера. Вот так, бывало, люблюсь, люблюсь, насмотреться не могу... Постой, кто это там на озере? Ну точно, Леа Хоботов. Не мою ли сетку проверяет?

— Вот так дед! — вскрикивал капитан. — У него голова как одуванчик, самая легкая в мире. У нас — лодка, у него — голова.

— А ты еще сапоги жалел, — хихикал сверху дед Аверя.

— Бери! — кричал вверх капитан. — Бери сапоги вместе с луком. Хочешь, дадим тебе лаврового листа?

— А чесноку у вас нету? — спрашивала Голова, опускаясь пониже. — Мне бы чесночку пару зубчиков, но главное — сапоги. Потому как валенки текут.

— Бери! — орал капитан. — Спускайся и бери.

— Ну спасибо, парень, — сказала Голова. — Спасибо, удружил.

И тут тело, которое сидело до этого спокойно, вдруг протянуло капитану руку.

— Что такое? — не понял капитан.

— Спасибо,— повторила Голова, а тело все протягивало руку, как видно, для рукопожатия.

Оглянувшись на меня, капитан робко пожал телу руку. Тулово, однако, на этом не успокоилось. Ткнув меня в бок, оно и мне сунуло руку, а Голова сверху крикнула:

— Спасибо и тебе.

Безголовое рукопожатие немного расшевелило Глыбу Разума, прочистило что-то в каменном мозгу.

— Сапоги не отдам! — крикнула Глыба гранитным голосом. — Луку бери три головки — и точка. Неизвестно, сколько вас тут с летающими черепами, сапогов не напа-сешься.

— Да нету больше ни у кого! У Лехи Хоботова рука летает, да и то рядышком, возле деревни.

— Не знаю, не знаю, но сапоги нам самим нужны.

Голова обиженно чихнула, повернулась к нам затылком, а тело вдруг зашевелилось. Оно сунуло руку в капитанский рюкзак, нашарило там пакет с луком и, отобравши три луковицы покрупнее, сунуло их в карман пиджака. После этого оно подняло руку к небу и пальцем поманило Голову к себе.

— Ну чего тебе надо? — сказала Голова. — Сиди спокойно.

Но тело изо всех сил махало правой рукой, а левую прижимало к сердцу, умоляя Голову скорей вернуться назад.

— Вот так всегда,— огорченно вздохнула Голова. — Только разойдусь — оно к себе тянет. Ну чего тебе надо, глупое? Дай погулять-то!

Тело разволновалось. Вскочив на ноги, оно подпрыгнуло, чуть не ухватив Голову руками.

Голова увернулась, прикрикнув:

— Цыц! На место!

Тело прыгнуло еще раз, но снова промахнулось.

— Сидеть! — крикнула Голова, отлетая в сторону, а тулово, вздев руки к облакам, побежало за ней.

— Осторожнее! — кричала Голова. — Ногу сломишь! Поймай!

Тело не унималось. Спотыкаясь и падая, оно бежало вслед за Летающей Головой.

Голова в конце концов даже развеселилась.

— Не догонишь! — кричала она. — Не поймаешь!

Чуть не плача, тело сделало рывок, каким-то отчаянным козлом подскочило в воздух, схватило Голову за уши и крепко нахлобучило на законное место.

Глава XVIII

ГОРЕМЫКИ

Ох, туман, туман. Да что же это за туман в моей-то бедной голове? Какой уж тут гранит, какая Глыба Разума — мутный, молусонный и беспросветный туман. И в тумане этом не моя ли нанюханная оторвалась от земли голова? Прав капитан, прав, нанюхались мы болотных газов, дурманивших болотных трав. Но если я и нанюхался их, то не здесь, не в макарке, а очень-очень давно, в сороковых годах XX века.

Превратившись снова в единое целое, дед Аверя вернулся к костру. Он налил из ведра в миску остатки ухи и залпом выпил.

— Ну ладно,— сказал он, отдуваясь.— Луку хоть заработал на уху

Дед немного побледнел, видно, устал. Он сел, прислонившись спиной к сосне, прикрыл глаза.

Капитан-фотограф порывлся в рюкзак, достал пару головок чеснока, добавил к ним несколько перьев лаврового листа. Завернув все это в тряпочку, протянул деду.

— А за сапоги прости,— сказал капитан.— У меня-то голова пока не летает. Куда я в болоте без сапог?

Дед молчал, прикрывши глаза.

— Да что, обиделся, что ли? — спросил я.— Из-за сапог?

— Не в сапогах дело,— махнул рукою дед.— Так чего-то жалко стало. Летает, летает, а толку...

— Так ведь и мы,— сказал я, обняв деда за плечи.— Плы-
вем, плывем, а что толку?

— Да,— вздохнул дед,— горемыки мы.

И капитан-фотограф шумно вздохнул, неожиданно почувствовав себя горемыкой. Так мы сидели и вздыхали некоторое время, и особо тяжкие вздохи выпускал, как ни странно, капитан. В конце концов это стало меня раздражать.

— Ты-то отчего горемыка? — спросил я.

— Сам не знаю,— ответил капитан.— Тяжело как-то...

— Вот и я не знаю,— сказал дед.— И голова у меня вроде бы летает, а на душе как-то тяжело.

— А чего твоя голова делает, когда летает? — спросил я.— Чего она делает в воздухе?

Дед хмыкнул:

— Какие же там дела-то могут быть? Никаких делов.

— Значит, только природой любуется?

Дед хихикнул, потупил глаза.

— За воробьями гоняется иногда,— смущенно улыбаясь, признался он.

Тут и капитан хихикнул, сообразив, что не такие уж мы горемыки, если наши шалые головы гоняются еще за воробьями.

— Пора в путь,— строго сказал я.— Дальше, на Илистое озеро. Как, дед, доплывем мы по макарке?

— По макарке не доплыть. Я ее всю заколами перегородил. Плыть надо по Кондратке. А Кондратка вон там, за полем. Лодку недолго перетащить.

Хлюпая по болоту, мы с капитаном добрались до закола, взгромоздили на плечи «Одуванчик», вынесли его к трем соснам. Пока мы собирались, дед Аверя сидел, прислонившись спиной к дереву, и подремывал.

— До свиданья,— сказал я деду.— Спасибо тебе.

— Не за что,— усмехнулся дед.— А вы знаете что? Оставайтесь у меня, а? Пойдем сейчас в деревню, я вас молочком отпою.

— Нам надо дальше плыть.

— Ну, воля ваша,— вздохнул дед.— А как лес проплывете, сразу увидите деревню. Это и есть Коровиха. Там живет мой кум — Кузя. У него и молочком отопьетесь.

— У кума-то Кузи ничего не летает? — осторожно спросил капитан.

— Куда там,— засмеялся дед Аверя.— У него хозяйство. Куры, овцы, корова. Куда ему летать.

Мы надели рюкзаки, подняли на плечи «Одуванчик». Нос лодки лег на плечо капитана, на мое — корма. Неторопливо пошли мы через поле к недалекому лесу. «Одуванчик» раскачивался в такт нашим шагам, скрипели его стрингера и шпангоуты.

— Поклон куму не забудьте! — крикнул вдогонку дед Аверя.

Кондратка и вправду оказалась сразу за полем. Пошире макарки, текла она, прижимаясь боком к старым дремучим елкам. А другой ее берег тонул в луговых цветах. Синие и хрустальные стрекозы летали над Кондраткой.

Мы опустили лодку на воду, и, пока капитан укладывал вещи поудобнее, я оглянулся.

Недолго, кажется, мы шли через поле, а как уже далеко-далеко остались три сосны и маленькая фигурка под ними, взмывающая на прощанье рукой.

Горемыки мы все-таки, горемыки! Горемыки оттого, что расстаемся друг с другом.

— Подожди минуту,— сказал я капитану и побежал через поле обратно.

Дед Аверя стоял под соснами, грустно опустив летающую свою голову. Мы обнялись на прощанье, и я отдал ему пачку хорошего индийского чаю, того, что называется черный, байховый.

Глава XIX

КУМКУЗЯ

И течение в Кондратке оказалось куда быстрее.

По макарке медленно влеклись мы, а тут подхватила лодку резвая волна, полетел «Одуванчик» весело и быстро. Капитан вовсе не брал весла, а я чуть загребал и притормаживал, опасаясь коряг и подводных камней.

Но не было в речке Кондратке коряг, вода здесь была синяя и молодая. В ней вспыхивали ослепительные диски — солнечные блики, голавлиные бока.

И птиц было много, и все больше куликов. Они бежали перед нами по берегам, взмахивали белыми хвостами, взлетали с криком.

— Кулики взлетают! — радостно сообщал капитан и добавить к этому сообщению больше ничего не мог.

Развеселила нас Кондратка-речка, отвлекла от горемычной нашей судьбы.

— Кулики взлетают! Кулики! — вскрикивал капитан. — Это не Голова Летающая, а — кулики!

— Летающая Голова куликам не помеха, — заметил я. — Пускай летают и те, и другие.

— Чепуха это, — сказал капитан. — Пускай кулики летают, а голова человеческая на плечах сидит.

В душе-то своей я был согласен с капитаном. Я всегда восхищался полетом куликов. На первый взгляд, вроде и нет у них особого полета, а только взлет с пробежкой по песочку и крик: куууу-лик! Но есть он, есть полет, который быстро уходит из глаз и еще быстрее из памяти. И с этим бессмертным полетом нечего рядом болтаться человеческой голове.

— И вообще я не верю, что у деда голова летает, — сказал неожиданно капитан.

— Погоди, но мы ведь сами только что видели. Летала, еще и чесночку просила.

— Обман это, — сказал капитан. — Чикнул в пупок — и голова полетела. Чушь! Голова наша и с телом-то вместе летать не может. И это хорошо, даже замечательно.

— Чего ж в этом хорошего?

— Телу человеческому летать не нужно, — твердо сказал капитан. — Самое лучшее в человеке — это голова. А тело — чепуха, подпорка и ящик для питания головы. Взять, к примеру, живот — это ведь ужас! Нет, я вовсе не хочу, чтоб мой живот летал. А вот голова — хорошо бы, да не дал бог.

— А что ты к животу привязался? — сказал я. — Чего он тебе сделал? Пускай и он летает немного.



— Терпеть не могу живот! — раздраженно отвечал капитан. — Тут уж матушка-природа не расстаралась. Все так здорово придумала в человеке, и вдруг — живот!

— Успокойся, — сказал я, — вряд ли есть на свете летающие животы.

Но капитан не мог успокоиться. Он ругал живот на все корки и совершенно захаял это создание матушки-природы.

Природа же матушка легкою волною несла нашу лодку мимо древних елок и сосен, среди березняков и перелесков, как будто намекая капитану, что ею создано и кое-что получше живота.

Лес, что тянулся по левому берегу, кончился. Вместе с Кондраткой вылетел «Одуванчик» в поле, на простор, и мы увидели деревню Коровиху.

На холмах, рассеченных заборами, лежала деревня Коровиха. Низкие серые дома ползли вверх по склонам, а вниз, к речке, скатывались с холмов баньки. Никаких коров видно не было, но в деревне, в линиях холмов было и вправду что-то коровье.

Разыскав по огородам Кузин дом, мы постучались в окно.

Тут же стекла распахнулись, на улицу высунулась женщина с пунцовыми щеками, в белом платке. Как видно, кума.

— Не здесь ли Кузьма живет? — спросил я. — Аверьянов кум? Мы ему от деда Авери поклон принесли.

Недоверчиво осмотрев нас, женщина захлопнула окно и спряталась в доме. Никаких признаков жизни из окна более не являлось.

Подождав пару минут, я снова стукнул в стекло. Пунцовая кума быстро высунулась наружу.

— Дома хозяин-то?

— Дома.

— Так пускай на улицу выйдет.

Кума задумалась и, сомневаясь, покачала головой.

— На улицу он выйти не может.

— Что такое с ним? Не заболел ли?

— Да вроде нет, — ответила кума, призадумавшись.

— Ну пускай в окно выглядывает.

— Ну уж нет, — сказала кума, — этого никак нельзя. Да вы заходите в дом.

Слегка растерянные, мы с капитаном поднялись в сени, скинули сапоги и вошли в избу. Из открытой двери вкусно пахло рыбными пирогами, топленым молоком. В огромной семиоконной комнате стоял вдоль окон стол, у которого и сидела пунцовая кума. Кума Кузи видно не было.

Отчего-то робея, мы с капитаном прошли в носках по чистым половичкам, присели у стола.

— Где же кум-то Аверьянов, Кузя? — спросил я.

— Кузя-то? — переспросила кума. — Здесь Кузя.

— А где он? Что-то его не видеть.

— Да он на печке спрятался,— ответила кума.

Не успели мы с капитаном удивиться, как с печки раздался решительный голос:

— Помалкивай!

Кума прикрыла рот платком, а я обернулся к печке. Лежанка была задернута занавеской, за которой кто-то шевелился.

— Дядя Кузя,— сказал я,— вы там?

— Тута я, на печке,— слышался в ответ кумов голос.

— Спускайтесь сюда,— пригласил я,— мы поклон вам привезли.

— От Авери, что ль?

— От него. Слезайте, познакомимся.

— Зачем же я буду слезать? — сказал кум.— Я ведь спрятался.

Мы с капитаном окончательно оробели.

— Ну мы тогда пойдем,— сказал капитан.

— Куда это? — крикнул с печки кум.— Самовар горячий, садитесь чай пить.

— Как же мы будем чай пить, если хозяин прячется?

— Да пускай прячется! — встряла кума.— Эка невидаль!

— Помалкивай! — немедленно крикнул кум.— Неси молоко! Рыбник ставь! Только и знает языком болтать.

Кума метнулась в сени, притащила горшок молока, вытащила из печки рыбник, который был похож на перевернутый вверх дном коричневый таз.

В пироге что-то тихо и яростно хлопотало.

Из-под ржаной корки, из трещинок в пропеченном тесте струился лучной и рыбный пар. Так и хотелось отодрать корку, глянуть, кто там таится под ней.

— Самовар-баранки! — крикнул кум, и баранки с самоваром явились на стол.

Самовар завывал и гнусавил носом, булькал рыбник, тихо шептала что-то пенка парного молока — все двигалось и жило на столе, даже баранки чуть шевелились, легонько подталкивая друг друга маковыми боками.

Скромно положив руки на колени, недвижно сидели мы, не понимая, можно ли пить чай, если хозяин прячется. Капитан пришел постепенно к выводу, что это невозможно.

— Мы вам, наверное, помешали,— сказал он, вставая.— Зайдем в другой раз.

— Куда это? — крикнул кум с печки.— Пейте чай. Рыбник ешьте.

— Нет, нет, не можем,— мотал головой капитан.— Не можем, когда хозяин прячется.

— Да пускай прячется,— не выдержал я и протянул руку к пирогу.— Попробуем рыбника.

Капитан хлопнул меня по руке и сказал:

— Пошли.

Пришлось встать, но тут же кума ухватила меня за локоть и стала уговаривать.

— Нет, нет,— твердил капитан,— дядя Кузя, очевидно, нас напугался. Мы пойдем.

— Да я не напугался, я так просто спрятался.

— А для чего?!

— Сказать, что ли?! — задумался на печке кум.

— Давай я скажу! — не утерпела кума.

— Помалкивай!

— Ну дай же сказать-то! — крикнула кума. — Очень уж хочется.

С минуту они торговались, кому сказать, наконец кума переборола мужа, наклонилась к самовару и сказала тревожным шепотом:

— Его оса укусила.

Глава XX

ГДЕ КУМКУЗЯ ЧАЙ ПИЛ

Капитан измученно вздохнул и сел на место, пытаясь понять, что, собственно, было сказано.

— Оса? — переспросил он. — Большая оса?

Слово «большая» он раздул так сильно, как будто подозревал осу величиной с теленка.

— Большая, батюшка,— ответила кума, снижая все-таки размер осы до барана.

— И куда ж она его укусила? — осторожно спросил капитан.

— В щеку,— шепнула кума.

— И чего ж он прячется?

— Помалкивай! — грянуло с печки, но кума не могла удержаться и быстро прокричала:

— Всю рожу разворотило, неловко людям показаться, он и спрятался.

Кум грозно елозил на печке и чуть не рычал, возмущенный болтовней супруги.

— Дядя Кузя,— сказал капитан,— что за ерунда? Что мы, укушенных, что ль, не видали? Слезайте с печки.

— Не могу,— ответил Кузя,— стесняюсь.

— Кончайте стесняться, подумаешь — ерунда.

— Никак не могу,— ответил кум,— очень уж сильно стесняюсь.

— Вот он какой у нас человек! — с некоторым восхищением сказала кума. — Другие с такой рожей вылезли бы на улицу людей пугать, а Кузьма Макарыч не может.

— Прекратить болтовню! — рявкнул кум.

— Кузьма Макарыч, — сказал я, — слезайте, пожалуйста. Посидим вместе, чайку попьем.

— Вы пейте, а я тут буду лежать.

— Ну нет, — сказал капитан, — если не слезете, уйдем!

Капитан встал, и снова кума ухватила его за рубаху, а другой рукой придавила меня к столу.

— Уйдем, и все! — вскрикивал, вырываясь, капитан.

— Стойте! — крикнул кум. — Я слезу!

Кума отпустила нас, и капитан, взволнованный победой, плюхнулся за стол.

Кум слезать, однако, не торопился, и волей-неволей завороченно глядели мы, когда же, черт возьми, откроется занавеска.

Наконец дрогнул голубенький ситец, и появилась кумова голова, которая оказалась в зимней солдатской шапке, шнурками завязанной на подбородке. Под шапкою накручена была розовая тряпка, из которой, как булыжник, выпирала вбок укушенная щека. Стараясь не смотреть на щеку, мы пожали куму руку, кума нацедила всем чаю.

Мы обрадовались было, что Кузя с нами, но быстро поняли, что радость преждевременная. Рот кумов был намертво замотан тряпкой, так что чаепитие не могло состояться.

Тут все стали уговаривать кума, чтоб он ослабил узел. После долгих запирательств и мотаний головой Кузя ослабил пути, выпустил из тряпки свежерыжие усы и глотнул чаю. Все облегченно вздохнули.

— Вы рыбник-то любите есть? — спросил кум, поворачиваясь к нам неукущенной щекой.

— Любим, — радостно отозвались мы с капитаном.

— А чай пить?

— Очень любим, — ответил капитан, — Мы из Москвы, а там все чай пить любят

— Я в Москве-то бывал, — похвастался кум. — Чай в Москве пивал.

Я подвинул к себе рыбник и ласково отодрал его верхнюю корку. Пар лучной и рыбный, который прежде чуть пробивался сквозь крышку, теперь хлынул в комнату. Огромный карась с головою и хвостом лежал под коркою абсолютно запеченный.

Отломив от крышки кусок, я ухватился за карасевую голову. Капитан взъерошил бороду и вцепился в караса с другой стороны.

Широко открывши глаза, глядели кум и кума, как мы взламываем рыбу голову, как сыплются на стол обсосанные бронзовые щеки, хрустальные втулочки, винтики, костяные трапеции, из которых построена карасевая голова.

— А вы в Вологде-то пивали чай? — спросил кум.
— А как же! — мычал капитан. — Пивали.
— А в Архангельском?
— Пивали.
— И я тоже! — крикнул кум и весело ударил ладонью об стол. — Значит, мы теперь как родные! А вот я интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?
— Нет, не пивали, — признался капитан.
Кум засмеялся потихоньку.
— А я и в Харькове пивал, — радостно сообщил он. — Да вы не поверите, если скажу, где еще чай пивал.
— Где же?
— В Хабаровске! Вот где! Уж там мало кто чай пивал!
— Это редким человеком надо быть, чтобы в Хабаровске чай пивать, — сказал капитан подхалимским голосом.
— Вот я и есть такой человек! — счастливо засмеялся кум.
— Кузьма Макарыч, — сказал я, — а вы с Папашкой, слушаем, не пивали чай?
— Что ты, батюшка! Какой чай с Папашкой? Что ты говоришь?
Кум, показалось мне, немного напугался. И кума, прикрывши рот кончиком платка, выглянула в окно. Мой неловкий вопрос заглушил беседу, и некоторое время все молча пила чай.
— Извиняюсь, Кузьма Макарыч, — сказал капитан, — а вы знаете про Папашку?
— Что ты, что ты, батюшка. И слушать не хочу. На кой он мне?
— Странно, — сказал капитан, — живете рядом с Илистым озером, а Папашку не знаете. Вы что ж, на озеро не ходите?
— Ходить-то ходим, — стеснительно ответил кум, — да к воде не подходим.

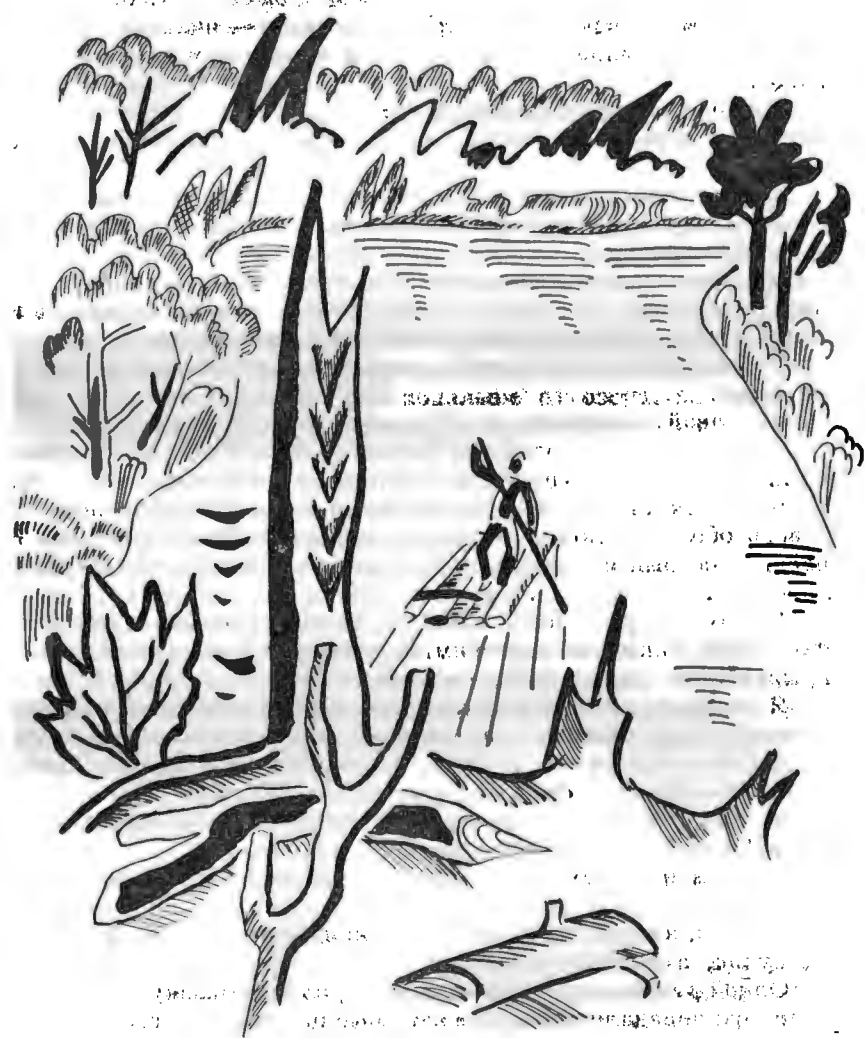
Глава XXI

ИЛИСТОЕ ОЗЕРО

«Одуванчик» наш спокойно и быстро плыл по Кондратке, и снова по берегам взлетали кулики, выдры или ондатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце.

Переночевав у кума на сеновале, с восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах Илистого озера.

А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по-ночному еще



темные воды, и елки остроголовые — все это смешивалось перед нами и вокруг нас и лежало слоями, и не понять, в каком слою был «Одуванчик» — то уходил он с поверхности реки в туманные струи, то плыл прямо по еловым верхушкам.

И долго так плыли мы, и, если бы пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов — никаких примет, кроме елок, тумана да солнца, выходящего к нам то справа, то слева.

Наконец туман немного развеялся, речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова сузилась, и тут открылось Илистое озеро.

Оно лежало среди лесов, и с одного его берега возвышался голый холм, а на другом желтело моховое болото, заросшее мелким сосняком.

Посреди озера подымался из воды маленький, длиною в пять шагов, островок. Он зарос травой, среди которой виднелись и белые цветы. Издали показалось, что это таволга.

— Подплывем к острову? — спросил капитан. — Или туда... на берег

— Давай к острову, — сказал я, — а на берег потом.

Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами, и в тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал «чпок», и сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и черный, острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода.

Будто подброшенный, вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в черную воду.

Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев.

Вцепившись рукой в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным.

— Это сучок! — бормотал он, отплевываясь. — Держи воду, держи! Сейчас я выдерну сучок.

Я и так изо всех сил «держал воду», но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев.

— Там, в рюкзаке, пластырь! — кричал капитан. — Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь.

Одной рукой сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил.

— Пластырь, скорее пластырь, — булькал и хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью.

Пластырь нашелся наконец, но пластины его слиплись между собой, и, пока я отдираю их, вода все прибывала. Отодрав одну

пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке, налепил.

Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепился плохо, но все-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась.

За какие-то две минуты в «Одуванчик» набралось столько воды, что я уже промок по пояс. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться.

— Давай к берегу! — кричал капитан, плавая вокруг лодки.

Пристроившись к корме, он сильно толкнул «Одуванчик» к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок, берег приближался, а воды в лодке не убавлялось, она сочилась сквозь криво наклепленный пластырь. Коряга, на которую мы напоролась, плыла отчего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой, только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле.

Нос лодки ткнулся наконец в прибрежную траву, капитан-фотограф выволокся из воды, и мы сразу подхватили «Одуванчик» на руки, потащили его подальше от озера, на холм.

На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном.

— Где спички? — бормотал капитан, стаскивая с себя мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог.

Спички, конечно, намокли, промокло все, что могло промокнуть, только фотоаппарат, который капитан таскал с собою, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок.

Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костер в конце концов запылал. На веслах, воткнутых в землю, развесили мы мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в пять копеек, и залепить ее было нетрудно.

— Это все Папашкины штучки, — сказал капитан. — Это он подесунил корягу. Не хотел, чтоб мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется.

— Ладно тебе, — сказал я, — помалкивай. Пошли за дровами.

В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль по опушке, и трудно было удержаться — не сорвать гриба.

Вместе с дровами натаскали мы грибов, и капитан затеял сварить грибную похлебку.

Пока сушились вещи, пока варилась похлебка, я взял удочку и спустился вниз, к озеру, к воде.

У подножия холма в заливе я увидел два плота. Они стояли рядышком под черемухой. Один плот был старый и гнилой, а другой — на вид совсем новый, крепкий. Бревна, составляющие

его, скреплены были железными скобами. Ни весла, ни шеста я не нашел. Срубил сухую березку, забрался на плот. Я решил доплыть до островка и половить там.

Березой я попробовал упереться в дно, чтоб оттолкнуть плот, но дна не достал. Тогда взмахнул березой как веслом и, загребая то с одного борта, то с другого, медленно поплыл к острову.

Неожиданно начался ветер. Он дул мне навстречу, и скоро я понял, что стою на месте. Бросил грести, и ветер отогнал меня к берегу.

— Ну и ладно, — сказал капитан. — Там, на острове, Папашка тебя живо схает. Лови с плота.

Я закинул удочку и очень долго глядел на поплавок, который, чуть покачиваясь, стоял в воде. Рыба не брала.

Перебросив удочку, я случайно зацепился крючком за соседний плот. Дергая лесу, я старался отцепить крючок, но ничего не получалось. Примерившись, я прыгнул на середину второго плота.

Ни минуты не раздумывая, плот затонул, и я с головою ушел в воду.

На редкость колючей, холодной и душной показалась мне вода Илистого озера. Прежде чем вынырнуть, я на миг открыл в воде глаза и увидел под светлой поверхностью озера темный провал, ведущий на дно. Из провала подымалось ржавое облако ила, в котором поблескивали зеленые угольки.

— Я уж думал, — все, тебе конец! — взволнованно кричал капитан, подбегая к берегу. — Папашка за ногу сдернул! Бросай рыбалку, пойдем лучше похлебки похлебаем!

Похлебка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягки, как масло.

— Как думаешь, — сказал капитан, — вправду здесь Папашка живет?

— Что ж такого. Есть же в Англии озеро Лох-Несс, в нем, говорят, живет чудовище.

— Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету.

— Кто знает.

— Интересно было б сфотографировать Папашку.

— Действительно, — сказал я. — В чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал? Даже камеру не достал?

— А нечего было.

— Чего нечего?

— Фотографировать.

— Вот так раз. А Багровое озеро? А макарка? А Кумкузя со щекой? А Летающая Голова?

— Летающую Голову можно было бы щелкнуть, да ведь

никто бы не поверил, что кадр подлинный. Сказали бы — монтаж. Потом иди доказывай. А на Багровом снимать было нечего — трава да вода. Не кувшинки же шелкать для девушек.

— А Кумкузя?

— Да кому он нужен со своею щекой? Он бы и сниматься не стал, такой стеснительный.

— Странно у тебя получается, везешь с собою камеру, а даже и не шелкнешь.

— Будет кадр — шелкну. А пока кадра нет, чего зря шелкать?

— Когда же будет этот кадр?

— Не знаю, но когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь.

Капитан меня озадачил. На мой-то взгляд, нас окружали десятки и даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я мог бы нащелкать целую пленку — и лес за озером, и остров, и наш костер, над которым болтались носки на каких-то невероятных корявых палках. И носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и не виданными никем в мире.

— И вообще-то, — сказал капитан, — вообще-то зачем фотографировать? Я хоть и фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир — так и фотографируй его глазами, шелкай ими, хлопай вовсю. Снимай кадр и отпечатывай в душе на всю жизнь.

— Не знаю, — сказал я. — По-моему, это какая-то чушь — фотограф, который не фотографирует. Ну а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра.

— Вот еще, — сказал капитан. — Чего тебя снимать? Неохота.

— Ну а Папашку? Папашку можешь снять для меня?

— Папашку? Ну что ж, может, это и вправду будет тот кадр — один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать Папашку? Ведь не все можно снимать, что снимается. Ну ладно, на этот раз рискну.

Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унес все это.

Я пошел к берегу посмотреть, что он делает.

Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу у самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел и черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки.

— Расчет простой, — пояснил капитан. — Папашка вынырнет и схватит сало. Дернет за леску, и тут аппаратура срабатывает.

— А если Папашка утащит под воду аппарат?

— А топор-то на что?

В землю, неподалеку от камня, капитан врыл топор — острием вверх. Леска лежала на лезвии топора, и при сильном натяжении, по расчетам фотографа, топор должен был ее разрезать.

...Приблизился вечер. Степенно. С того берега, из болот, потянулся холодный туман.

Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнется среди лесов Илистое озеро.

Глава XXII

ПАПАШКИНА НОЧЬ

И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался.

Костер угас, и мы разгребли уголья, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего черного шара, заброшенного с Земли на другую планету.

— А мне кажется, мы у Папашки в брюке, — шептал капитан.

С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах, только очень далеко, у деревни Коровихи, скрипел однообразно дергач.

В жаркой темноте отяжелела голова, я приклонил ее к плечу капитана, и капитан прикорнул, и мирно уснули мы на берегу Илистого озера рядом с многоглавым Папашкой.

Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснилась скульптурная группа «Люди в шляпах», Орлов и граммофон, девушка Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго...

Пробудился я часа через три-четыре.

Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто ручей потек с холма. К бульканью добавились вздохи и шипенье.

— Пар спускает, — шепнула капитан, просыпаясь.

— Чего?

— Папашка пар спускает. Высунул хобот из воды и дышит. Слышишь?

Бульканье затихло, и теперь с озера не доносилось ни звука, и все-таки я слышал что-то, а что — не понимал.

— Он на берег вышел,— шепнул капитан.— Сейчас на холм полезет.

Приподнявшись на локте, я вслушивался, и верно, чудилось — шаркают босые огромные ноги по мокрой траве. И мерещилось — оживает озеро, шевелится, дрожит, а холм поворачивается медленно, круче наклоняется к озеру, чтоб сбросить нас в воду.

— Сюда идет,— тревожно шептал капитан.— Неужели сало не заметил? Сало-то белорусское, с чесноком!

Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него как за последнюю надежду. Все страшно, все зыбко, все непонятно было в окружающей нас ночи, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу.

«Какой черт занес нас сюда? — думал я.— И чего мы хотим? Только глянуть, есть ли и вправду на земле Папашка? Но зачем это дурацкое сало на крючке? Вот схватит сейчас капитана да рвякнет: „Сало, подлец, на крючок насаживаешь! Хочешь поймать на кусок сала?“»

— Зря я с этим салом связался,— вздохнул потихоньку капитан.— Вопьется крючок Папашке в губу — вот заорет-то! Пойдет крушить направо и налево!

— Тише,— шепнул я.

Теперь уж совсем неподалеку слышались шаги. Без гула земли, без топота — скользкие и летящие. По траве ли, по воздуху?

«Ауа,— послышалось,— а-а-у-у-а...»

«Папашка! Это Папашка! — думал я.— Неужто сожрет и сало, и нас с капитаном?»

Когда мы плыли на озеро, я еще не знал, еще не понимал, есть ли и вправду на белом свете Папашка, и только сейчас, ночью, понял, что он — рядом. Что же он сделает сейчас — протянет ли из темноты руку, чтоб схватить нас, или ласково погладит по голове думающего о сале капитана? А может, просто глянет всевидящим оком и уйдет, не сказавши слова?

Черные руки летали в темноте перед моим лицом — искали нас с капитаном.

«Ауа, а-а-у-у-а-а...»

Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонько, как мотылек.

Душная и мрачная Гора надвигалась на нас, вот-вот навалится на грудь и плечи. Я задохнулся, еще бы минута, и, наверно бы, закричал, но Гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал Папашка — то ли прошел мимо нас, то ли пролетел над нами.

— Прошел,— шепнул капитан.— Не заметил.

И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер — ночь сдвинулась в сторону. За дальним берегом, за болотами объявилась в небе серенькая полоса. Она отделила небо от земли, отразилась в озере, и стал виден на воде маленький темный островок.

Близкий рассвет обрадовал нас. С надеждой смотрели мы, как расширяется его полоса, наливается розовым чайным тоном. Только остров на озере был черен и густ, как бархат. Не островом казался он сейчас, а спиною дракона, выставившего гребень из воды.

— Смотри-ка,— сказал капитан и схватил меня за руку.— Смотри на остров... Он шевелится...

— Не болтай...— прошептал я.

— Шевелится, говорю! Плывет по воде!

Я всматривался в черный гребень — нет, не плыл, не шевелился остров, это волны, поднятые ветром, колыхали его, притапливали и подымали.

Сбоку где-то зашелестели камыши... И вдруг раздался плеск, потом гулкий удар по воде — и мигнуло электричество на берегу.

— Вспышка сработала! — крикнул капитан, сорвался с места и побежал к берегу.

Я поспешил за ним.

В предутреннем свете мы увидели, что ни фотоаппарата, ни треноги, ни сала на крючке нигде нету. Только топор, врытый в землю, торчит острием вверх.

Дрожь била капитана.

— Смотри же! — сказал он и указал в озеро омертвевшим пальцем.

Я оглянулся и увидел, что и острова, заросшего болотными травами и таволгой, не видно нигде.

Глава XXIII

ПАПАШКИН СЛЕД

С рассветом снова запылал на холме наш костер.

Мы вскипятили чай и, попивая его, глядели на озеро.

Ни травинки не подымалось из воды в том месте, где вчера еще был остров. Налетела стайка чирков, опустилась на средину.

— Бывают на свете плавающие острова,— заметил я.

— Бывают,— устало согласился капитан.— Но это был не остров, а Папашкин хребет.

— Таволга там росла, — сказал я. — Таволга.

— Какая таволга? Ты еще молочай поищи! Шерсть рыжая, аж зеленая, а на ней — пена. Не пойму только, зачем ему фотоаппарат.

С капитанским аппаратом действительно было все непонятно. Куда он пропал, куда девался?

Мы обшарили весь берег, прибрежную траву и кусты. Не было видно никаких следов — ни зверя, ни человека. Шестом пытались шарить в воде, но дна не достали. Сразу же у берега начиналась адская немыслимая глубина — бездна.

— Папашка это, — сказал капитан. — Засосал камеру вместе с салом, а треногу где-нибудь на глубине выплюнул.

Сверху, с холма, было хорошо видно, как четко отпечатались на седой от росы траве наши с капитаном следы. Они вели от костра к берегу и обратно. Никаких других следов не было. Но в некоторых местах трава была не седой от росы, а зеленой. Здесь она была суха, будто кто-то слизнул росу. Суха, но не примята.

— Это и есть Папашкин след, — сказал капитан. — Он траву не мнет, идет, чуть касаясь.

— Отчего же трава высохла?

— Подошва горячая.

Еще раз внимательно я оглядел зеленые пятна. Они были велики и казались бесформенными. Ни звериного, ни человеческого следа не угадывалось в них. Пятна подымались от озера на холм.

— Как же он не наступил на нас?

— Пожалел, — пожал плечами капитан. — А может, и наступил, да мы не заметили. Я чуть не задохнулся.

— Ты думаешь, у него такая легкая нога?

— Почти воздушная.

Мы замолчали, пытаясь хоть как-то связать воздушную ногу с утонувшим островом. Но это никак не увязывалось, и если утонувший остров был и вправду хребтом Папашки, то откуда у такого чудища воздушная нога?

— В конце концов все можно объяснить, — сказал я. — Сало схватила здоровая щука или выдра, а остров утонул сам по себе.

— А воздушная нога?

— Какая нога? Ты что, видел ее? Хватит с нас Летающей Головы!

— Ты ничего не понимаешь, — сказал капитан, — все дело в том, что мы перешли границу.

— Какую?

— Нормальную границу. Границу нормальной жизни. Я думаю, что это случилось на Багровом озере, а мы и не заметили. Как только у деда Авери оторвалась голова, я сразу понял — мы в ненормальном мире.

— С головой это действительно черт знает что, — сказал я, — но в остальном все в порядке. А остров сам по себе уют, бывает.

— Ну нет, — сказал капитан, — если голова летает, значит, и все остальное — чушь. Мы в ненормальном мире.

— А Кузя как же? Кум Кузя-то здесь живет! Чем Кузя ненормальный?

— Кузя — нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя, живет кое-как, чай пьет, стесняется.

«Прав капитан, прав, — думал я. — Мы в необычной, волшебной стране. Ну и что ж такого? Для этого я и строил „Одуванчик“, чтоб попасть в места необыкновенные».

— Что ж теперь будем делать? — спросил я.

— Дальше плыть. На Илистом озере мы побывали, надо теперь добраться до Покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, которая ведет в Покойное.

Капитан затоптал костер. Спустившись к воде, смело ступил на плот, ополоснул ведро и котелок.

— Нам нечего бояться, — сказал он, — плывем себе, никого не трогаем.

Капитан был, конечно, прав. В конце концов, головы летают, острова тонут, а нам-то надо плыть дальше.

Спокойно, неторопливо собрали мы вещи, уложили рюкзаки, спустили на воду «Одуванчик». Пробоину залепили мы крепко, надежно, течи не было.

Капитан, как всегда, устроился на носу, я — в корме, и вот уже плавно пошел «Одуванчик» через Илистое озеро. Спугнув чирков, проплыли мы и над тем местом, где затонул островок. Напряженно всматривался я в воду, и мне казалось — вот сейчас подымется остров и мы окажемся на мели, на Папашкином хребте. Но никто не подымался со дна, спал, видно, Папашка, сосал капитанское сало.

— Вон и протока, — указал капитан.

Среди моховых низкорослых сосен бежал по болоту узкий ручеек — протока, ведущая к Покойному озеру.

Неторопливо вошел в нее «Одуванчик», несколько взмахов весла, и пропало за спиной Илистое озеро вместе с Папашкой, дремлющим на дне.

— Интересно, — сказал капитан, — как называется эта протока. Там у нас была Кондратка, а это что?

— Акимка, наверное, — сказал я.

— Акимка, — повторил капитан. — Неплохо.

Тихо текла Акимка среди моховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга. Лес то подходил к воде, то отступал подальше. Ни стога на лугу, ни забора, ни срубленного

деревя в лесу — никаких признаков человека не было вокруг — чистый, нетронутый мир.

— Как тихо, — сказал капитан, — как спокойно. Знаешь, что, давай договоримся, если что-нибудь произойдет там, впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь.

— Идет, — сказал я, и мы с капитаном пожали друг другу руки.

Довольные таким уговором, поплыли мы дальше, никак не ожидая, что удивиться нам придется через десяток минут.

Акимка вынесла лодку на широкий солнечный луг, и мы увидели на берегу кусты козьей ивы, за ними — забор и где-то неподалеку за забором — крышу, крытую еловой щепой. Меж кустами козьей ивы бродили козы с козлятами.

Но ни забор, ни крыша, ни козы не удивили и не напугали нас.

На мостках, которые спускались к воде, стоял странный человек и приманивал нас издали пальцем.

— Эй! — покрикивал он. — Давайте сюда! Я уж вас жду, никак не дожусь.

— Только не пугайся, — шепнул капитан, и я не напугался, не выпал из лодки, я стал шарить в рюкзаке в поисках малосольного огурца.

Перед нами на берегу Акимки стоял на мостках художник Орлов.

Глава XXIV

СИЛА МАЛОСОЛЬНЫХ ОГУРЦОВ

Если б не малосольные огурцы, я, наверно, с ума бы сошел.

В кармане рюкзака нащупал я огурец, данный нам кумом Кузей, вытащил его и откусил с хрустом.

— Оставь огурчика! — кричал Орлов, к которому мы неминуемо приближались. Удивительно, как это он издали разглядел, что я ем.

Нос лодки уткнулся в песок, я вылез на берег. Мы обнялись, мешая огурцу.

В жизни я и прежде не раз полагался на малосольные огурцы. В печали и в радости огурец был мне верный товарищ, помогал найти себя, принять решение.

Стоит порой в минуту колебаний откусить огурца — и вдруг просветляется взор. Если есть в голове твоей усталая мысль, если есть на душе тревога и туман, огурец всегда ответит ее, сгладит, оттянет. Малосольный огурец оттягивает.

Полупрозрачный, пахнувший укропом и окрепшим летом, совсем немного соли добавляет он в нашу жизнь, но облегчает душу.

О, лекарственный!

Капитан-фотограф выудил из рюкзака еще пару огурцов, сунул огурчик Орлову, и с минуту мы трое хрумкали, разглядывая друг друга.

Я молчал, ожидая, когда прочистятся мозги, когда начнет действовать целебная сила огурца. Но мозги не прочищались, а вся сила малосолевого снадобья ушла на то, чтоб немного меня успокоить.

Я глядел на Орлова, я глядел на старого друга, узнавая родное московское лицо. Вот — нос, вот — бледный глаз, вот и орел усов расправляет крылья. Боже мой! Московское лицо! Откуда оно взялось?

Нет, никак не могло оно, московское лицо, оказаться здесь, неподалеку от Илистого озера. Оно осталось далеко-далеко, там, в нормальном мире, и никакой огурец не в силах был объяснить его появление.

Между тем огурец капитана оказался мощней моего. Засосав препарат вместе с хвостом, капитан хлопнул Орлова по плечу.

— Орлов, — удивленно сказал он, — ей-богу, это Орлов!

— Конечно, Орлов, — сказал Орлов. — А кто же еще? Конечно, это я — Орлов.

— А откуда ты взялся?

— Из Москвы, откуда же еще... Решил вас догнать.

— Да как же так? — продолжал капитан. — Как же это «нас догнать»? Догнать-то ведь нас невозможно.

— Почему это невозможно? — хмыкнул Орлов. — На автобусе я доехал до Керосинова, ну а уж оттуда до Коровихи пешком...

— Автобус, — повторил капитан и потер лоб, мучительно вспоминая, что означает это слово. — Непонятно, — сказал он, обернувшись ко мне. — Автобус...

Я молчал, цепляясь за огурец. Никакой автобус на свете не мог привезти сюда Орлова, и все-таки Орлов стоял передо мной и говорил:

— Чего ж тут непонятного? В Керосинове все знают, что два каких-то типа по болотам лезят. Я и пошел в Коровиху, а Кузьма Макарыч сказал, что вы поплыли на Илистое. Тогда я и решил вас перехватить, и Кузьма Макарыч привел меня сюда, к шурина своему. Это ведь дом его шурина, Шуры.

И Орлов махнул рукой в сторону крыши за забором.

Все вроде было просто. Орлов сам помогал огурцу, прочищал нам мозги, которые отчего-то отказывались прочищаться.

Капитан достал еще огурец и принялся обдумывать эту простоту. По огурцу капитанскому складывалось, что всего этого быть не могло, слишком уж просто и подозрительно.

Но чего уж такого подозрительного? Вот стоит Орлов, чистый и ясный, старый друг, смотрит на меня с печалью. Он явно не понимает, почему я не прыгаю от радости, не обнимаю его, не хлопаю по плечам.

— Решил нас догнать,— задумчиво сказал капитан.— Ты решил нас догнать. А зачем?

— Что зачем?

— Зачем тебе нас догонять? Сидел бы себе в Москве.

Орлов слегка нахмурился.

— Я догонял не тебя,— сказал он капитану.— А его.

— Догнал ты нас обоих,— сказал капитан, решительно откусив огурца.— Так что объясни — зачем?

— Погодите, ребята,— сказал я,— давайте присядем. Орлов, дорогой мой, как я рад тебя видеть! Ведь ты мне сегодня снился! Как же это ты нас догнал?!

Я обнял Орлова, усадил его на травку, сам присел рядом.

— Ты понимаешь,— объяснил я Орлову.— Мы тут в таких местах побывали, такого понавидались, что немного... устали... не обращай внимания. Ты-то на автобусе, а мы-то — по болотам... Да присядь ты, капитан, посиди, успокойся.

— Пускай объяснит, зачем нас догонял,— жестковато повторил капитан.

— Ты понимаешь,— сказал Орлов и положил руку мне на плечо,— трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя. Вот я и решил догнать. Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе. Вместе строили — вместе надо плыть. Понимаешь?

— Ну конечно,— сказал я,— конечно, понимаю.

— А я не понимаю,— сказал капитан. Он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам.

— Садись,— протянул я ему руку,— чего ты не понимаешь?

— Не понимаю, как он мог нас догонять. Ведь он знает, что в лодку влезает только два человека. А нас уже двое.

— А ведь правда,— вспомнил я,— в лодку влезает только два человека. Как же теперь быть?

— Вдвоем и поплывем,— сказал Орлов и хлопнул меня по плечу.

— А капитана куда девать?

— А он пускай домой едет, автобусы ходят через день. Поплавал, и хватит.

Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова.

— Да ты не обижайся,— сказал ему Орлов,— ты меня просто на время заменил. Мне ведь тоже охота поплавать. А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоем строили. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал капитан,— прекрасно понимаю, что все это Папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь вон что придумал — Орлова нам подсунул, чтоб мы дальше плыть не могли. Но только ни черта из этого не выйдет. С лодки я не слезу.

— Что ты говоришь? — сказал Орлов.— Какой подошвой? Какой Папашка?

— Тот самый Папашка, двухголовый. А тебе, дураку, надо было в Москве думать. А то вдруг явился, покататься на лодочке ему захотелось. На автобусе катайся!

— Что ты кричишь? — сказал Орлов.— Не тебе решать, кому плыть. Ты к лодке никакого отношения не имеешь. Настоящий капитан он,— и Орлов указал на меня пальцем,— ему и решать.

Понурившись, сидел я на траве. Смотреть не хотелось ни на Орлова, ни на капитана.

«И вправду,— думал я,— все это похоже на Папашкины штучки. Надо же, такой сюрприз — Орлов на берегах Акимки!»

— Что ж ты молчишь? — сказал Орлов.— Или не рад, что я появился? А помнишь, как мы лазили в подвал за бамбуком?

— Помню, конечно, помню. И очень рад, что ты появился. Только настоящий капитан у нас — фотограф. Он капитан, а я — матрос. Ему и решать.

— Я уже решил,— твердо сказал капитан,— мы плывем дальше, а Орлов, если хочет, может идти за нами по берегу.

— По этим-то болотам,— сказал я,— разве он пролезет?

— Пролезет,— сказал капитан,— с Папашкиной помощью.

Широко открыв глаза, смотрел на меня Орлов. Обняв колени, сидел он, сгорбленный и жалкий, и в спине его торчал нож, всаженный мною. Он-то мучился, он-то переживал, он-то рвался догнать друга — и догнал, а получилось, что он никому не нужен, в лодку его не берут, и какой-то капитан-фотограф запросто решает судьбу нашей дружбы.

— И вообще ты мне не нравишься,— сказал капитан, подозрительно оглядывая Орлова.— Я тебя как-то не вижу. Странно, что ты тут появился.

— Чего же странного?

— Очень странно,— повторил капитан и остановился, потоптался на этих словах, поставил знак особенного препинания.— Очень и очень странно, что ты не расспрашиваешь про Папашку. Ты раньше слышал о нем? Или вы знакомы? А может быть, это он тебя и подослал?

— Кто такой Папашка? — сказал Орлов, ошеломляясь.— Не знаю никакого Папашку.

— Что-то вроде дракона,— пояснил я.— Двухголовый. Живет здесь, неподалеку, в Илистом озере.

— Вы его видели?

— Чувствовали, — четко выговорил капитан. — А хребет видели... И сало он мое сожрал, — неожиданно добавил капитан укоризненным тоном.

— Сала я вам привез... — сказал Орлов, — но теперь не знаю, что мне и делать... Это... Дело в том, что... Короче... Не знаю, как и сказать... Вместе со мной приехала эта... ну... Клара Курбе.

Глава XXV

ШУРШУРИН ДОМ

Самый пупырчатый, самый укропистый малосольный огурец помочь мне теперь решительно не мог.

Выход к морю, всю жизнь я искал выход к морю, мечтал о корабле и построил лодку и вот наконец уплыл, распрощался. Нет, я не забыл оставленных людей, но все-таки ушел от них надолго, а может, и навсегда. Ведь никогда не знаешь, вернешься ли туда, откуда отплывал. И в душе я всегда прощаюсь навеки, на всякий случай.

А тут — выход к морю, самая легкая лодка, и уже нанюхался болотных газов, и оторвался, оторвался, и вдруг опять — Орлов, да и не только Орлов, там где-то и Клара.

Значит, я не оторвался, значит, надо еще шевелить, бить веслом?

— А граммофон ты с собой не привез? — спросил капитан.

— Не привез, — краснея, ответил Орлов. — Я и Клару брать не хотел, но она напросилась.

— Странно, — сказал капитан-фотограф, неприязненно качая головой. — В лодке только два места. Ты приехал сам, да еще и Клару с собой приволок.

— Я думал, как-нибудь обойдется. Покатаем ее в лодке, и поедет домой.

Эти сбивчивые и какие-то детские объяснения Орлова ничего, конечно, не объясняли. И слова «покатать Клару» звучали дико и неестественно. Мы тут мучаемся в болотах, тонем и мокнем, преодолеваем, а они приехали «покататься»! Черт знает что!

— Слушай, Орлов, — сказал капитан, — говори прямо. Зачем приехал сам? Зачем привез Клару? У вас с Кларой, может быть, это... как это называется... — И капитан повернулся ко мне в поисках нужного слова.

— Чувство...

— Вот именно... Может, между вами — чувство?

— Ты что, с ума сошел! — воскликнул Орлов. — Просто покататься просила. Какое чувство!

Орлов покраснел и насупил. Я же вдруг вспомнил ромбическую коробку, с которой явилась Клара, когда провожала нас. Вспомнил и розу, которой не коснулся. А почему я, собственно, не притронулся к розе? Роза-то, похоже, была для меня. И тут вдруг у меня неожиданно гукнуло сердце. Боже мой! Роза! Неужто для меня была?

— Никакого чувства! — повторил Орлов. — Напросилась покататься!

— Катайтесь в парке культуры, — сказал капитан, — а мы плывем дальше.

И капитан, не прощаясь с Орловым, шагнул к лодке. Опираясь на весло, перекинул он ногу через борт, уселся на свое место. Волей-неволей и я потянулся за ним. Орлов потрясенно молчал.

— Садись, — приказал мне капитан, и я сел в лодку, взял весло.

— Что же это вы делаете? — сказал вслед Орлов. — Зайдите хоть в дом. Там уж все собрались, ждут вас обедать.

— Нечего нам там делать, — сказал капитан. — А Кузьме Макарычу поклон передай.

Решительно взмахнув веслом, капитан двинул «Одуванчик». Мы отошли от берега.

— Неловко как-то, — потихоньку сказал я капитану. — Все-таки ждут нас. Зайдем хоть на полчаса.

— Не тянет, — сказал капитан, — нельзя нам туда заходить. Опасно.

— Да ничего страшного, — сказал я, — подумаешь — Клара. Наплевать. Зайдем. Орлова жалко.

— Это не Орлов, — прошептал капитан. — Это подделка.

— Господь с тобой, что ты говоришь? Опомнись. Какая подделка? Самый натуральный Орлов.

— Не верю, — сказал капитан. — Орлов сюда никак не может добраться. Это все вранье.

— Ладно тебе, успокойся. Надо все-таки вернуться. Хоть на полчаса.

— Ну смотри, — сказал капитан, разворачивая лодку. — Мое дело предупредить. Эй, — крикнул он Орлову, — погоди, мы возвращаемся!

Нос «Одуванчика» снова уткнулся в берег рядом с мостками, мы вылезли и как-то порознь — впереди капитан-фотограф, за ним Орлов, сзади я — пошли через поле к дому шурина Шуры.

Дом этот был стар и кособок. Нижние венцы его прогнили, осели глубоко в землю, крыша от этого задралась острым горбом. Над крыльцом, над окнами дома — повсюду были натянуты какие-то шпагаты и веревочки, на которых сушились белые

грибы и черные окуни. Весь дом был завешан сухой рыбой и грибами, а в палисаднике перед домом бушевали свирепые заросли крыжовника и малины.

Шуршащие под ветром сухие чешуистые окуни, шелестящие грибы, скрипящие ступени — весь дом был пронизан тихими шорохами, и название «шуршурин» очень подходило к нему.

Капитан поднялся на крыльцо и вошел в дом, за ним — Орлов.

Я замешкался на пороге, снимая сапоги. Босиком прошелся я по гусиной травке, короткой и мягкой, которой заросла лужайка у крыльца. В дом идти не хотелось.

Умылся под рукомойником и, выставив к солнцу лицо, решил обсохнуть, как-то не хотелось пока идти в дом.

Сзади слышался шорох.

— Добрый день.

Я оглянулся.

Из полисадничка, из какой-то земляничной калиточки в заборе вышла Клара Курбе.

В сарафане, украшенном голубыми цветочками, босиком, с распущенными до плеч волосами. В руках она держала блюдо, наполненное и смородиной, и малиной, и крыжовником. Удивительно еще, что в блюде не оказалось огурца.

— Привет, — ответил я. — С приездом... только должен сразу сказать, что в лодку мы вас взять никак не можем... места мало. Мы, знаете, дальше поплывем, а уж вы...

Клара поставила тарелку на ступеньку, подошла ко мне поближе и вдруг поцеловала меня в губы.

— О боже! — бормотал я, вырываясь. — С приездом, с приездом...

Глава XXVI

НОГА В КРАПИВЕ

Кумкузя сиял.

Щека его, укушенная, почти вошла в свои берега, и тряпочку розовую кум с головы снял, оставил только шапку-треух. Одно ухо треуха торчало к потолку, другое прикрывало все-таки укушенную щеку.

— Вот и свиделись! — вскрикивал кум, обнимая меня, тиская капитана. — Будто не расставались!

Шурин Шура, человек с виду маленький и невзрачный, с красными слезящимися глазками, сидящий за столом без рубахи и босиком, качал головой, разглядывая нас, и повторял вслед за кумом:

— Вот и свиделись!

Из погреба и из чуланов шурин вымел на стол, очевидно, все огурчики и сметану, выставил квасу жбан, рыбник щучьей длины занимал полстола, а рядом с ним стояла глубокая глиняная миска. Там, в этой миске, в коричневатой утопленной сметане плавали целенькие беленькие грибки.

Поближе к миске пристроились Орлов и Клара, напротив присоседились к рыбнику и мы с капитаном. Сбоку от капитана сидели рядышком кум Кузя и шурин Шура, а справа от меня некоторый человек Леа Хоботов, тот самый, у которого — по рассказам деда Авери — летала рука.

Волей-неволей косым глазом поглядывал я на Лехины руки. Правая пока спокойно лежала на колене, а левая нервничала. То совалась она к рыбнику, то к грибочкам, но тут же убиралась назад, не решаясь притронуться ни к тому, ни к другому. Как видно, она ждала сигнала.

И сигнал не заставил себя ждать.

— Дядя Кузя, — сказал шурин, — все собралось. Можно начинать?

Кум ласково оглядел всех, улыбнулся и сказал радостно:

— Налетай!

И тут же руки Лехины вспорхнули с колен, закружили над столом, как две корявые птицы. То одним, то другим коготком схватывали они салыца, баранки, пельменчика и прямо с лету совали это в рот птенцу, на которого никак не был похож носатый Леа Хоботов.

Вслед за Лехиными и другие руки залетали над столом, как чайки над причалом.

Орлиные лапы капитана пали на рыбник, взломали хрустящую корку, из которой высунулась злая щучья голова.

В общем хоре летающих рук я не замечал рук Клары. Девушка Клара Курбе как-то терялась за столом и руки свои прятала под скатертью. Зато уж орловские длани парили вокруг Клары и пикировали каждую секунду на ее тарелку, с голубиной ловкостью подкладывая то грибок, то луковку.

— Скушай салыца с горчишкой, — ворковал Орлов, и Клара благодарно улыбалась. Давясь горчичными слезами, жевала сало.

Орлов, однако, не унимался. Следующим заходом он тащил ей без разбора и пельмень, и сотовый мед. Клара, к удивлению, глотала все это как таранул.

Пришибленно следил я за ними. Напрасно капитан соблазнял меня щучьей головкой, я чуть притронулся к ней. Дикий, неуместный, несуразный Кларин поцелуй все еще висел у меня на губах. Ни сало с горчицей, ни рыбник, ни грибы, ни питье кваса не помогали — поцелуй никак не отваливался. Он прирос к моим губам, как гриб-трутовик к березе.



Между тем руки над столом стали летать помедленней, зато языки подравнялись. Первым подравнялся язык шурина Шуры.

— Вы — художники, люди ученые, — говорил шурин. — А мы тут живем в глуши — люди неученые. Но и у нас есть памятник культуры.

— Что за памятник? — спросил Орлов.

— Да там, — сказал шурин, — там вон, у нас за сараем, в крапиве памятник культуры валяется. Очень интересный памятник.

— Знаешь что, Шура, — неожиданно сказал Кумкузя, — помолчал бы ты лучше.

— Почему? — удивился шурин.

— Потому что неприлично за столом про памятники рассказывать.

— Да? А я и не знал, — сказал шурин. — Ладно, не буду.

— Нет-нет, расскажите, — сказал Орлов. — Это интересно.

— Я извиняюсь, — сказал кум, — а вы в Вологде пивали чай?

— Пивал, — ответил Орлов.

— А в Архангельском?

— Чего в Архангельском?

— Пивали чай?

— Да что вы мне про чай! Расскажите, что за памятник в крапиве.

— Нога! — услышался вдруг резкий голос с другого конца стола. Это открыл рот Леха Хоботов.

— Нога? — удивился Орлов. — Какая нога?

— Нога в крапиве, — повторил Леха и высосал бокал квасу.

— Эх, Леха, Леха, — укоризненно покачал головой кум, — как неловко — про ногу за столом. Некультурный ты.

— Балабол, — подтвердил шурин Шура.

— Какая нога? — приставал Орлов. — Объясните толком.

— Памятник культуры — нога, — досадливо пояснил кум. — Мужская каменная нога. Валяется в крапиве. В доисторические времена она была приделана к каменному телу. А ты, Леха, не очень культурный — про ногу за столом!

— Балабол, — снова подтвердил шурин.

— Кто сказал, что я балабол? — тяжело проговорил Леха Хоботов.

— Это я сказал, Леха, потому что некультурно за столом про ногу говорить.

— А кто начал про памятник культуры?

— Я и начал, Леха. Но ведь я не сказал про ногу, потому что дядя Кузя сказал, что это некультурно, а про ногу сказал ты, и тогда я сказал, что ты балабол... но я не...

Довести свою мысль до конца шурин не успел.

Правая Лехина рука, не дослушав Шуру, внезапно и быстро отделилась от тела.

Она пролетела над столом и, обогнув самовар, с ходу хлопнула шурина по зубам.

Охнув, шурина грохнулось на пол, а рука, описав в воздухе дугу, как австралийский бумеранг, вернулась к хозяину и, грубо говоря, присобачилась к телу.

В наступившей тишине послышался голос кума:

— Я извиняюсь, а вы в Архангельском пивали чай?



Глава XXVII

ЩУЧЬЯ ГОЛОВА

Ответить на вопрос кума Орлов пока не мог.

Зрелище полета Лехиной руки потрясло его. Орлов окаменел не хуже той ноги, что валялась в крапиве.

Да и все общество как-то притихло и вращало глазами.

Главное, неясно было, как и на что надо реагировать: на полет или на удар по зубам?

Пожалуй, реагировать приходилось на полет. Удары-то мы видывали и от нелетающих рук, а вот полеты наблюдали нечасто.

Шурин между тем довольно весело привскочил с пола и, потирая челюсть, замахал на Леху укоризненно пальцем.

— А ты, Леха,— сказал он.— Ты, Леха, не только балабол. Ты еще и — забияка.

Орлов зашевелился.

— Это что же такое? — обиженно почему-то сказал он.— Это рука, что ли, летала?

— Да нет,— сказал кум,— это так, ничего особенного.

— Как же ничего особенного? Ведь если в Москве рассказывать, что тут руки летают, знаете, что будет?

— Что?

— Ну я не знаю, но что-то будет!

— А ничего и не будет.

— Да ведь она же летает!

— Пускай летает,— сказал кум.— А я вот интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?

— В Харькове я пивала,— неожиданно открыла рот Клара Курбе.— Чай был индийский со слонем, а к чаю варенье клубничное. А вот насчет полета отдельных частей тела я и прежде слышала, но наблюдаю впервые. Интересно, как вы этого достигаете?

Обмакнув вареник в сметану, Леха улыбнулся.

— Тренировка,— сказал он.

Между тем капитан мой фотограф на полет Лехиной руки вниманья не обратил. Так и сяк обсасывал он щучьи плавники, запивал квасом, заедал коркою рыбного пирога.

Я тоже особо не взволновался. Куда больше тревожил меня непонятный, все еще висящий на губах Кларин поцелуй.

«Рука летающая ладно,— думал я,— пускай летает, а вот поцелуй — странный фрукт».

Где-то в самой глубине души зрела у меня мысль, что не худо бы этот фрукт повторить.

Думая о поцелуе, я все-таки отметил про себя, что рука

Лехина отрывалась вместе с рукавом пиджака, а потом рукав как бы пришился. Это было забавно.

— Странно, очень странно,— сказал Орлов, удивленно оглядывая нас с капитаном.— Все восхищаются, что у человека летает рука, а эти — ноль внимания.

Капитан оторвался от блюда, поднял к Орлову глаза.

И тут я заметил, что не только Орлов, но все общество, собравшееся за столом, удивленно разглядывает нас. Дескать, как же так — у человека летает рука, а эти не замечают, будто стрекоза пролетела.

И даже шурин смотрит обиженно. Похоже, он больше обижался на нас, чем на Леху, от которого получил по зубам. И я понял, что шурин нарочно «подставился», подыграл Лехе, чтоб тот показал, на что способна его рука.

— А чего тут восхищаться,— сказал капитан,— она ведь не только летает, она еще по зубам бьет... Если б она собирала цветочки.

— По зубам это я так, для примера,— сказал Леха,— можно и цветочки.

И он крутанул рукой, примериваясь к форточке.

— Да ладно, верю,— сказал капитан, но Леха уже сделал бровями какое-то метательное движение, и рука шмыгнула по воздуху к окну, через форточку улизнула на улицу.

Все замерли. И даже шурин перестал жевать. Неудобно все-таки есть пельмени, когда чья-то часть тела покинула общий стол. Несколько минут все напряженно молчали. Наконец послышался стук в дверь.

— Войдите! — крикнул шурин.

Дверь распахнулась, и рука Лехина ворвалась в дом, зажав в кулаке ромашку. Галантно изогнувшись в воздухе, она поднесла цветок девушке.

— Спасибо,— сказала Клара Курбе и тут же вплела ромашку в волосы.

Все дружно зааплодировали. С ромашкой в каштановых волосах Клара была... гм... дьявольски хороша.

— А теперь капитан доволен? — спросила она.

— Меня все это не касается,— хмуро ответил капитан.

— Да он просто завидует,— подал голос Леха Хоботов.— У него-то ничего не летает.

— Завидовать тут нечему,— сказал капитан.— Видели мы кое-что похлеще летающей руки... А вот некоторые девушки меня удивляют.

— Чем же? — спросила Клара.

— Не знаю, как это объяснить... но нельзя брать ромашку у той самой руки, которая только что зубы дробила.

Капитан встал, тронул меня за плечо.

— Пойдем,— сказал он,— нужно поговорить.

— Куда это? — крикнул шурина. — А самовар пить?!

— Сейчас вернемся, — сказал капитан, — две минуты.

Мы вышли на крыльцо. Капитан держал меня за руку, и я чувствовал, как мелко и нервно дрожит он.

— Отойдем подальше.

У забора, под шуршуриным окном, мы остановились.

— Слушай, — сказал капитан, — ты сказал, что Орлов снился тебе там, на берегу Илистого.

— Снился.

— А Клара?

— Снилась, — чуть смутившись, подтвердил я.

— Да, — задумчиво сказал капитан, — теперь все ясно.

— Что тебе ясно?

Капитан не ответил.

— Загляни в окно, — неожиданно сказал он, — погляди, что они делают?

Я поднялся на цыпочки, заглянул в окно и вздрогнул. Вся компания, что сидела за столом, — и Кузя, и шурина, и Леха Хоботов, и Орлов с Кларой — все смотрели в окно, прямо мне в глаза. Я отпрянул.

— Поздно, — сказал капитан. — Заметили. Догадались, что я догадался. А я уж давно все понял, но когда она взяла ромашку...

— Что ты понял? Объясни.

— Папашка раздвоился. У него же две головы — щучья и медвежья. Ну вот, щучья — это Клара, а медвежья — Орлов. Приделал к головам по телу и явился к нам. Настоящий Орлов сидит в Москве, и Клара там, а эти — поддельные. Подсмотрел твои сны — и раздвоился.

— Что ты говоришь?! — сказал я. — Я с Кларой только что целовался.

— Это не Клара, — сказал капитан. — Это — гидра.

Где-то в доме хлопнула дверь. По ступенькам крыльца спускалась Клара. Она встала у забора, у земляничной калиточки, и задумчиво глядела на дальние леса, на небо, на закат.

— Щучья голова, — шепнул мне капитан. — Оставаться нам здесь нельзя.

— Слушай, отойди на минутку, — заикаясь, сказал вдруг я.

— Куда это?

— Не знаю... ну, погляди, цел ли «Одуванчик».

— Да я отсюда вижу — все в порядке, — сказал капитан. Но все-таки он обеспокоился, вытянул шею, шагнул в сторону.

— Не вздумай с ней целоваться, — буркнул он.

Капитан пошел к берегу, и, как только он отдалился, Клара сразу направилась ко мне.

Я видел, как сияют и колеблются ее глаза, как горит в волосах ромашка.

— Не смейте меня целовать, — сказал я дрожащим голосом.

Глава XXVIII

ПАДЕНИЕ ЖЕЛУДЕЙ

Долго, очень долго приближалась ко мне Клара.

Между нами и было три шага, но, кажется, она сделала все пятнадцать. Она шла ко мне, но то и дело сворачивала в сторону. Уже подойдя вплотную, она завернула, и я думал — пройдет мимо — и уже прошла, уже миновала, — но все-таки схватила меня за руку. Пальцы ее были сухими и слишком горячими для шуки.

Взяв меня за руку, Клара повлеклась куда-то, и удивительно, что я поплелся за нею, безвольный и податливый.

— Что вам угодно? — сказал наконец я.

— Ничего.

— Ну я тогда пошел.

И я вправду куда-то пошел, но рука моя по-прежнему оставалась в руке Клары. Клара двигалась к лесу, я — к реке, потом она повернула к забору, я направился к сараю. Так вроде бы мы и шли куда-то, но и оставались на месте. Она не отпускала моей руки, но поворачивалась ко мне боком, а я к ней все больше спиной.

— Поговорим, — шепнула Клара.

— Говорить я с вами не намерен.

— Почему?

— Потому что вы — гидра. Приехала с Орловым, а целуется со мной.

— Я приехала к вам.

Клара застыла, замерла. Глаза ее то меркли, то переливались. Вдруг она выхватила из волос ромашку и бросила на землю. Бросание ромашки как-то притормозило меня. Раздражала все-таки эта ромашка, привнесенная летающей рукой.

— Возьмите меня в лодку, — шепнула Клара. — Самая легкая лодка в мире — это смысл жизни. Возьмите меня.

Клара прикрыла глаза, отчего еще сильнее заблистала под ресницами какая-то ртуть.

— А как же капитан-фотограф?

— Мне надо в лодку, — шептала Клара и тянулась ко мне.

— А куда ж я дену капитана? — ошеломленно твердил я и уже тянул к ней губы, подобно степному дудаку, хотя откуда же у дудаков губы, у них же эти, клювья... О господи, не все ли равно — клювья ли, губы, все это ерунда, ромашка, Папашка, борьба борьбы с борьбой... Нет, но поцелуй все-таки странный фрукт — не груша ли он? Впрочем, с чего это, почему это поцелуй — фрукт? Он совсем непохож на фрукт. Кто же он? Не дерево ли?

Наконец, обвешанный поцелуями как дуб желудями, я ото-

рвался от предмета неожиданной моей страсти. В двух шагах от нас стоял художник Орлов. Он был потрясен, скомкан и смущен. Древо поцелуев остолбенило его.

Остолбененный, глядел он на нас, хотел отвернуться и не в силах был, застигнутый врасплох.

— Вы что это? — испуганно сказал он. — Целуетесь, что ли?

— Между нами — дерево, — ответил я, полагаясь на голову-круженье.

— Да нет, почему, пожалуйста, — сказал Орлов. — Приехала со мной, а целуется с тобой. Все правильно.

— Орлов, пойми, — сказала Клара, — мы теперь поплывем вместе.

Голова моя кружилась, вертелась и таяла. Обремененный желудями, стоял я перед Орловым. Желуди звякали и стукались под ветерком, щелкали друг друга лакированными боками.

— Интересно, — усмехнулся Орлов, — меня на лодку не взяли, мешал капитан-фотограф. А тут — никто не мешает.

Клара промолчала. Просто и тихо она поцеловала меня в щеку.

Это, пожалуй, было лишнее. Я и так уж кренился под тяжестью. Даже самый могучий дуб не может держать на плечах желуди всего леса.

Послышался легкий стук о землю. Это сорвался последний лишний желудь. Тут же и несколько собратьев его посыпались с ветвей, позавидовав легкости паденья.

— Как у вас просто и быстро, — сказал Орлов. — Меня побоку, капитана — за борт. — Уже плывут, уже мечтают.

— В любви всегда так, — ответила Клара.

Еще парочка желудей щелкнула об землю.

— О любви мы не говорили, — сказал я сбоку. — Мы только целовались.

— Поцелуй — это язык любви, — пояснила мне Клара ласково.

— Поцелуй — это желудь, — заплетаясь, заупрямился я. — А о любви мы не говорили.

Желуди сыпались с меня как какие-то семечки.

— Что такое? Что такое? — заволновалась Клара и быстро-быстро стала нацеловывать меня в щеку. Это была диковинная картина — одни желуди нарастают, а другие отваливались.

— Нет-нет, меня это не устраивает, — вырывался я. — Только поцеловались — и вот на тебе! — бросай капитана-фотографа, бог знает кого сажай в лодку... Ну ладно, хватит, я пошел...

— Куда ты! Пстой! — воскликнула Клара, схватила меня за руку.

— А ну отпустите его! — слышался грозный голос, и, тупо топя болотными сапогами, из-за забора вырвался капитан-фотограф.

В два прыжка он пересек двор, с разгону толкнул плечом Орлова.

Потрясенный художник свалился в малину.

И тут послышался гулкий, как землетрясение, звук. Качнулась земля под ногами. Это рухнули с дуба остатки желудей.

Глава XXIX

СКРИП ДЕРГАЧА

Сумерки, сумерки, сумерки!

Сумерки опустились на землю — из небесных глубин, из кисейного облака.

В сырых лугах заскрипел однообразно дергач, бесконечные звезды поднялись над лесами, притягивая все глаза земли.

Нет ничего страшнее этих далеких звезд, этих дивных расстояний, непонятных ни глазу, ни сердцу. Лишь бедный ум старается их постичь, но, заторможенный скрипом дергача, вязнет в пространстве.

Как прочно, как чудесно для моего сердца связан этот скрип и вечерний запах близкой реки, посеревшие в сумерках кусты козьей ивы и посиневшие леса, как надежно связаны они с вечным мерцанием далеких звезд.

В сумерках слился с березой, растущей у крыльца, шуршурин дом, потемнел, огорбател. Как бык или дикий вепрь, пополз по берегу, выставив клыки столбов и щетину забора. Сумерки, сумерки!

Гневен в сумерках был капитан-фотограф. Тяжело дыша, привалился он к моему плечу, готовый отбиваться. Капитан был твердо уверен, что перед ним раздвоившийся Папашка.

И вот — медвежья голова валялась в малине, а щучья — всхлипывала у забора.

Я чувствовал напряженное плечо капитана, но никак, конечно, не верил, что такое безобразие, как раздвоение Папашки, на свете возможно. Ну, летающая симпатичная голова деда Авери, ну, рука-бумеранг, но раздвоение... нет, никогда!

А орловская в сумерках и впрямь медвежьей оказалась голова. Лохматая борода слилась с лицом, высунулись откуда-то невероятные уши, покраснели от обиды и угрюмости бледные глаза. Тяжело и грозно подымался на ноги Орлов, медведем смотрел на нас из малины.

В самое глупое, самое бессмысленное положение попал он в жизни. С чистым сердцем догонял он друга, а друг отвернулся, отказался, да еще принялся целовать девушку, в которую Орлов частично влюблен.

Оскобленному, обиженному, ему еще бьют под ребра, мето-

дом подлой подножки бросают в малину. Тут уж поистине любая честная русская голова может превратиться в медвежью.

— Эй вы! — покрикивал капитан. — Оборотни! Соединяйтесь! А мы поглядим, как это делается.

— Что с тобой, боцман? — сказал Орлов, медленно ворочая глазами.

— Брось прикидываться, медвежья башка! На автобусе он приехал! Подсмотрел наши сны и раздвоился!

— Я никогда не раздваивался, — сказал Орлов. Мрачно и молча стоял он перед нами. Сгущались сумерки вокруг его головы.

Крик дергача-коростеля стал к ночи свежее и ярче. Так упорно, так настойчиво пел-скрипел коростель, как будто звал кого-то.

— Ну, вы, мракобесы! Будете воссоединяться или нет? — покрикивал капитан.

Будто вняв капитанскому призыву, Клара отошла от забора, взяла Орлова под руку. Приподнявшись на цыпочки, она приблизила свою голову к орловской. Светлым в полутьме сарафаном она закрыла от нас художника, и вот уже две головы вознеслись над сарафанным телом, и ничего страшнее, чем этот сарафан, увенчанный двумя головами, видеть мне в жизни не приходилось. Головы, пока еще человечьи, вот-вот должны были преобразиться.

Но ничего такого не произошло. Кларина голова шепнула что-то орловской и отпрянула. За головою двинулся сарафан — Клара направилась к нам. Орлов же подошел к дому, поднялся на крыльцо, хлопнул дверью, скрылся.

— Отойди, — сказал я капитану. — Отойди, дай поговорить.

Капитан затыркался, замычал отрицательно, но все-таки шагнул куда-то в сторону, в темноту.

Темным, совсем темным в сумерках было лицо девушки Клары Курбе. Растрепанные волосы соединились в воздухе с ветками шуршуриной березы — сквозь волосы ли, сквозь ветки пробивались звезды?

«Северный Крест», — подумал я, узнавая созвездие. — А Орион выйдет позже, совсем поздно, в предутренних сумерках».

— Мы устали, — сказал я Кларе, — мы сдвинулись от летающих рук, все в голове смешалось... я не против желудей.

— Говорите.

— Представьте, капитан вообразил, что Орлов — медвежья голова, а вы... рыбная... Ерунда, конечно...

Я замолчал, перевел дыхание. Клара слушала меня, но неясно было, понимает она что-нибудь или нет.

Дергач, который все кричал в лугах, постепенно приближался к шуршуриному дому, к реке. И наконец, откуда-то снизу, с реки, из-под кустов козьей ивы, ему отозвались. Речной дергач



скрипел помедленней, поленивей, но тоже двигался к нам.

— Скажите еще...— повторила Клара.

— Я же говорю, он вообразил, что у вас от рыбы...

— Это бред. Скажите другое.

— Он вообразил... ну ладно, вы поймите, не могу я так сразу бросить капитана, сажать вас в лодку.

— Сразу не можете? А как вы можете?

— Не знаю...— сбился я.

Клара отвернулась от меня и пошла к дому.

— Эй, постойте! — крикнул я.

— Чего ждать? Вы же не можете.

— Я не знаю, — бормотал я. — Как-то все внезапно... Потом, когда я вернусь из плавания...

— Потом сможете?

— Еще не знаю, но думаю... Я же не против желудей, деревьев...

— Желуди, деревья... — повторила Клара. — Я все поняла. Ум у вас маленький, а мир — большой. Вы дурак и недостойны иметь самую легкую лодку в мире.

Клара избежала на крыльцо, хлопнула дверь, и больше никогда в жизни я не видел девушку Клару Курбе, а если и видел, так только краем глаза.

Глава XXX

ВЯЖЕМ ЛИ МЫ?

Потом-то я часто вспоминал, часто думал, что же должен был сказать Кларе, и никогда не мог придумать ничего путного.

Мой невеликий ум никак не мог вместить в одну лодку и Клару, и Орлова, и капитана-фотографа. Но ведь все на свете имеет свои пределы, свои возможности. А ум мой давно раздулся от материала, который ему пришлось вместить. Папашка и бесы, летающие руки и головы, желуди и деревья плавали в нем, и только крик дергача казался светлой соломинкой, за которую и хватался я, утопающий в собственном переполненном уме.

Много раз в жизни слышал я этот странный — сырой и вечерний — скрип дергача.

Стрелкой вытянув шею, приклонив к земле острую голову, ходит дергач около дома в густой траве. И кажется, вот он, рядом, под этим лопухом. Зажжешь фонарик — и не видно никого в траве — то ли пропал дергач, то ли спрятался, то ли вовсе не было его.

Невидимый, неуловимый, скрипит он под нашими окнами каждую ночь, а глазу не поддается.

Между двух дергачей стоял я. Скрипуны медленно приближались друг к другу, и я стоял на том самом месте, где они назначили встречу. Место это надо было скорее освободить.

Вдруг дергачи замолчали. Наверно, подошли ко мне так близко, что скрипеть было стыдно. Притихли дергачи, которых иначе называют коростелями, а над лесом, над шуршуриным

домом стоял огромный Северный Крест, который, кстати, иначе называют — созвездие Лебеда.

— Капитан! — крикнул я. — Пошли в дом. Надо попроситься и плыть дальше.

— Давай так поплывем, — неожиданно близко отозвался капитан. — Давай так поплывем, не прощаясь. Заночуем в лодке. А то как бы чего не вышло.

— Обойдется, — сказал я и вошел на крыльцо.

Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Орлова и Клары за столом, к удивлению моему, не было. У керосиновой лампы сидели кум, Леха и шурин.

У каждого из них мелькали в руках сверкающие стальные прутики. Остро отточенные, они шевелились, позвякивали, а у Лехи даже прищелкивали. У него и прутики были особенные — с красными кровавыми шариками на концах.

— Двадцать два, двадцать три, добираю... — бормотал Леха.

— Сорок восемь... — под нос себе колдовал шурин.

Увидев эти прутики, ум мой невеликий оторопел. Особенным колдовским прибором показались мне они в первую минуту, и поразительно было, что у шурина на концах этих прутиков шевелился черный мужской ножной носок с огромной пяткой.

Тут я заметил, что и у других приделано что-то к прутикам. У Хоботова — варежка с охотничьим пальцем, а у кума что-то длинное и черное, отчасти похожее на штанину.

Наконец я сообразил, что прутики — это вязальные спицы, и понял, чем занимается вся компания. Они — вязали.

Мирное это занятие показалось мне диким, несуразным, предательским и опасным. Жутковато было, что и летающая рука занималась этим немужским делом.

Никто не поднял головы, когда мы вошли в комнату, никто не оторвался от вязанья.

Завороженно глядя на сверкающие спицы, мы присели на лавку у стены.

Картина неуместного вязанья сразила капитана. Сидя на лавке, тревожно вертел он головой.

— Извиняюсь, — сказал он, откашлявшись. — Вы что же это — вяжете, что ли?

Никто не ответил. В тяжелом и мертвом молчанье из-под стола вдруг выкатилось какое-то черное пушистое и круглое существо. Повертевшись посреди комнаты, оно всосалось под стол. Это был пухлый и мохнатый кошачьего склада клубок шерсти.

Кум наконец щелкнул спицами, положил вязанье на стол и поднял к нам глаза. Внимательно-внимательно, строго и сосредоточенно разглядывал он нас с капитаном.

— Вот вы спрашиваете, — сказал кум, — вяжем ли мы? Отвечу откровенно: да, мы вяжем. Но и нас интересует: вяжете ли вы?

— Как то есть? — не понял капитан.

— А так, очень просто. Вяжете вы или нет?

Расширивши глаза, глядели мы с капитаном на кума Кузю и не знали, что же ответить на этот простой и чудовищный вопрос.

«Что за наваждение? — думал я. — Откуда взялось это вязанье? Какое отношение имеет оно к самой легкой лодке в мире, к моему плаванью, к мечте? Нет, никогда в жизни не увязать мне, что происходит в мире, в людях, во мне самом. Пора в конце концов подумать: вяжем ли мы?»

Глава XXXI

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

— Что ж вы молчите? — сказал кум. — Вопрос очень простой: вяжете вы или нет?

Капитан оглядывался на меня, но я ничем не мог ему помочь. Растерянно, как школьник, капитан ответил:

— Нет, мы не вяжем.

— Вот и я чувствую, что вы не вяжете, — сказал кум. — А ведь надо вязать.

Оглядываясь на меня, капитан разводил руками. Он явно не понимал, как выплыть из этого дурацкого разговора.

— Мы постараемся, — неожиданно пообещал он. Мы вообще-то давно мечтали вязать и, если надо — будем.

— Что за чушь? — сказал я. — С чего это мы будем вязать?

— А что? — спросил капитан.

— А то, что плавание и вязанье несовместимы. Лично я вязать не собираюсь.

— Напрасно, — мягко заметил кум. — Вязанье в жизни необходимо.

— Не вижу такой необходимости, — ответил я, — я вязать не буду и капитану не дам.

— Это почему же ты не дашь мне вязать? — раздраженно спросил капитан.

— Не дам, и все.

— А я буду вязать! — повысил голос капитан. — Подумаешь! Он не хочет вязать — значит, никто не должен. Я давно мечтал вязать. Одолжите мне спицы.

Шурин Шура, ухмыляясь, вскочил с места. Он заподмигивал капитану, нырнул в сундук, вытащил оттуда запасные спицы и клубок шерсти. Капитан же фотограф, который прежде и спиц-то в глаза не видал, схватил их и довольно шустро принялся рыться ими в клубке.

— Хочу и буду,— бубнил он себе под нос.

— Вот и молодец,— отечески поощрил его кум.— Вязанье способствует хорошему сну, располагает к миру. Не мешает оно и чаепитию.

Неожиданное предательство капитана на почве вязанья взбудоражило меня. Сжав кулаки, наблюдал я, как он тыкает вслепую спицами, пытаюсь ухватить их кончиками тонкую нить. На старого китайца, который ест палочками рис, похож был сейчас капитан-фотограф. Всем ясно было, что вязать он никогда не научится, а сейчас водит спицами просто так, чтоб позлить меня.

«Боже мой! — думал я.— А я-то ссорюсь из-за него с Орловым, не пускаю в лодку девушку, которую, черт побери, почти что полуюлю. А он — вяжет мне назло».

Капитану-фотографу я просто-напросто надоел. Несколько дней подряд терпел он меня, мои слова, мои суждения, а может быть, и глупые поступки. Капитан устал от меня, и его неожиданно прорвало.

«Хоть мы и плаваем в одной лодке,— как бы говорил капитан,— а совсем разные люди».

— Положи спицы,— сказал я.— Надо нам плыть.

— Вот повяжу с полчаса, и поплывем,— ответил капитан.— А то он не хочет, значит, никто не должен.

— А ну брось спицы! — крикнул я.— Брось немедленно.

— Ни за что. Я давно мечтал вязать. Мне нужен свитер.

В глазах у меня потемнело. Я подпрыгнул, вырвал спицы из рук капитана и бросил со звоном на пол.

— Или спицы, или лодка! — задыхаясь, крикнул я.— Выбирай!

Капитан вскочил с места, как теленок, наклонил голову, будто собираясь бодаться. Леха Хоботов бросил спицы и стал принакручивать правой рукой, целясь мне в ухо.

Кум, однако, перехватил руку его.

— Ты что, нельзя! На место! — сказал кум.— Он же из Москвы...

— Хочу вязать... хочу вязать,— насупившись, бубнил капитан.— Что я тебе сделал?

— Пускай вяжет человек,— сказал Леха, убирая руку в карман.— А то спицами бросаешься на пол.

— А ты, Леха, помолчи,— сказал я.— Ты со своими руками разберись. То она у него вяжет, то летает. Выбери что-то одно. Или — вязать, или — летать.

— У Лехи рука хоть и летающая, но трудовая,— сказал кум.— Мы его нарочно так приучиваем, чтоб его рука не только в воздухе болталась, но и делом занялась.

— Не верю,— сказал я,— не верю, чтоб летающая рука

вязала варежки. Все ваше вязанье для отвода глаз. Не понимаю только, от чего вы наши глаза отводите.

— Мы любим вязать в свободное время,— сказал кум, членораздельно глядя мне в глаза.— И никому ничего не отводим.

— Вы просто не хотите, чтоб мы плыли дальше. Это Папашка велел остановить нас?

— Что за глупость? Что вы придумали? Никакого Папашки и на свете-то нет. Ну а плыть вам дальше не советую. Опасно — болота, топи. Пожили бы здесь, у Шуры,— рыбалка, грибы, ягоды. И ваши друзья с вами — Орлов, Клара...

— А где они сейчас, Орлов и Клара? — спросил я, глядя куму в глаза.

— Да здесь они, неподалеку. Пошли прогуляться, на звезды поглядеть.

— Брунда,— сказал я.— Их здесь и вовсе не было. Настоящие Орлов и Клара в Москве сидят, а эти — поддельные, мыльные пузыри.

— Да уж,— неожиданно и обиженно вставил капитан,— сам с Кларой целовался, а теперь — пузыри.

— С дуру я могу и с пузырем поцеловаться,— сказал я.— Но где сейчас Клара? Где? Возникла на миг — и пропала.

— А ведь в жизни всегда так,— сказал неожиданно шурин.— Возникнет на миг — и пропадет. И ты, и я, и все мы.

— Но мы с капитаном пока еще не пропали,— сказал я.— Брось спицы. Мы плывем дальше.

— Куда это вы плывете? — прищурился шурин.— Папашку, что ль, искать?

— Да нет, так просто поплывем, сами по себе. А Папашка, если надо, сам нас найдет.

— Вот это верно,— засмеялся шурин.— Но, по правде говоря, Папашка вас давно уже нашел.

— Как это? — не понял капитан.

— А так,— ответил шурин.— Папашка — это я.

Глава XXXII

РАЗГОВОР С КУСТАМИ КОЗЬЕЙ ИВЫ

Капитан-фотограф все-таки не удержал спицы в руках. Со звоном упали они на пол, клубок шерсти покатился под стол.

— Так вот кто Папашка... — заикнулся капитан.— А я-то думал...

— Да, я — Папашка,— подтвердил шурин.— А дядя Кузя с Лехой — моя бригада.

Шурии гордо оглядывался. Его некрупные малогадубые глаза с большим достоинством мигали над щеками.

— Самый незаметный, самый скромный, — сказал капитан. — Его бьют по щекам, он падает на пол, и он же — Папашка.

— Пускай бьют, — сказал шурии. — Пускай тиранят. Но Папашка — это я.

— И он еще вяжет! — воскликнул капитан.

— Да, я вяжу, — скромно подтвердил шурии. — Вяжу носок для каменной ноги. Скажу вам честно, что в крапиве валяется вовсе не памятник культуры. Это моя собственная запасная нога. Ей бывает холодно во время заморозков. Конечно, я мог заказать этот носок Лехе или дяде Кузе, но решил связать носок для своей ноги собственноручно. Ей это будет приятно, потому что пользуюсь я ей сейчас редко, тяжеловата. Пусть хоть прогреется бедняга моя.

Выслушав всю эту ерунду, кум Кузя и Леха Хоботов закатили глаза, сложили руки на груди и стали глядеть в потолок, выражая тем самым свою печаль по поводу одиночества каменной ноги.

Я не выдержал и засмеялся.

— Что тут смешного? — нахмурился шурии. — Окаменелая нога валяется в крапиве, ей одиноко, холодно, неудобно.

— Жалко ногу, — сказал я, — но просто смешно слушать все это вранье. Шурии Шура — Папашка, ну, утомили! Кому нужен Папашка, который вяжет носки, подставляет свою морду под удары летающей руки! Это не Папашка — это дубина стоеросовая!

— Почему же нельзя прикинуться? — сказал шурии. — Я скромный.

— Нельзя, никак нельзя прикидываться, — сказал я. — Настоящий Папашка — это остров, топящий в озере, это ночь, которая давит на сердце, это два дергача.

Сам не знаю для чего, я вскочил с места, подлетел к шурию и слегка дернул его за нос.

— О! — закричал ошеломленный Шура, а я побежал к двери, и сразу же ринулась за мной летающая Лехина рука. Забыл, забыл-таки Леха Хоботов, что я — москвич! Уж не знаю, что хотела сделать со мною его рука — поймать ли, задержать, дать по шее, но не был бы я москвичом, если б вдруг на пороге не прищемил дверью Лехину конечность, а дверь заклинил на крючок.

В непролазной, прочной и безымянной тьме добежал я до берега и увидел светлую лодку на черной воде. Я прыгнул на свое бамбуковое место, и «Одуванчик» сразу вынес меня на середину реки. Я и весла-то взять не успел, а «Одуванчик» уже летел по реке подальше от шурурино дома.

Есть на свете такие люди, которые умеют убегать.

Сидят, сидят вместе со всеми за дружеским столом, едят, пьют, смеются — и вдруг вскакивают, хлопают дверью — и бегут!

За ними гонятся, кричат, извиняются, уговаривают, а они бегут, бегут, убегают. А потом уж падают в траву и плачут.

Мне такие люди не очень нравятся, но я, между прочим, и сам такой человек. Не знаю почему, но порой я и сам так вскакивал и убегал, прятался и плакал, а потом уж бежал дальше. Где бы я ни был, где бы ни жил, я в конце концов обязательно оттуда убегал, только скорость убегая была разной — то помедленней, то побыстрей.

Вот и сейчас я убежал, но не плакал, а смеялся. Мне было легко и весело, и, если б настигла меня сейчас летающая рука, я бы ее немедленно утопил.

Но летающая рука не настигла меня и не могла настигнуть. Летающие руки обычно ленивы. Летать-то они летают, но зачем им, скажите на милость, без толку летать? Ну, настигнет, ну даст по зубам, а дальше-то что?

А ведь ночь была уже на земле. Полная, окончательная ночь. Ничего светлого не светило в ней — только серебряный «Одуванчик» да немыслимый Орион.

Под Орионом перед «Одуванчиком» уже шевелился, уже мутно набухал новый досолнечный туман. От берегов, от корней осин, из осок выплывал он, но был еще легок и нежен, тающ и невесом.

«Э-э-э...» — послышалось издалека.

«Капитан-фотограф зовет,— подумал я.— Эх, надо возвращаться, бросать его нельзя. Я и так уж его обидел — помешал вязать. Интересно, чего это я так восстал против вязанья? Ну, сидел бы себе на носу лодки и вязал. А Орлов и Клара? Их тоже жалко бросать. Настоящие они или поддельные — все равно друзья. Да, жалко, что я построил самую легкую лодку. Надо бы строить понадежней, покрепче, чтоб все влезли — и Орлов, и Клара, и капитан. А так — неловко получилось, построил для себя — сам и поплыл».

Я развернул «Одуванчик», взмахнул веслом и скоро увидел свет в окнах шуршуриного дома, два темных куста козьей ивы, как два темных шара на берегу.

— Ты куда делся? — послышался голос, и в одном из кустов вспыхнул огонек орловской папироски.

— Надоело в доме сидеть,— сказал я,— решил покататься.

— А меня, что ж, бросил? — послышался голос капитана-фотографа из другого куста. Этот куст был плотней орловского, вместительней и гуще.

— Да нет, что ты,— ответил я.— А насчет вязанья ты не обижайся. Вяжи сколько душе угодно. Сиди на носу лодки и вяжи.

— Насчет какого вязанья? — слышался третий голос из капитанского куста. Как ни странно, это была Клара.

Капитан что-то забормотал ей в ответ, я не мог расслышать, разговор их увязал в кусту. Ясно было, что они пререкались.

— Вылезай на берег, — сказал Орлов. — Пошли спать к шурину на сеновал.

— Да нет, — сказал я, — мы дальше поплывем. Эй, капитан, садись на корабль.

— Давай у Шуры переночуем, — ответил капитан. — А завтра поплывем.

— В лодке переночуем, — сказал я. — Не тани, спускайся к воде.

— Эй вы! — крикнула вдруг Клара. — Плывите один, капитана я не отпущу.

В капитанском кусту снова начались какие-то пререкания и взволнованный шепот.

— Видал? — сказал Орлов. — Она его уже не отпускает.

— Ерунда, — отозвался капитан, — никто меня не удержит. Завтра, после обеда, поплывем.

— Ну да, конечно, — иронически протянул Орлов. — Завтра, после обеда. Нет, брат, не жди капитана, плыви один.

— Капитан... — укоризненно сказал я. — Капитан-фотограф, милый, вяжи, делай что хочешь, только не покидай корабль. Мы ведь с тобой только вперед идем.

— Слушай, давай завтра. С Кларой хочется еще поболтать... интересно, знаешь... борьба борьбы с борьбой...

— Может быть, ты со мной, Орлов?

— Да ведь я опоздал. А кто опоздал — тот опоздал. Плыви один, не теряй времени. Скоро и луна взойдет.

Я шевельнул веслом, отвел лодку от берега — «Одуванчик» заскользил мимо темных кустов.

— Ну ты что, плывешь или на месте стоишь? — спросил Орлов. — Я не вижу в темноте.

— Боюсь оставить капитана, — ответил я. — Не гидра ли она?

— Да ничего страшного, — сказал Орлов. — Все обойдется. Ну, так ты что — плывешь или стоишь?

— Я еще не знаю, — сказал я. — Я думаю.

Сено, про которое я совсем забыл, сено, которым наполнена была лодка, шевелилось и шуршало. Запах сухого клевера и зверобоя, подмаренника и душицы охватывал меня. Я был в середине огромного букета, собранного со всей земли.

— Так ты что? Плывешь или на месте стоишь? — негромко повторил вдали Орлов. — Плывешь или стоишь? Я не вижу в темноте.

Раздумывая, как мне быть, сидел я в лодке, и течение несло «Одуванчик» вперед, к Покойному озеру.

Глава XXXIII

ВОЛЧЬЯ ДРЕМА

Снова туман охватил мою лодку, а в тумане напала на меня волчья дрема.

Я то прикрывал глаза и дремал, то вдруг просыпался и озирался тревожно кругом, да не видел ничего — туман.

Туман и волчья дрема — это уже чрезмерно, слишком много оболочек для небольшого сознания. Не разобрать, где ты сам-то — в тумане ли, в волчьей ли дреме?

Я не брал весла, вполне доверяя лодке, и, подремывая, засыпая и пробуждаясь, сплавлялся по реке.

Вдруг я открыл глаза и увидел — о боже мой! — ладьи!

Те самые старинные лодки с деревянно вытянутой шеей, лодки, названием — ладьи — увидел я. Больше я вроде не видел ничего, кроме этих длинношеих широкобедрых лодок. Взор был прикован к ним.

Конечно, краем глаза, тем особенным краем, которым видишь все, я заметил над туманом черноголовые островерхие еловые вершины, а над ними какие-то белые стены, какие-то далекие купола. Я не мог хорошенько рассмотреть стены и купола, потому что имел право глядеть на них только лишь краем глаза.

Вообще-то я люблю смотреть краем глаза. Я нарочно учился видеть все краем глаза, когда неудобно пялиться впрямую. За долгие годы я, пожалуй, развил края своих глаз неплохо.

И вот — в тумане ли, в волчьей ли дреме — краем глаза я увидел елки, а над ними — белые стены, башни, и купола, но впрямую мне были показаны ладьи.

Они стояли у причала, на который наплывал «Одуванчик».

Ладьи шевелились. Они покачивались на волне, терлись друг о друга, роняя в воду капли и щепочки. Они толкались боками, но самое нечеловеческое было то, что они вытягивали шеи.

У них вытягивались шеи, и каждая увенчана была резною главой.

Вот у первой — лебяжья была голова, вот — рысья с кисточками на кончиках ушей, вот — карпья с толстой обиженной губой. На деревянных шеях склонялись головы друг к другу, шептались на ухо.

Мы приблизились. Мы проплывали от них не дальше вытянутого весла. «Одуванчик» как-то притормозил, клюнул носом, и рысья вдруг отомкнулась губа.

— А мы тебя давно ждем, — послышался хриплый и мяукающий голос. — Бесы с Багрового озера рассказали, что ты плаваешь здесь. Нам и захотелось глянуть на самую легкую лодку в мире.



Дрогнули кисточки на кончиках ушей, сморщился лесной кошачий нос, резным зеленым глазом глядела рысь на мою лодку. К лодке были обращены ее слова. К лодке, а не ко мне.

— Легкая лодочка, легкая,— провещилась голова Лебяжья.— Не соврали бесы.

— Бесы, бесы! — недовольно хрюкнула Карпья.— Заладили одно — бесы да бесы. А им, бедолагам, только и надо — веревки в воде мочить. Ты, «Одуванчик», не думай, что они рыбу ловят. Какой дурак клонет на такой ржавый крюк? Ездют — воду мутят. Бесов я и слушать бы не стала. На кой мне черт слушать бесов?

Тут Карпья голова затряслась раздраженно. Она чмокала толстыми губами и чуть не плевалась, вспоминая про бесов.

— Бесы да бесы... тьфу... Если б не батюшка Аверьян Степаныч, я б сюда и не приплыла. Чего мне самая легкая лодка в мире? На кой она мне? Но Аверьян Степаныч сказал: надо поглядеть, и я приплыла. Аверьян Степанычу нельзя не доверять. Сказал: надо, значит — надо. А тут как раз его уважаемая головушка прилетала рыжичков поглядеть и говорит: надо. Я и приплыла. А уж потом, конечно, Папашка подтвердил. А бесов я и слушать бы не стала, наплетут всегда с три короба.

— Очень важно, очень важно,— пропела Лебяжья девичьим голосом.— Очень важно, «Одуванчик», что ты понравился Папашке. Он ведь у нас неугомонный, осердится — беда. Вначале-то он тебе еловый клык подsunул и вовсе утопить хотел, да уж потом смягчился. Он отходчивый. А шурина-то Шурка никакой не Папашка. Он самозванец и дурак.

Карпья голова снова раздраженно захлопала губами. Глаз у нее налился кровью.

— Шурин! Вот дубина! Я его давно терпеть не могу. Только и ходит в Керосиново бутылки сдавать.

— Очень важно! Очень важно! — снова пропела Лебяжья.— Очень важно, «Одуванчик», что ты всем нравишься. И мне нравишься, такой худенький, слабенький, легонький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный.

— В лодках всегда кто-то сидит,— задумчиво отозвалась Рысья голова,— неважно кто, такова лодочья судьба. Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь.

— Все-таки неприятно, когда в тебе сидит черт знает кто,— забормотала Карпья.— Как-то раз этот самый шурина-то Шурка попросил подвезти его в Керосиново, а в мешке-то у него полно бутылок. Я сдуру согласилась, поплыли, а бутылочки-то лязг-лязг, лязг-лязг. Противно было.

— Этот Плотный не лучше шурина будет,— сказала Лебяжья.— Я бы давно его выкинула и утопила.

— Пустяки,— заметила Рысья.— Утопишь, а после сядет кто-нибудь другой, еще плотнее. Да еще станет лодку веслом понукать.

— Лодка не лошадь,— каркнула Лебяжья.— Лодка сама по себе. Выкинь его, «Одуванчик», да и утопи. Сидит в тебе — только вид портит.

— А шурин-то, когда бутылки сдал,— сказала Карпья,— вздумал на обратном пути песни орать. Орал, орал, во мне-то сидючи. А после стал про каменную ногу плакать. Жалко, дескать, сиротинушку.

— Я бы эту ногу на шею ему привязала — и за борт,— сказала Лебяжья.

— Пустяки, пустяки,— вздохнула Рысья.— Впрочем, шурин и мне ужасно надоел. Жалко, нога эта очень тяжелая, до берега не дотащить.

— Да что вы все шурин да нога! Этот-то, Плотный, тоже не сахар.

— Не мед, не мед. Можно при случае и в воду.

— Очень важно, очень важно,— запела Лебяжья,— очень важно, «Одуванчик», что ты — лодка. Лодка — это самое свободное существо. Лодки свободней птиц. А у птиц вечные проблемы — кормежка, зимовки, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уж не пускаю садиться в себя. Сама по себе плаваю.

— Пустяки,— заметила Рысья,— можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сидит и пускай себе сидит. А этого, Плотного, лучше бы, конечно, утопить, да ведь неудобно. Он и придумал лодку, и построил.

— Построил? Мало ли кто чего построил?! Придумал, построил, поплавал — и конец. В воду его! Чего тянуть?

Уважительно, с достоинством проходил «Одуванчик» мимо старинных лодок. Притормаживал, кланялся. И хорошо, что не сказал ни слова, хотя имел на это полное право. А действительно, зачем самой-то легкой лодке в мире попусту болтать? Ее разговор — легкость, скорость, движение.

Плавно миновали мы причал, у которого стояли старые, тертые лодки, ушли за поворот, и скрылся лодейный берег. А все-таки не такую уж плохую построил я лодку — скромна, умна, нетороплива, верна. Господи, чего еще надо?

Вдруг я вспомнил про край глаза.

Про край-то глаза я ведь совсем забыл, а там были белые стены, башни, купола.

Я поскорее глянул на лес впрямую и не увидел ни черных елок, ни белых стен — ольха да козья ива, стога да туман над лугами.

Проворонил, проворонил, увлекся лодейной болтовней. А ведь, наверно, стены эти и купола было самое важное. В краю-то глаза всегда бывает самое важное.

Глава XXXIV

РАЗГОВОР КРАЯМИ

Туман растекался от берегов реки, уходил по лугам на лесные поляны. «Одуванчик» плыл по течению. Он не тыкался носом в берега, обходил острова и коряги.

Я так и не трогал весла. Весло — это приказ для лодки, весло — точное направление, а откуда я сам-то знаю точное направление?

Долго мы плыли — всю ночь, а берега реки как-то особенно не изменились. Все будто то же самое — и кусты козьей ивы, и луга, и стога. И главное — солнце. Оно подымалось медленно за туманом — розовое и молочное, но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось.

Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит речка Акимка? Неужели все бежит по одному и тому же лугу?

Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Шуршурина, ей-богу, шуршурина, только с другой стороны. И на эту сторону он навешал сушеных грибов да соленых окуней. Огромную петлю по лесам и лугам совершила за ночь речка и снова вернула меня к дому шурина Шуры.

Ладно, хватит с меня шуршуриных крыш. Повернись-ка к ней боком, погляжу краем глаза. Может, пронесет? Может, не заметят?

— А я тебя давно поджидаю, — слышался голос. — Речка-то все кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть. Вот я и жду.

«Край глаза, — думал я, — вот важная штука. Вон в краю глаза виден художник Орлов. Стоит себе на берегу, усы топорщит. Интересно глядеть краем глаза. Надо как-то научиться еще и говорить краями. Хватит с нас этих прямых разговоров. Будем говорить краями».

— А ты-то, наверно, и не ожидал, что река так кружит? — сказал Орлов. — Думал — уплыл навеки, а оказался на старом месте. — И Орлов засмеялся. — Что ж ты молчишь-то? — сказал он. — Небось не ожидал?

«Надо что-то ответить, — думал я, — но ответить краем. Только с какого же края приступить к ответу?»

— Так что, ожидал или не ожидал? — повторял Орлов.

— А туман-то, парень, пожалуй, развеивается, — ответил я и почесал в затылке.

Край, за который я для начала ухватился, лежал на поверхности, в будущем надо было как-то углубляться.

— Давай-ка вот сюда. Здесь удобно пристать, песочек.

— Табаку вот только мало, — сказал я, — и спички отсырели.

Орлов пока не понимал, что я разговариваю с ним краями. Он забрел в воду и, когда «Одуванчик» проходил мимо, ловко ухватил лодку за нос.

— Я все-таки решил с тобой плыть,— сказал Орлов.— У шурина мне делать нечего. Не грибы же с Кларой собирать. Пускай капитан собирает Его-то место в лодке пока свободно? Так, что ли?

— Вот только лопаты нету,— заметил я,— придется щепкой ковырять.

— Какой лопаты? — поражаясь, спросил Орлов.— Чего ковырять?

— Потому что червь для язя — первое дело,— сказал я.— Да и окунь червя уважает. Ну а язь не возьмет — так на уху всяко сорожонки надергаем.

— Так ты чего? Я не понял: берешь меня с собою или нет?

— Надо, парень, червей копать. Никуда не денешься.

Орлов замаялся, не зная, как понять края моего разговора. А я краем глаза видел, что он действительно готов в плаванье. За плечами его был рюкзак, в руке — удочки, забрал, видно, у шурина свои вещички.

— Щепкой наковыряем,— сказал наконец он и, перешагнув через борт, устроился на капитанском месте.

— Долго же ты плавал,— сказал он.— Всю ночь. А я поспал и пошел тебя встречать. А вот червей накопать не догадался, у шурина-то лопата есть. Я уж точно знал, что ты покрутишься, да и назад вернешься. А если сам не захочешь, река тебя вернет. Так ты что — сам вернулся или река вернула?

— А без окуня какая же уха? Без окуня — не уха, а так — рыбный суп. А от сорожонки чего? Сладость, и все.

— Это верно. Без окуня какая же уха,— слышался на берегу голос капитана. В краю глаза, в кустах таволги маячил на берегу капитан-фотограф, рядом с ним светилось призрачное голубое пятно, которое в краю глаза пока что не умещалось.

— Вы что же это, поплыли? А нас бросили? — спросил капитан.— Мы тоже с вами.

— Куда это? — недовольно сказал Орлов.— Лодка перегружена. Вам никак не влезть.

— А мы рюкзаки на руки возьмем,— сказал капитан.— А сами на место рюкзаков сядем.

Орлов молчал. Я хотел сказать что-нибудь каким-нибудь краем, да края-то мои почти что исчерпались. Ну, одну, две фразы я бы еще мог найти, но ведь не больше.

— Так вы что же? Не согласны, что ли? Бросаете нас? — настойчиво сказал капитан.— Если не согласны, так и скажите.

— А туман-то, парень,— сказал неожиданно Орлов.— Туман-то, пожалуй, развеялся.

Ломая кусты таволги и молочая, капитан-фотограф вылез на берег, хлюпая по воде огромными сапогами, вошел в воду, ухватил лодку за борт Голубое и призрачное пятно потихоньку пробивалось за ним.

— Убери-ка ногу,— сказал капитан Орлову.— И эту убери, вот сюда передвигайся, сюда, сюда, на пассажирское место. Рюкзак будешь в руках держать.

Орлов молча задвигался, а капитан сопел и ковырялся в лодке у меня за спиной. Я как-то не обращал на все это внимания и даже отключил от всех этих дел края своих глаз. Я глядел на поверхность реки — не выйдет ли и вправду язь. Должен он здесь быть, должен. Вполне на вид язевая речка. Как ни крути, а уху-то варить надо.

— Снимай кеды,— командовал за спиною моей капитан.— Босиком заходи в речку, вода теплая. Ну а теперь залезай.

Колыханье, шелест за моей спиной усилились, лодка закачалась, осела в воде.

— Потонем,— сказал Орлов и ткнул меня в спину.— Пойдем ко дну, как миленькие.— Они оба залезли.

Глубоко, очень глубоко погрузился в воду «Одуванчик». И все-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз — все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы.

И он держался. Когда все уселись, отошел потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть, не важно, тонет она или плывет.

Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами.

— Только бы волны не было,— сказал капитан.— Для нас волна опасна.

— Какое счастливое утро,— сказала Клара.— А я никогда в жизни не плавала на лодке.

— Ты-то что молчишь? — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину.— Потонем или доплывем?

— Конечно, язь и на майского жука берет,— ответил я.— Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?

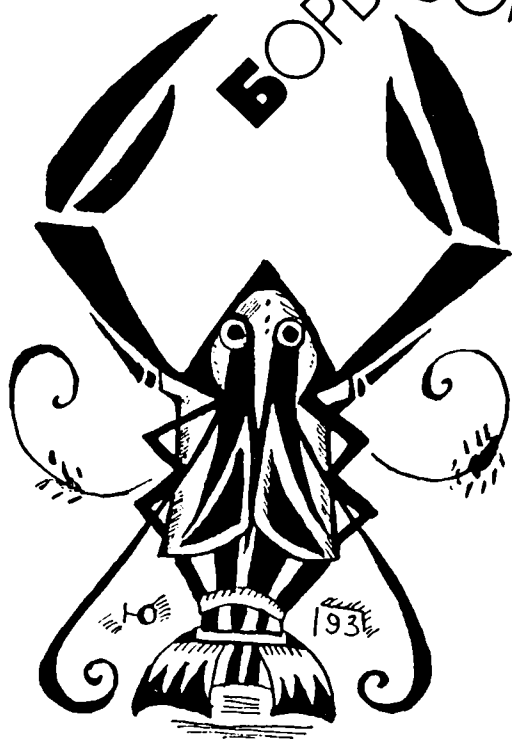


БОРЬБА

БОРЬБА

БОРЬБА

Рассказы



ОТ ДРУГА-ИЗДАТЕЛЯ

У Коваля все талантливо, даже старший брат и его воздушная невеста. Про это будет в маленькой изумительной повести «От Красных ворот».

У Коваля талантливы собаки, птицы, рыбы, деревья, вода...

В 70-е годы, когда российскую словесность выгладил стилевой штиль, в небольшой лагуне под названием детская литература веселились, играли и пели живые, упругие токи интонации, ритма. Это была заводь Коваля, где жила проза.

Что такое настоящая божественная проза, может быть, и мало кто понимает, но чувствовать ее дано талантливым читателям, которые делают ее талантливыми, читая прозу Коваля.

Юрия Коваля любят дети и матери детей. И даже иные отцы. У него все талантливо. Сейчас, когда я пишу о Ковале, у меня внутри пробиваются ростки таланта.

ВЯЧЕСЛАВ КАБАНОВ

ЧАЙНИК

Меня не любит чайник.

Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла.

По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плкнется от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но тут я выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается.

Приходит Петрович. Прислоняется к шкафу плечом.

— Неплатеж,— говорит Петрович.

Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мною и Петровичем.

Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мною он или с Петровичем?

— Длительный неплатеж,— говорит Петрович.

Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит. Ему наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживет.

— Когда заплатишь? — спрашивает Петрович.

— Понимаешь,— объясняю я,— меня не любит чайник.

— Кто? Это который вчера приходил? Чего это вы орали?

— Чайник, Петрович. Который вот он здесь стоит. Вот этот, латунный.

— А я думаю, чего они орут? Наверно, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить.

— У меня с ним странные, очень напряженные отношения,— жалуясь я.— Он постоянно следит за мной, требует, чтобы я его беспрерывно кипятил. А я не могу, пойми! Есть же и другие дела.

— И колбаса осталась,— удивляется Петрович, глядя на стол, не убранный с вечера.— До двух часов орали! Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали.

Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить.

— Вот слышишь? Слышишь? Погоди, еще не то будет,— говорю я.

Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос. А внутренний его голос говорит:

«Чего слушать? Надоело! Плати или съезжай!»

Чайник отчего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору.

У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов: угол, где я, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас и Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним:

— На колбасу деньги есть! Колбаска, хлеб, культурное обслуживание, орут до четырех утра! А нам преподносится неукоснительный неплатеж!

Почему молчит чайник? Делает вид, что даже и не слышивал о кипении.

— Молчит,— поясняю я Петровичу.— Нарочно молчит, затаился. И долго еще будет молчать, такой уж характер.

— А то сделаем, как прошлый раз,— намекает Петрович.

Ну и выдержка у моего чайника! Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не доносится из-под крышки.

А в прошлый-то раз было сделано очень плохо. За длительный трехмесячный неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, построил из них шалашик и поджег. Холсты, говорят, разгорались плохо, и особенно не разгорался натюрморт с чайником. Такую уж залепил я на нем фактуру с песком и толченым кирпичом. И Петрович отбросил его, чтоб не мешал гореть бумаге. Опаленный и осыпанный пеплом, метался я по городу и не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить.

— Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит? — говорит Петрович.

Нервы у чайника натянуты до предела, он цедит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук.

Я отодвигаюсь подальше. Знаю, что с моим чайником лучше не связываться, он беспредельник. Может выкинуть любую штуку.

— Или плитка перегорела? — говорит Петрович и подходит к чайнику.

— Осторожно,— говорю я.— Берегись!

Петрович отдергивает руку, но поздно.

Крышка срывается с чайника. Раскаленные ошметки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослепленно воет и вываливается на кухню, сует голову под кран.



Чайник веселится, плюется паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет.

Надо бы, конечно, выключить плитку, посидеть и подумать, как же мне жить дальше. Как жить дальше — неизвестно, а чайник, ладно, пускай пока покипит.

КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды». От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копченого леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугуны картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на теплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда кого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вел продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался еще и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Кубика, которому некуда было приткнуться.

Весной и летом я жил неподалеку от Томилино на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем ни сада, ни дачи — росли две елки, под которыми стоял сарай и самовар на пенке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

— Яблоки, а не картошка! — расхваливал он свой подарок. — Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает новое сизое и кудрявое дерево — самоварный дым.

— Надо тебе собаку завести, — говорил Аким Ильич. — Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека.

Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы — во! Башка — во!

— Что за имя — Тузик. Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

— Тузик — хорошее имя, — спорил Аким Ильич. — Все равно как Петр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря — не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли теплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под елками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намаливает мои щеки, чтоб побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

— Это тебе подарок! — кричал откуда-то сбоку¹, Аким Ильич. — Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок — Тузик насканивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

— Посмотри-ка, — сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в коже. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам

Тузик был велик и черен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два желтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая, мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей — вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк,

Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно — злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

**ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!**

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака — вот ужас-то!

В дачном поселке скоро прошел слух, что картофельная собака — штука опасная.

— Дядя! — кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. — А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглер, ловил ее на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дернул поводок — Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

— Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не колесо, а именно батон толстой вареной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

...По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

— Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдет разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич. Сердечно улыбаясь, шел он от калитки с мешком картошки за плечами.

Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

— Жирная, — сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

— Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился веселый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

— Понял или нет?! — сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

— Что делать-то с нею? — спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

— Подождем, пока придет хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиме Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать ее фуганком. Он работал легко и красиво — фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

— Курица тухнет!

Громила Тузик прилег под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

— Курица тухнет!

— Так что ж делать?

— Надо курицу ощипать, — сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

— Заводи-ка, брат, костер. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

— Пошамаем, как люди,— сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас — лесной костер, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

— Эй, товарищи! — слышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

— Эй, товарищи! — кричал он. — Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятиями кинулся к забору.

— В чем дело, земляк? — крикнул Аким Ильич.

— В том, что эта скотина, — тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, — утащила у меня курицу.

— Заходи, земляк, — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, — чего через забор попусту кричать.

— Нечего мне у вас делать, — раздраженно сказал хозяин курицы, но в калитку вошел, опасливо поглядывая на Тузика.

— Сядем потолкуем, — говорил Аким Ильич. — Сколько же вы кур держите? Неверное, десять?

— «Десять»... — презрительно хмыкнул владелец, — двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

— Очко! — восхищенно сказал Аким Ильич. — Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав. — Мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

— Не знаю, — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

— Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

— Я с этой картошкой совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, что сам не кушаю. Курам варю. А сам всё макароны, макароны...

— Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. — Так ведь у нас целый мешок. Бери.

— На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

— Картошка хорошая! — лукаво кричал Аким Ильич. — Яб-

локи, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с нее мундир, сказавши: «Пирожное».

— Нешто попробовать? — засомневался владелец курицы. — А то всё макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил ее хозяйственно и надкусил.

— Картошка вкусная, — рассудительно сказал он. — Как же вы ее выращиваете?

— Мы ее никак не выращиваем, — засмеялся Аким Ильич, — потому что мы работники картофельных складов. Она нам платится как паяк. Насыпай сколько надо.

— Пусть ведро насыплет, и хватит, — вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

— У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к елке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дергал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошел месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завел себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на свое лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обмалыжник на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками — с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузика на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстегивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса? Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня.

Когда же он подбегал поближе, я вдруг с ревом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клался зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с нее и растерзать вошедшего.

— Собак распускаете! — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашелся что ответить. Сержант смеялся мной взглядом, прошелся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

— Это вы Пичугин?

— Да нет, — растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то чиркнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной прической».

— На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

— Всего одну курицу, — уточнил я. — За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

— Это очень мирная собака, — заметил я.

— А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил ее Тузику. Тузик ловко перехватил ее в полете и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

— Странное животное, — подозрительно сказал сержант. — Картошку ест сырую. А погладить его можно?

— Можно.

Только тут я понял, какой все-таки Тузик великий актер. Пока сержант водил рукою по нечесаному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные



собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнет сержанта в руку, но Тузик удержался.

— Странно,— сказал сержант.— Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я ее вдруг глажу.

— Тузик чувствует хорошего человека,— не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

— Растрёпин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

— Ну, молодец, молодец,— сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

— Еще одна курица,— крикнул издали сержант,— и всё! — протокол!

Но не было больше ни кур, ни протоколов. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику — на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик упрямо брел следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопухими чернушками, да что-то все мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось.

Я все-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал ее терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы ^{уже} наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних ^{двух} дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к ^{отъезду}: увязывали узлы, обрывали яблоки.

— Хороший год, — говорил Аким Ильич, — урожайный. Яблочков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть не у каждого в руке был осенний букет.

Прошел товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровагон взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

— Ну чего ты расстроился? — говорил мне Аким Ильич. — В твоей жизни будет еще много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

— И так ~~яблоку~~ негде упасть, — ^{закричали} на нас в тамбуре, — а эти с собакой!

— Не волнуйся, земляк! — кричал в ответ Аким Ильич. — Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.

КАПИТАН КЛЮКВИН

На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клест-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые — значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

— Сиделый, сиделый, — уверял меня продавец. — С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клест мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольниковских домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клест сидел на своей жердочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жердочки, взмахнул клювом — семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, прищипорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв — крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя вверх. Получается что-то вроде буквы Х. Этой буквой Х клест лихо хватает подсолнух — трах! — шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, — к л ю к в а.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста — Капитан Клюквин.

Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал беспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся все же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цык...» — услышал я.

Потом еще:

«Цык, цык...»

«Убогая песня,— думал я.— „Цык“ — и все. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цыкать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он переживал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист стоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макароны!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиуууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Все утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давлеными кедровыми орехами и коноплей.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зеленым, лесным, моховой.

И характер у Капитана был веселый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуйку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрепанного воробья. Скоро от нее оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузину жердочку — своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук. Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чем дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его.

Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и легкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд.



Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клест мигом разгрыз его.

— А теперь еще,— сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки ¹⁹¹⁷покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из нее и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решился лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры — темные рыбки, рассеченные золотой полосой.

Подводный мир заморозил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а клест полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломятый, упал вниз, на крышу клетки...

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит — вроде ручеек журчит.

У меня ручейка не получалось, вернее, тек он слишком уж медленно, но все-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнесся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищенно цокал.

Но скоро он перешел в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось злое цыканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, принаравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клест поет бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело все это не так уж прекрасно — корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришел в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном Доме детей железнодорожников.

Теперь ручеек потек более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда — печальной.

А я по-прежнему пилил одно и то же.

Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клест сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашел даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от нее крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдиравать ее от грифа. Однако шишка — хе-хе! — была прикручена проволокой. Пришлось долбить ее на месте.

Подождав, пока клест хорошенько вработается, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлек ее по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, все ближе подбывая к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздраженно помахав крыльями, он пошел пешком по грифу доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту — задребезжала шишка, а клест подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу.

Синицы увертывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жердочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилетом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара — милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течет подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж,— думал я,— ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окруженной елками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме — напрасно разыгрывал я пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные,— думал я.— Придется, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно,— решил я.— Пусть сам выбирает»

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные венниками, повсюду натывал еловых веток.

Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил ее на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Капитан мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на ее крышу, клюнул зачем-то железный прут и... полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья — и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли теплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.

БЕЛОЗУБКА

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полевки. Темней. И главное — нос! Лопаточкой, как у крота.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбки косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а все-таки мышь,— думал я.— Пусть знает свое место».

А место ее было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезла и на другой день.

Да, это была не простая мышь! И главное — нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слышал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других — белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал, а заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал ее — Белозубкой — наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть все это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у нее тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щелкнул ее пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» — закричала Белозубка.

Прижав к груди сухарь, она подтащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколот стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах ее, под гнилым кедровым бревном, было еще много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать ее, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл ее стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в граненую стенку.

«Посидишь немного,— думал я.— Надо тебя поучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай — нет ли там снега,— но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли короткие усы.

Дядя Белозуб обошел стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под граненый край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может



случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руках третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таежной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, все так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно все обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном,

сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчиненных спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик — хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошел перевернутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцами. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съездившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! — докладывал, наверно, он королю Землерою. — Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? — удивился, наверно, Землерой. — В таежной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него еще стаканов?»

«Еще один, треснутый. Но есть под нарами трехлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру все-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошел поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил поддержать их еще немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашел я сухую пихту и, пока рубил ее, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушел, — докладывали в это время лазутчики королю Землерою. — Сушину рубит и долго еще провозится. Ведь надо ее срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», — предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», — согласился Король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал — огонь из печки освещал избушку. Огненные

блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьет», — докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое — чага?» — спросил Король.

«Это — древесный гриб. Растет на березе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», — пояснил королевский Лекарь-Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущенно раздувал щеки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, — говорила Белозубка. — Что было — то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! — хлопнул в ладоши Король. — Эй, квасовары, кваса!»

Толстенские квасовары прикатили бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только Сыщик строго приняхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споет!» — крикнул Король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

Я ничего от вас не скрою,
Я все вам честно расскажу:
Всю жизнь я носом землю рою
И в этом счастье нахожу.

Свое я сердце вам открою:
Я всех готова полюбить,
Но тот мне дорог, кто со мною
Желает носом землю рыть.

«Мы желаем! Мы желаем!» — закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! — крикнул кто-то. — Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горячей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, Лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на веревочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

Да здравствует мышиный дом,
Который под Гнилым Бревном.
Мы от зари и до зари
Грызём в том доме сухари!

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», — сказала Белозубка.

«Спокойной ночи», — сказал Землерой. — Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал все внимательно, забрался даже на стол, пробежал по нарам и, наконец, пропал.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду — на земле, на деревьях, на крыше — лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать — бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подниматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

НУЛЕВОЙ КЛАСС

Приехала к нам в деревню новая учительница. Марья Семеновна.

А у нас и старый учитель был — Алексей Степанович.

Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходят вместе по деревне, со всеми здороваются.

Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексей Степанычу бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке. К ней никто и не бежит — обидно.

Алексей Степанович говорит:

— Бегите-ко до Марьи Семеновны.

А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И, действительно, серьезно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются.

— Мы ее пугаемся, — братья Моховы говорят. — Она бруснику моет.

Марья Семеновна говорит:

— Ягоды надо мыть, чтоб заразу смыть.

От этих слов ученики еще сильнее к Алексей Степанычу жмутся.

Алексей Степанович говорит:

— Что поделаешь, Марья Семеновна, придется мне ребят дальше учить, а вы заводите себе нулевой класс.

— Как это так?

— А так. Нюра у нас в первом классе, Федюша во втором, братья Моховы в третьем, а в четвертом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут.

— И много? — обрадовалась Марья Семеновна.

— Много не много, но один — вон он, на дороге в луже стоит.

А прямо посреди деревни, на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачев. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтоб вся вода из лужи вытекла.

— Да он же совсем маленький, — Марья Семеновна говорит, — он же еще глину месит.

— Ну и пускай месит, — Алексей Степанович отвечает. — А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они ведь тоже глину месят.

Тут Марья Семеновна подходит к Ванечке и говорит:

— Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс.

— Сегодня некогда, — Ванечка говорит, — запруду надо делать.

— Завтра приходи, утром пораньше.

— Вот не знаю, — Ваня говорит, — как бы утром запруду не прорвало.

— Да не прорвет, — Алексей Степанович говорит и своим сапогом запруду подправляет. — А ты поучись немного в нулевом классе, а уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семеновна буквы тебе покажет.

— Какие буквы? Прописные или печатные?

— Печатные.

— Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные.

На другой день Марья Семеновна пришла в школу пораньше, разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала, ждала, а Ванечки нет. Тут она почувствовала, что запруду все-таки прорвало, и пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом запруду делал.

— Телега проехала, — объяснил он. — Приходится почи-
нять.

— Ладно, — сказала Марья Семеновна, — давай вместе запруду делать, а заодно и буквы учить.

И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву «А» и говорит:

— Это, Ваня, буква «А». Рисуй теперь такую же.

Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву «А» и прочитал:

— А.

Марья Семеновна засмеялась и говорит:

— Повторение — мать учения. Рисуй вторую букву «А».

И Ваня стал рисовать букву за буквой и до того зарисовался, что запруду снова прорвало.

— Я букву «А» рисовать больше не буду, — сказал Ваня, — потому что плотину прорывает.

— Давай тогда другую букву, — Марья Семеновна говорит. — Вот буква «Б».

И она стала рисовать букву «Б».

А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семснвна с Ваней расступились, и председатель не только запруду прорвал своими колесами, но и все буквы стер с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит занятие нулевого класса.

Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, все вниз и вниз в другую лужу, а потом в овраг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далекое море.

— Эту неудачу трудно ликвидировать, — сказала Марья Семеновна, — но можно. У нас остался последний шанс — буква «В». Смотри, как она рисуется.

И Марья Семеновна стала собирать разбросанную глину, укладывать ее барьерчиком. И не только сапогами, но даже и руками сложила все-таки на дороге букву «В». Красивая получилась буква, вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре.

— Я, Марья Семеновна, вот что теперь скажу, — заметил Ваня, — к вашей букве «В» надо бы добавить что-нибудь покрепче. И повыше. Предлагаю букву «Г», которую давно знаю.

Марья Семеновна обрадовалась, что Ваня такой образованный, и они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали.

На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семеновну

— Жэ! Зэ! — кричали они и месили сапогами глину. — Ка! Элы! И краткое!

Новая и невиданная книга лежала у них под ногами, и все наши жители осторожно обходили ее, стороной объезжали на телеге, чтоб не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своем газике так аккуратно, что не задел ни одной буквы.

Теплые дни скоро кончились. Задул северный ветер, лужи на дорогах замерзли.

Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марью Семеновну. Они сидели на бревнышке на берегу реки и громко считали:

— Пять, шесть, семь, восемь...

Кажется, они считали улетающих на юг журавлей.

А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, еще учимся.

НОЖЕВИК

В бестолковых моих скитаниях по вечновечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами.

Этот, подошедший в сумерках к моему костру, ножа при себе не имел.

— Картошечки пекёте? — спросил он, подсаживаясь в сторонке от огня.

— И уху варим, — добавил я во множественном числе, хотя и был один без товарища, на двести верст кругом.

— Я и говорю: рыбоуды. Такой дым у костра — рыбоудский. Я, как издали увидел, так и говорю: рыбоуды... А где же товарищ ваш?

Отвечать правду отчего-то мне не захотелось.

— Товарищ-то?.. А там товарищ, — кивнул я в сторону реки.

С реки и вправду доносились какие-то звуки: голоса женщин или крики чаек? Вполне возможно, что там, в этих голосах, находил место и мой какой-то товарищ.

— А что он, товарищ-то ваш, рыбку удит?

— Да нет, — ответил я, прикидывая, какой там в дальних звуках мог быть у меня товарищ, и пытаюсь его себе представить. — Товарищ-то мой, он... нож ищет.

— Нож?! Потерял, что ли?

Не знаю, откуда я взял этого «товарища» и почему сказал, что он ищет нож. Это был бред, внезапно возникший в голове. Надо было отвечать и проще всего сказать, что «товарищ мой» нож потерял. Однако отчего-то мне не захотелось, чтоб «товарищ мой» терял свой нож.

— Да нет, не терял он нож,— сказал я, отмахиваясь от дыма, вылавливая ложкой картофелину из котелка.— Он с этим ножом...

Тут я замолчал, потому что не знал, что он делает, «товарищ-то мой», с этим ножом. Сидит, что ли, на берегу и точит о камень?

— ...вообще носится, как с писаной торбой,— закончил я не понятную никому ворчливую фразу. Я как бы сердчал на своего «товарища», который надоел мне со своими глупостями и особенно с ножом.

Подошедший к костру как-то по-своему меня понял, придвинулся к огню поближе. Это мне не понравилось. Навязчивый очень к ночи. Никакого доверия и дружбы не вызывал этот сумеречный, худощавый, как тень, человек. Что бродит он по чужим кострам?

— У вас тоже хороший нож,— сказал он, кивнув на мою финку, облепленную чешуей подлещиков, которая валялась у костра.

— Да это так... финка,— ответил я, намекая, что у моего товарища ножичек похлеще. Вот только что же он с ним сделал? Почему ищет?

Может, он его метал? Куда метал? В дерево? Зачем? Совсем дурак? Возможно.

Нет, мне не хотелось, чтоб товарищ мой был таким дураком, который мечет ножи в деревья. Может быть, он его мечет в рыбину, вышедшую на поверхность? В жереха? А ножик на веревочке? Неплохо. Редкость, во всяком случае,— товарищ, который мечет нож в жереха, вышедшего на поверхность реки! Такой мне по нраву.

— Финка... У меня тоже когда-то была...— сказал сумеречный человек и взял в руки мою финку, пощупал лезвие подушечкой большого пальца.— Вострая...

— Положь на место.

— Что ж, и потрогать нельзя?

— Нельзя... Это нож... моего товарища.

Товарищ мой мифический, кажется, обрастал ножами. Один он метал в жереха, второй валялся у костра.

— У него что ж, два ножа?



— Больше,— ответил я.— Я точно не считал. А у вас есть нож?

— Отобрали,— махнул он рукой.

— Отобрали?

— Когда брали — тогда и отобрали... а нового не успел завести...

Вот так. Его, оказывается, брали. Я это сразу почувствовал.

Сумеречный человек молча смотрел на огонь. Кажется, вспоминал задумчиво о том славном времени, когда у него еще не отобрали нож. Интересно, что он делал этим ножом? Похоже — ничего веселого. Разговор о ножах мне нравился все меньше и меньше.

— А зачем товарищу-то вашему столько ножей?

— Андрюхе-то? — переспросил я.

Мне казалось, что «товарищу моему» пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто: Андрияха. Рыжий, большой, даже огромный Андрияха, немного лысоватый. Метнул нож в жереха, да не попал.

Нож хоть и на веревочке, а утонул, и вот теперь Андрияха ныряет посреди реки, ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрияха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами.

— Что ж он делает с ножами-то? — отчего-то хихикнул сумеречный. — Солит, что ли?

— Мечет, — лаконично ответил я. И все-таки добавил, пояснил: — В жереха!

Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряженно размышляя, каким образом Андрияха может метать нож в жереха. Работа эта проходила с трудом, и я, чтоб поддержать усилия, добавил:

— Он у нас... вообще... ножевик.

Это слово особой ясности не внесло, и я отошел немного от костра и покричал в сторону реки:

— Андрияха-а-а... Андрияха-а-а!..

С берега никто не ответил. Голоса женщин или чаек давно уже там утихли.

— Как бы не утоп... — пробормотал я себе под нос.

— Да не утопнет, — успокоил меня человек, лишенный ножа, — сейчас подойдет.

— Пора уж, — ворчал я на Андрияху. — Уха готова... ладно, пускай пока поостынет.

Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пар от ухи не стал смешиваться с дымом костра, встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидая, как видно, Андрияху.

— Ладно, — сказал я, — остынет... похлебаем, пока нет Андрияхи. А ему оставим.

Я протянул ложку сумеречному.

— Ну, давай, пробуй.

— Да уж дождись товарища-то, — сказал он, встал и быстро пошел от костра в сторону деревни.

— Эй, да погоди ты, стой. Попробуй ухи, тут на всех троих хватит

— Да ладно, — не оглядываясь, махнул он рукой.

Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропала, удаляясь от меня в поле. Скоро ее уже не было видно.

Я хлебнул ухи, подсоллил, поперчил. Потом отошел немного от костра и снова крикнул туда, в сторону реки:

— Андрияха-а-а-а... Андрияха-а-а!..

Совсем уже стемнело, когда я услышал издалека:

— Иду-у...

«КОГДА-ТО Я СКОТИНУ ПАС...»

Завернутая в крафт, натертая крупной желтой солью, в рюкзаке моем лежала нельма.

Было жарко, и я часто развязывал рюкзак, принюхивался — жива ли?

Кроме нельмы в рюкзак вполне вмещался небольшой корабельный штурвал. Нельма и штурвал да несколько этюдов — достойные приметы путешественника, возвращающегося домой из плаванья по северным озерам.

Билет на поезд до дома был куплен заранее, оставалась ночь в чужом полупортовом городе. Денег не осталось. Я наскреб мелочи, купил полбуханки хлеба и пошел в инспекцию рыбоохраны. Рабочий день кончился, но в условленном месте мне припрятали ключ.

В инспекции было пыльно. В углу, как жучок, скрежетал репродуктор. Пристроившись под графиком отлова судака, я вынул из рюкзака штурвал.

Старой он был работы, шоколадного с зеленцой дуба и в медных заклепках. Одна рукоятка обломалась, вероятно, от напряжения капитана, и штурвал списали на берег. А я как раз стоял тогда на берегу и обогрел старого морехода.

Я ел хлеб и смотрел на штурвал. Пробовать нельму мне пока не полагалось. Я хотел привезти ее в Москву и показать друзьям, которые в глаза не видывали нельм. Я заранее веселился, представляя нельму в кругу друзей, и сочинял стихи про штурвал.

Когда-то я скотину пас,
Сажал в садах фасоль.
Теперь держу в руках компас,
Держу в руках буссоль...

Пожалуй, с «буссолью» я поторопился. В ней было мало корабельного, да и желаемый штурвал не попадал в балладу. Сомневаясь, промеряя варианты, одиноко усмехаясь над своей поэзией, я коротал скучнейший вечер в конторе.

Когда-то я скотину пас,
В лугах ромашку рвал...

Почему-то никак не мог я отделаться от этой «скотины», которую якобы пас.

Скрипнула дверь, вошла уборщица — белобрысая девка с ведром и тряпкой в руках. Поставила ведро, бросила тряпку и

стала подтягивать и подтыкать платье, прямо надо сказать, довольно-таки высоко.

Я пока не ввязывался в дело и тихо ел хлеб. Она ворчала и бурчала про себя, осматривая пол конторы, заляпанный глиной с рыбацких сапог.

— Скотный двор, — сказала она и тут заметила меня.

Туповатое напряжение сковало ее лицо. Она, видно, соображала, откуда я мог взяться. Напряжение не приносило плода, взяться я ниоткуда не мог. Полноватая светлоглазка, она была, как говорят, немного сырая, что вполне соответствовало профессии.

Я ел хлеб, не собираясь особо разговаривать. В конторе я ночевал незаконно, и меня легко было выставить на улицу.

Скромно и незаметно, без натуги, двумя пальцами она опустила подол.

— Хочешь огурчика малосольного? — спросила она.

Эти слова звучали, кажется, неплохо. Открывать, однако, рот не захотелось, и я кивнул: дескать, давай. Почему-то я решил быть строгим.

Она вышла в коридор и тут же вернулась. Огурцы в трехлитровой банке ожидали ее, оказывается, за дверью.

— Сама солила? — спросил я. Толково спросил и строго. Для начала разговора это был нужный вопрос.

— Сама, — кивнула она и присела к столу.

Я выудил огурец.

Посол оказался умеренным. Какой-то тихий посол, женский. В нем чувствовалась близость северных озер и влияние девятнадцатого века.

— У тебя что — денег нет? — спросила она.

Завязался все-таки разговорчик, и она продолжила его остро. Надо было ответить со строгостью хотя бы средней силы. Я долго думал, играя с огурцом.

— Есть, но не здесь и мало.

Некоторое время она молчала, переваривая предложенную мною кашу.

— Дать трешку?

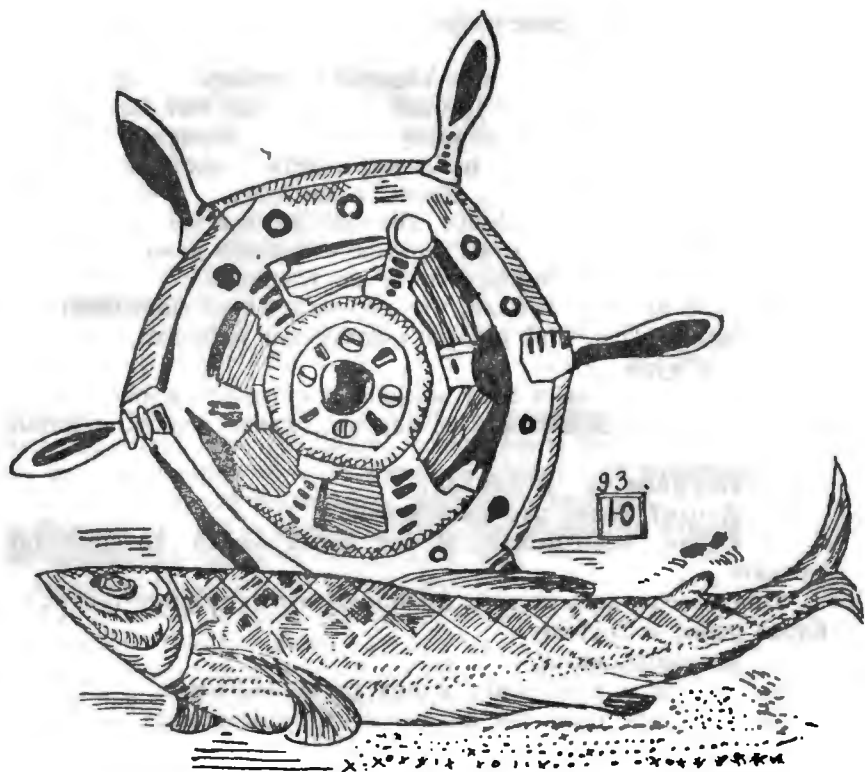
Я отвлекся от огурца. Она улыбалась. Кажется, она простирала ко мне нечто материнское. В серебряных ее глазах заключалась и печаль с оттенком лукавства. Хотя в серебре ни лукавства, ни печали прежде нами не наблюдалось. Она ожидала, клюну ли я на трешку, как клюнул на огурец.

— А ты что, кому попало даешь? — грубовато нашелся я.

— Кому попало, — вздохнула она.

— Тогда не надо.

Разговор забрел в кривое русло, которое могло свернуть и в сторону неудачной семейной жизни. Она могла свободно начать



рассказ, как были неправы те, кому она давала трешки. А они, конечно, были неправы. И я буду неправ. Надо было поворачивать штурвал разговора на несколько румбов правее.

— Вот! Посмотри, что я везу! — сказал я, поворачивая разговор в сторону штурвала и указывая на него.

— Руль?

— Лурь, — передразнил я. — Это штурвал. С Белого озера. А вот послушай песню.

Я взял штурвал, завертел его перед собой и слегка припел:

Когда-то я скотину пас... и т. д.

Пел я весело, полагая, что она вполне достойна моей новоиспеченной мореходно-пастушьей песни. Это было как бы наградой за возможную трешку и реальные огурцы. Во всяком случае, когда поешь песню и не берешь трешку — это большая человеческая правота.

— Я бывала на Белом озере, — сказала она, не замечая правоты и пасомой мною скотины. — Плавала там с детьми на теплоходе.

— А я прошел Белое озеро вдоль и поперек. Понюхал белозерского снетка.

— И знаешь, что я там видела? Затопленную церковь... Дети бегают и радуются! Домик! Среди воды! Вот бы в таком пожить, прямо из окошка рыбу ловить! А взрослые грустно смотрят. Когда подплыли поближе, и дети перестали кричать. Окна мрачные и пустые... Дыры, а не окна.

Это место на Белом озере, которое называется Крохино, я, конечно, знал. Затопило там деревню — уплыли дома, а церковь осталась стоять. Странно, что ее не взорвали.

— Я-то вначале думала, что кто-то нарочно построил церковь прямо в воде, чтоб рыбаки подплывали на лодках или прятались от бури.

Она отвернулась в этот момент и смотрела в окно. Я не видел, что там делается в ее серебре, какие возникли новые детали.

— Неужели так и думала?

— А что? Разве это невозможно?

— Сейчас невозможно. И нет таких людей, которые так думают.

Она повернулась ко мне, и я понял, что серебро потускнело, блеск ушел в глубину.

— А может, есть?

— А если и есть — нет у них силы построить.

— А у тебя была бы сила — ты бы построил?

— Храм посреди волн?

Я задумался. Слишком углубиться в эту идею мне не удавалось. Только что писал стихи про штурвал, ел огурцы, и тут же строить храм средь волн было нелепо. Пожалуй, в этот момент я был способен на скромное строительство, не шире шалаша, и желательно на суше.

— А как тебе песня? — спросил я, уходя в сторону от строительства храма. — Сам сочинил.

— А когда ты коров-то пас?

— Не коров! Не коров! Скотину!

— Телят?

— Да вообще всякую скотину... понимаешь?.. Скотину вообще.

— И долго ты пас-то?

— Два года, — неожиданно ответил я.

— Прирабатывал?

Нет, это было невозможно.

— Ладно, — сказал я, — я не пас никакой скотины.

— И фасоль не сажал?

— Сажал, — снова неожиданно ответил я. — Но редко, только в крайних случаях.

Она тихо задумалась, соображая, в каких таких крайних случаях люди сажают фасоль.

— Бывало, как построю храм на воде,— сказал я,— сразу фасоль сажаю, так что скотину пасти некогда.

Она все-таки улыбнулась. Материнские струны снова звякнули в серебре.

— Смеешься?

— Не смеюсь, но скажу честно: строить храм мне не по силам. Скотину я не пас и фасоль не сажал. И штурвал-то крутил всего два часа. Но сейчас я тебе кое-что покажу,— и я достал из рюкзака нельму.

Бечевка, которой был завернут сверток, оказалась жирной на ощупь и, видно, тоже просолилась. Крафт-крафт — я развернул рыбину.

От соли чешуя нельмы еще потемнела, пасмурно засветились ее бока. Цельная, неразрезанная, нельма была бы уместна на старом столовом серебре. Нож, которым я взялся ее разрезать, выглядел откровенной железякой, жидкой и белесой.

— Боже, что это? — спросила она, как видно, не находя в нельме признаков рыбы.

— Нельма. Рыбаки мне подарили.

— Такое кому попало, наверно, не дают,— сказала она, глядя на меня с уважением.

Нельма жирно вздрагивала под ножом, выскальзывала из-под лезвия, и я водил им деликатно, как скрипач смычком. Я как бы играл «Элегию» Массне.

Нельма уже просолилась. Мясо ее было полупрозрачным с легким перламутровым отливом. Сквозь ломтик нельмы можно было разглядеть тусклое инспекционное окно.

— Смотри-ка,— сказал я.— Сквозь нее окно видно.

Она взяла в руки кусочек нельмы, посмотрела в окно, ответить рыбы она не решалась.

— Меня зовут Нина,— неожиданно сказала она.

Я попробовал нельму и, показалось, совершил что-то незаконное. Нельма была наивна. Вкус ее, нежность и прозрачность заключались в слове, тающем на губах,— «нельма».

— Ешь,— прикрикнул я.— Чего ты тянешь?

— Не знаю, наверно, мне нельзя... Такая рыба. Не для меня.

— Хватит валять дурака. Ешь! Вот смотри! Это не нож — это смычок! А нельма — скрипка.

Отрезая следующий кусок, я играл уже «Танец с саблями» Арама Ильича Хачатуряна. Пока я наяривал на скрипке, она все-таки съела свой кусок нельмы, и я протянул ей второй.

— Значит, ты тоже даешь кому попало? — спросила она не принимая рыбу из моих рук.

— Что даю?

— Деньги и рыбу.

— Ты не кто попало, ты сама — нельма.
— Нельма?
— Конечно, нельма, поглядишь в зеркало.
— Не надо больше. Я не стану есть. Мне кажется, я у кого-то ворую.

— Нина, что с тобой? Ты — ненормальная? Бери и ешь, черт тебя подери! Ешь, когда угощают, и не порть мне игру на скрипке.

— Не надо мне больше. Хватит.

Она встала из-за стола, пошла к умывальнику, который висел в углу, заглянула в зеркало. Кажется, она действительно проверяла, похожа ли на нельму.

Я отложил нож, завернул остатки нельмы в бумагу, перевязал бечевкой. Потом подошел к умывальнику, сполоснул пальцы и тоже заглянул в зеркало. Мое обветренное лицо вполне уместилось рядом с ее серебристыми глазами.

— Когда-то я скотину паз, — сказал я и обнял ее.

— Да ты что, — сказала она, — мне же надо пол мыть.

— Это все не важно, — объяснял я. — Пол, огурцы, нельма... Что-то есть, конечно, важное, но что — я сейчас забыл.

— Неужели забыл? — спрашивала Нина, прижимая мои руки к своей огромной белой груди. — Конечно, помнишь... Храм на воде.

СОЛНЕЧНОЕ ПЯТНО

Чужой и рыжий на крыльце моего дома спал огромный кот. Разморенный солнцем, он привалился к двери спиной и посапывал. Я кашлянул. Кот приоткрыл глазок. И это, доложу вам, был жуткий глазок, вполне бандитский. Изумруд и лазурь горели в нем.

Оглядев меня, облив лазурью, обдав изумрудом, глазок закрылся.

— Позвольте пройти.

Кот не шевельнулся.

— Вы не правы, — как можно мягче заметил я. — Ну, согласитесь, это мой дом, приобретенный недавно по случаю. Вы спросите, откуда у меня такие деньги? Я работал, уважаемый. Работал ночами, над-ры-ва-ясы! Позвольте же пройти мне в свою собственность.

Пока я нес эту белиберду, кот отворил оба глаза, слушая меня с интересом. На слове «над-ры-ва-ясы» он встал, потянулся и отошел в сторону, освобождая проход. Я открыл дверь.

— Прошу, — сказал я. — Пожалуйста, заходите.



Пропустив меня вперед, кот вошел следом.

Он вел себя разумно, интеллигентно, но все-таки это был опасный кот. Его благородство было окрашено в рыжий пиратский цвет. Неслышно ступал он за мной, но я чувствовал за спиной его рыжее пиратство.

Вошли в комнату.

— Располагайтесь, — предложил я. — Вот печь, вот табурет

Гость оглядел печь и табурет и, заметив на полу солнечное пятно, падающее из окна, лег под солнце и задремал.

Я отрезал кусок колбасы, которую берег для гостей, положил поближе к его усам. Он повел носом и отвернулся.

— Ну, это уже неправильно. Угощаю чем могу. Обидно.

Кот выслушал мое замечание, кивнул и опять задремал.

— Не понимаю, — сказал я. — В чем дело? Неужели не нравится колбаса? Странно. Многие любят. Вы сыты? Ночь, полная пиратств? А? Неужели птички? Скажите честно, это так? Птички?

На слове «птички» котяро замурлыкал.

— Не могу приветствовать! — сказал я. — Не одобряю!

Пират с наслаждением развалился в солнечном пятне. Мотор мурлыканья работал ровно и мощно. Странно было, что при таком моторе кот никуда не ехал. Он грохотал, как большой мотоцикл с коляской.

Я сел к столу и занялся каким-то делом, скорей всего писательским скрипучим застольным трудом. Но дело не клеилось. Огненный и грохочущий бандит на полу отвлекал мысли в рыжую сторону. Отодвинув скрипучий свой труд, я достал кисть и акварель.

Кот приоткрыл глаз.

— Один набросок... приподнимите голову.

Гость приподнял голову, и я стал его рисовать.

Солнечное пятно двигалось по полу к закату.

Кот пытался, перемещался вслед за пятном, за ним пытался и мой рисунок.

Солнечное движение не мешало мне. Рыжий сохранял позу, не опускал голову. Похоже, он понимал, что рисование котов — дело ответственное в наше время, важное дело.

Когда пятно солнечное полезло на стенку, я кончил работу.

— На сегодня хватит.

Кот поднялся на ноги, размялся, потянулся, мельком оценил рисунок, что-то муркнул, вроде «неплохо», и, не прощаясь, вышел. Пожалуй, отправился пиратствовать.

Просыпаясь иногда ночью, я слышал в палисаднике треск сирени, мягкие темные прыжки, кошачьи вздохи.

Наутро кот снова поджидал меня на крыльце.

— Ну, как прошла ночь? Пиратство совершилось?

Котяро замурлыкал на полную мощь, и я понял, да, совершилось.

Я впустил его в комнату, и кот улегся в солнечное пятно на полу. Оно ему явно понравилось. Кажется, у меня в пятне ему было неплохо. Никто не трогал, не приставал.

Так и повелось у нас. Каждое утро кот приходил, ложился на пол, дремал и мурлыкал, а когда пятно солнечное залезало на стенку, отправлялся пиратствовать.

Однажды он не нашел на полу солнечного пятна. Весьма недовольно поглядел на меня.

— Помилуйте, батенька, — сказал я. — Дождь на дворе. Пасмур. Откуда же взяться солнечному пятну? Переждем, лезьте на печку.

Кот вслушивался в мои слова, но не желал понять и постукивал когтями в пол, требуя пятна.

— Не могу, — разводил я руками. — Не в силах... Пасмур!

Неожиданное слово подействовало. Кот перестал метаться в поисках пятна, глянул мне в глаза.

«И у вас пасмур? — задумался он. — Нехорошо».

Изумруд и лазурь потускнели в его глазах. Не прощаясь, кот вышел.

«Да что же это такое! — возмущенно подумал я. — Разве я виноват? Ведь не я же укладываю на пол солнечные пятна!»

Начались долгие дожди. Серые капли колотились в тусклые стекла. Пасмур! Пасмур! Проходили ночи, полные дождя.

Но вот дождь рассеялся, вчера выглянуло и солнце. Скоро, наверно, объявится рыжий пират. Во всяком случае, солнечное пятно у меня на полу опять наготове.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕНЕЦ

Рассказ из дневника

— Сумасшедший идет, надо дверь запереть,— сказала Алена, но дверь запереть не успела, и сумасшедший вошел в дом.

Он был в болотных броднях-сапогах, в свитере, в шапке с помпоном.

По морозу, по промозглости, которая была на улице, по ветру, дующему с Онего,— сумасшедший должен быть пронзен и смертельно болен насквозь. И рваный свитер, и шапка, и помпон — все было мокро на нем и обледенело. Лицо — фиолетовое, белое и синее. Он, естественно, дрожал.

Минуя Алену, окостеневшую у печки, он направился прямо ко мне.

Я сидел у стола и рылся в своих бумагах. Делая строгий вид, что я безумно занят, я тем не менее встал, протянул ему руку и сказал:

— Юра.

— Женька,— ответил сумасшедший и сжал мне ладонь.

Я сел на место. Сумасшедший стоял передо мной у стола. Разговор надо было как-то продолжать.

— Ну ты чего, замерз, что ли? — сказал я.

— Да нет... разве это мороз? Вот через месяц начнется.

— Ты бы хоть плащ надел какой, а то, ей-богу... пневмония... тоже, знаешь...

— Плащ у меня есть там, в одном месте,— и сумасшедший кивнул за окно.— Да я мороза не боюсь. Я на медведя с ножом. Вот с этим! Восемь медведей взял. У меня и ружье есть там.— И он снова кивнул за окно, но в какое-то другое место.— А вот пуль мало. Так что я с ножом.

— Ну что ж,— сказал я.— Нож — это верное.

Женька протянул мне нож — широкий и мутный какой-то тесак. Алена тревожно глядела от печки. Я потрогал пальцем лезвие и отдал нож сумасшедшему.

— Убери и никому не показывай,— сказал я.

Женька послушно кивнул, сунул тесак куда-то под свитер. Алена облегченно вздохнула.

— Рассказывай, парень,— сказал я.

— Чего рассказывать?

— Как чего? Рыбу-то ловишь или нет?

— Какая сейчас рыба — ветер да волна. Хариус только берет на кораблик.

— Ладно тебе, ей-богу, врать. Медведи — ладно, а насчет хариуса не ври, не люблю.

- Как же... Восемь штук вчера поймал на кораблик...
- Ладно, не ври,— сказал я, вставая.— Ты зачем пришел?
- За солью.
- Отсыпь ему, Ален.

Алена ворча отошла от печки, отсыпала из пачки соли — не на засол, на пропитание. Положила кулек на стол. Сумасшедший схватил соль и сунул за пазуху. Плохо свернутый кулек за пазухой должен был неминуемо развернуться. Но это было не мое дело. Просил соли — получил.

- Юрка,— сказал сумасшедший,— мне спичек.

Под медвежье какое-то и неудовлетворительное ворчанье Алены я дал сумасшедшему спичек, хлеба, чая, сахару, пачку сигарет.

— Слушай,— сказал сумасшедший.— Хочешь, я тебе кораблик принесу? Сам будешь хариуса ловить. Завтра принесу. Знаешь, такой кораблик, бежит по волнам, а к нему мушки приделаны. Хариус на них хорошо берет. Завтра принесу... Слушай, а что бы немного вина? А?

Алена у печки напряглась. Лицо ее окаменело. Она внимательно глядела на меня, ожидая, что я скажу

- Ален,— сказал я,— Женька верно говорит, а что ж вина?
- Какого вина?
- Ну, сама знаешь какого.
- Вина! — прикрикнула вдруг Алена.— Какого вина?!
- Ну, того. Какое ты спрятала.

Алена хлопнула дверью, яростно протолкала по крыльцу и вылетела на улицу. В доме стало тихо. Я потер лоб и сел за стол.

— Ладно, Женька,— сказал я.— Меня здесь не понимают... Иди...

Прижимая к груди собственную пазуху, за которой находились спички, соль, чай, сахар, хлеб и сигареты, сумасшедший попятился к выходу.

- Завтра будет кораблик,— бормотал он.
- Завтра меня не будет дома. Приходи послезавтра.

Сумасшедший вышел на улицу. В окошко я видел, как идет он вдоль покосившейся изгороди к озеру. Ветер был жуткий, и сумасшедший кренился под его порывами, поворачиваясь к ветру плечом.

Дверь хлопнула. Вошла Алена.

- Теперь он к нам повадится,— сказала она.

Алена осуждала меня, и я не знал, как ей возразить.

Вечером вернулся с охоты Вадим. Сели ужинать.

Ветер выл за окном, мелкий снег с мелким дождем хлестал в стекло.



— Теперь-то сумасшедший к нам повадится,— говорила Алена, выставляя на стол то самое, о чем я намекал ей совсем недавно.

— Неужели это так? — сказал Вадим.— Неужели ты бы выпил с ним наш последний припас?

— Ну, уж не знаю. Во-первых, Алена никогда бы в жизни сумасшедшему вина не поставила. А если бы и поставила — немножко можно.

Выл за окном ветер. Лампочка над нашим крыльцом болталась и скрипела, и видно было через стекло, как мечутся электрические сполохи, как высвечивают подбитую снегом землю и изгородь с висящими на ней изжеванными ветром тряпками, как пытаются пробить черноту, досветить до близкого леса, и действительно неприятно было знать, что в черноте этой, в промозглости и сырости бродит где-то около дома сумасшедший. Манят его освещенные наши окна и теплый ужин.

— С ножом на медведя — это он, конечно, врет,— усмехнувшись, сказал Вадим,— и насчет хариуса врет, и никакого кораблика он тебе не принесет. А завтра снова придет чего-нибудь просить. Так что с сумасшедшими дружбу лучше не водить.

— Позволь,— сказал я.— А в чем заключается его сумасшествие?

— Да как же,— ответил Вадим.— Дело ясное.

Откуда появился здесь, на берегах Онежского озера, Женька — неизвестно. То ли приехал он из Медвежьегорска, то ли из Кондопоги. Кому-то он вроде рассказывал, что дочка его вышла замуж, а муж-то Женьку из дому прогнал. Вот он и приехал сюда строить себе избушку. Жить негде. История хоть и не совсем обычная, но житейская, и состава сумасшествия в ней пока не было.

Было одно — избушку он начал рубить, не получив никакого согласия и не спросив ни у кого разрешения. Это, конечно, некоторое помешательство, но не полное же сумасшествие. Места глухие. В тайге, на берегах озер, не одна стоит охотничья избушка без особых на то разрешений и согласий.

Избушку свою Женька начал рубить неподалеку от берега озера, в лесу. Но это был еще не настоящий, не матерый лес. Это была узкая прибрежная полоса, что отделяла озеро от шоссе на Великую Губу. Признать такую избушку за охотничью было невозможно. По всем охотничьим идеям, по всем промысловым статьям рубить избушку в таком месте — полное сумасшествие. С одной стороны — шоссе, с другой — озеро, настоящей дичи нет. За глухарем или за куницей идти далеко.

Рубить избушку Женька начал в августе, а в конце сентября объявились к нему лесники. Стали составлять протокол.

Женька упал на землю, скорчился и выпустил пену:

— Рублю домик... зять выгнал... с ножом на медведя...
Лесники отступились.

Приехала милиция в малом составе. Опять были слезы, крики и пена. Милиция в малом составе отступилась — глухие все-таки места.

— Не вижу состава сумасшествия, — сказал я. — Корчи и пена — ерунда. Прикинулся перед властями.

— Бог с ней, с пеной, — сказал Вадим. — Но скажи, какой охотник будет рубить избушку в таком месте? А ты видел, как она срублена? Там у него между бревнами такие щели — кулак можно просунуть.

— Холод, ветер, — добавила Алена. — А он в свитере дражном.

— Не вижу в дражном свитере состава сумасшествия, — сказал я.

На другой день отправились мы с Вадимом на Хрыли.

Веселят меня эти слова — «отправились на Хрыли». Что-то есть дурацкое в этих самых «Хрылях».

А между тем Хрыли — это глухое лесное озеро, на берегу которого и жил, наверно, когда-то некоторый хрыль.

С красной скалы, нависшей над озером, ловили мы на Хрылях черных и горбатых окуней.

— Приходил твой друг, — сообщила Алена, когда мы вернулись домой.

— Какой друг?

— Сумасшедший. Взял еще хлеба и соли.

— Кораблик принес?

— Ничего не принес. Сидел все, ждал тебя на крыльце.

День уже шел под вечер, уже закат распластался над озером. Я взял ружье и пошел глянуть на избушку, которую рубил сумасшедший.

Подходя к лесу, я вдруг заметил Женьку. Он шел впереди меня шагов за сорок. Как-то получилось, что меня заслонили кусты, когда он оглянулся.

Осмотревшись тревожно, не заметив меня, он вдруг наклонился и спрятал что-то под ольховый куст, закидал пожухшими ветками. Выпрямился, огляделся, опять не заметил меня и ушел по тропе в лес.

Я подождал немного и пошел следом.

Под ольховый куст не заглянув, я вошел в лес и, метров пройдя с полторы сотни, увидел сруб в три венца. Начат был венец четвертый.

Внутри сруба, облокотясь на бревно, стоял Женька в свитере и помпоне.

— Ну ты и хвощ,— сказал я с некоторой приветливостью.— А где ж обещанный кораблик?

— Да вот же он,— стал извиняться Женька, достал из-под бревна кораблик с рванными крючками, перепутанными мушками.

Я оглядывал сруб. Меж бревен и вправду были щели, не в кулак, но порою в ребро ладони. Внутри сруба тлел костер, валялись перья рябчика и крылья тетерки. В углу примитивная — на жердях — постель из рваных одеял и кусков толя, над нею какая-то полукрыша-полубалаган из тех же кусочков толя на жердях.

— Закурить бы,— сказал Женька.

— Тетерку грохнул?

— Куропатку, а вчера рябчика.

— Это не куропатка,— сказал я.— Тетерка. Их бить нельзя.

— Э, парень, чего ни кинь — всего нельзя. Мне тут и избушку рубить мешали. С милицией приезжали. После-то отступились, потому что и у меня права есть.

— Какие же права?

— Свои люди в районе. Они и заступились. Теперь только крышу до холодов успеть.

— Какая крыша! У тебя между бревен щели с кулак.

— Щели? — удивился Женька.— Подумаешь, щели. Девятое добавит. Вот видишь, рублю четвертый венец, еще бы пять, и хорош. Шел бы ко мне в напарники. Мы бы с тобой и медведя нашли. Я с ножом, ты — с ружьем.

— Пошел бы, да баба у меня в городе.

— А баба там пускай и живет, ты к ней в гости будешь ездить. Так даже удобней. Многие эдак-то с бабой не живут, а в гости ходят.

— Не могу, Женька. Мне уезжать скоро.

— Когда скоро-то?

— Завтра.

— Эх, жалко. А как бы хорошо зимой в избушке. На улице мороз в тридцать градусов, а у нас свет, тепло. Муки бы пуд — так можно самим и хлебы печь. А ночью над лесом звезды да луна, а в избушке огонечек горит. Надо бы мне напарника.

— Ты торопись, Женька,— серьезно сказал я.— Скоро морозы, а у тебя только четвертый венец.

— Успею, парень.

Темнело, я поспешил домой и попрощался с Женькой. Вышел из леса и у ольхового куста не выдержал, наклонился, пошарил в траве. Интересно было, что он там прятал. Там лежал заваленный пожухшими ветками оранжевый мотоциклетный шлем.

— При чем здесь, черт подери, мотоциклетный шлем? — сказал Вадим. — Кто прячет шлем в ольховый куст. Зачем шлем без мотоцикла? Сумасшедший, конечно. У него, видно, повсюду вокруг избушки захоронки.

— Не вижу в мотоциклетном шлеме состава сумасшествия, — сказал я.

На следующий день мы уехали, и перед отъездом, разбирая продукты, наткнулся я на лишнюю пачку макарон. Хотел было отнести ее Женьке, да ведь и в Кондопоге были друзья, которым лишняя пачка макарон никак не повредит.

По дороге мы все с Вадимом спорили, есть состав сумасшествия или нет.

— Не вижу такого состава, — рассказывал я друзьям в Кондопоге, которым пачка макарон и вправду не повредила. — Помоему, он не сумасшедший, а просто неприспособленный к жизни человек, наивный романтик и доходяга.

— Это ты наивный романтик и доходяга, — сказали мне друзья из Кондопоги. — Какого размера сруб?

— Три на четыре.

— Это вовсе не охотничья избушка. Он рубит баню.

— Какую то есть баню?

— Обыкновенную. Рубит он рядом с дорогой. Верно? Бревна толком не подгоняет. А как только срубят да выпадет снег, пригонит машину из Медвежьегорска, вывезет баньку и продаст. Вот и все дела. Так многие делают. А сумасшествие — для отвода глаз.

Меня поразила эта неожиданная логика, выгнала сомнение и жалость. Печальный образ сумасшедшего в шапке с помпоном посреди кривого сруба под снегом и дождем поблек и пропал. Рубит баньку на продажу. Нет, куда ближе и понятней человек, который рубит избушку, чтоб обогреться, вернувшись с охоты, чтоб хлебы pekлись и огонечек светил.

В Москве среди разных суетливых городских дел я вдруг вспоминал порою Женьку.

Я видел, как стоит он в шапке с помпоном, как засыпает снегом его сруб, и гадал, сколько еще венцов успел он срубить. Опять объявлялась в душе бессильная тревога.

— Да ведь он рубит баньку, — успокаивал себя я. — Наверно, уже вывез и продал.

Потом я узнал, мне рассказали, что Женька так и остановился на четвертом венце. Четвертый венец оказался его пределом. Пятого он не начинал.

Выпал снег. Настали холода, а у него все четвертый венец, постель из рваных одеял и кусков толя.

Снега заваливали берега озера. В рваном свитере и в шапке с помпоном Женька бродил по дороге, просил соли и спичек.

Глубокой зимой приехала милиция в полном уже составе, и Женьку куда-то отвезли.

Сруб в четыре венца простоял до весны, а весной на плоты растащили его туристы.

КРАСНАЯ СОСНА

Тогда-то, в феврале, на набережной Ялты, в толпе, которая фланирует меж зимним зеленым морем и витринами магазинов, я увидел впервые этого человека.

В шляпе изумрудного фетра, в светлом пальто с норковым воротником, очень и очень низенького роста, в ботинках на высоких каблуках, он брел печально среди толпы, опустив очи в асфальт, а толпа вокруг него бурлила и завивалась. Особенно любопытные забегали спереди, чтоб осмотреть его, другие шли поодаль и глаз с него не спускали. Причиною такого любопытства была кукла, огромная, в полчеловека кукла, которую он влек за собою, обхватив за талию.

Кукла склоняла свою русую голову к нему на плечо, и он шептал ей что-то, не обращая на толпу никакого внимания.

Изредка маленький печальный господин останавливался у какого-нибудь лотка с бижутерией или у газетного киоска, разглядывал товары, советовался со своей спутницей и восклицал:

— Это совсем недорого!

Спутница во всем с ним соглашалась.

И он покупал что-нибудь для нее. Я сам видел, как он купил янтарное ожерелье, накинул ей на шею, покачал восторженно головой:

— Это вам к лицу!

Кукла сделана была хорошо. Я отметил про себя и русые волосы, и розовые щечки, цветастый плащ и ботики с розовыми бантами. Но слишком уж приглядываться казалось мне неудобным. Иногда стыдно глазеть вместе с толпою. Я прошел немного за человеком с куклой, стало мне за себя неловко, и я отстал.

В ту зиму каждый день ходил я на этюды. Удивлял цветущий в феврале миндаль, увлекали узкоголовые кипарисы, рассекающие море. Особенно полюбил я старый город с его белокаменными переулками и ржавыми отвесными стенами, укрепляющими и подпирающими горные склоны.

Как-то, ближе к закату, я писал в старом городе сосну.

Начинающийся закат яростно мешал мне, бил в холст и в глаз. Мешали и прохожие, которые останавливались за спиной. Я старался не слушать шуток и замечаний, боролся с цветом и закатом, топтался и курил.



— Смотрите, Генриэтта Павловна,— слышалось за спиной,— красная сосна... Вам нравится?

Генриэтта Павловна, слава Богу, промолчала.

— А какое вообще-то вы любите дерево? Березу? Ну, Генриэтта Павловна, это — обычно. Березу любят все. Как только увидят березу, так и лезут к ней целоваться. Я терпеть не могу березу. А сосна — гордое дерево.

Я ненароком оглянулся. Это был он — господин с куклой. Они сидели позади меня на невысокой каменной стеночке, предохраняющей от падения с дороги в обрыв.

— Пишите, пишите,— замахал мне шляпой человек, прижимая к себе куклу.— Мы вам не помешаем. Посидим, посмотрим... Какой закат!

Кукла Генриэтта Павловна отчужденно глянула на мой эту ю пластмассовыми глазками. На коленях у нее стояла сумка, набитая продуктами.

Я пытался писать дальше, но уже не получалось. Было неприятно, что какой-то сумасшедший сидит с куклой за спиной. Четко представилась неловкая композиция, составленная из четырех фигур: красная сосна на холсте — я — печальный господин — и Генриэтта Павловна. Та сосна, основная — главная, живая сосна, которую я писал, в этой сцене участия не при-

нимала. Она стояла, вечная и великая, поодаль и не протягивала к нам ветвей. Я помазал еще немного и стал складывать этуодник.

Оглянувшись, я не увидел господина с куклой. Закат раскачивался над морем, два военных жорабля таранили закат, выпрыгивая с линии горизонта. На каменной стеночке, предохраняющей от падения с дороги в обрыв, стояла бутылка хереса. Нигде — ни по дороге вниз от сосны, ни вверх, к каменным стенам — не было видно человека с куклой. Я даже, грешник, заглянул со стеночки вниз — не свалились ли? Некоторое время постоял я, озираясь, и решил все-таки предохранить херес от падения в обрыв, сунул бутылку в сумку.

На другой день начался шторм, прошел снегопад. Волны хлестали через набережную, и пена морская подносила к витринам магазинав пробки от шампанского и водоросли.

Вечером я зашел в «Ореанду». Народу штормового в этот вечер собралось там немало, мест не было, и все волей-неволей замечали свободный столик, стоящий в уголке, за который официанты никого не сажали.

— Стол заказан, — поясняли они публике.

В какой-то момент официанты оживились. Через стеклянные двери я заметил в гардеробе некоторое столпотворение. Мелькнули русые волосы, и я узнал Генриэтту Павловну. С нее, кажется, снимали пальто¹. Через минутку печальный господин с куклой вошли в зал и сразу направились к заказанному столу. Господин усадил куклу в кресло, и два официанта завертелись вокруг них.

Зал зашумел, заоглядывался, некоторые тыкали, к сожалению, пальцами.

Кукла сидела ко мне спиной, но я видел, что она в черном вечернем платье. Сам же печальный господин — в сером костюме и галстук имел бабочку в горошек.

Официанты, конечно, его знали, быстро накрыли стол на две персоны, расставили приборы.

Зал совершенно разволновался, какой-то малопомятый даже подскочил к столу с куклой, замахал рукавом, но официанты быстро вывели его из зала. Как видно, дело у господина с куклой было поставлено в «Ореанде» надежно. На волнения в зале он внимания не обращал, общался только с куклой, подливая ей понемногу в фужер минеральной воды.

Загремел оркестр, столики ринулись танцевать, табачный дым, как остатки фейерверка, стелился над графинами. Гром

¹ В этом слове допущена опечатка, которую автор решил не исправлять. (Прим. автора).

оркестра и дым табаку приглушили свет люстр. Человек с куклой сидели тихо-тихо, лица их и силуэты размылись в дыму, и мне даже казалось, что они оба детские куклы, и хозяин их спит где-то в дальней комнатке, а их позабыл за игрушечным столиком на взрослом разнузданном пиру. Я долго наблюдал за ними и вдруг случайно встретился глазами с печальным господином. Как-то получилось через дым и гром. Щель что ли в дыму образовалась? Я кивнул в эту щель, и мне кивнули в ответ.

— Сильно чокнутый, — шепнул бармен. — Приехал откуда-то с Севера. Только с куклой и ходит. Денег — тьма!

Расплатившись, я встал и, направляясь к выходу, слегка поклонился маленькому господину:

— Херес помог живописцу.

— А я боялся, что вы не заметите, — улыбнулся он. — Это был мой привет Красной Сосне. Присядьте на минутку. С Генриэттой Павловной вы, кажется, знакомы?

— Немного, — сказал я и, усаживаясь рядом с куклой, чуть поклонился ей. — Добрый вечер.

Генриэтта Павловна потупилась.

— Она у нас молчалива. Но, должен признаться, я не люблю, когда дамы кричат и хохочут, — и он кивнул в сторону столика, за которым визгливо и безнравственно всхаживали.

— Молчание — не порок, — согласился я. — Сейчас слишком многие много говорят, а я не всегда и слушаю. Бывает, и пропускаю что-нибудь мимо ушей. Потом — так неловко.

— Не обращайтесь внимания, — посоветовал мне печальный господин. — Уши наши вполне разумны, ничего важного они сами не пропустят.

— Вы знаете, я писал и черные березы, и синие осины, но только красная сосна получила приз.

— Я люблю сосну. Правда, ваша сосна — крымская, а я работал когда-то там... где корабельные... Как же они падали! О, как падали... Но за черную березу?.. Немного хересу, а?.. Недолюбиваю березы. Вот Генриэтте Павловне только березу и подавай, ей бы только мечтать и вздыхать.

Генриэтта Павловна помалкивала, уткнувшись в минеральный фужер. К сожалению, она немного сползла с кресла и могла вот-вот нырнуть под стол. Хотелось ей помочь, но я не знал, как это сделать. Неловко, черт подери, хватать спутницу другого человека и усаживать ее на стул попрямей. Я старался не шевелиться, опасаясь полного сползания Генриэтты Павловны.

Оркестр немного поутих, зазвучало танго, и я хотел уж откланяться, как вдруг господин с бабочкой сказал:

— Геточка, ты помнишь это танго? Хочешь потанцевать?

— Извините, — сказал он мне. — Мы немного потанцуем.

Он обошел меня, подхватил куклу и, прижимая к груди, стал пританцовывать возле столика.

Мне сделалось очень неловко. Посетители «Ореанды» растащили свои налитые дымом глаза, некоторые наивно-восторженно разинули рты, глядя на танец с куклой. Разглядывали и меня с изумлением, дескать, это еще что за такое?

Я сидел тупо, как волк, не решаясь почему-то уйти. Наверно, хересу было много. А чего-то другого мне не хватало. Чего? Неужели Красной Сосны? Но сосны не ходят с нами по ресторанам. Не помню ни одного художника, который водил бы по ресторанам сосны... А с нею было бы спокойней. Этот с куклой, я с сосной...

Вокруг танцующего господина в зале образовалось пространство. Его обходили, не задевали. Генриэтта Павловна влеклась за ним спокойно и, скажу вам, чудесно. Он мог, конечно, вертеть ею, как угодно, но не делал этого, уважая танго, и она простосердечно склоняла голову ему на плечо.

— Вы знаете, о чем говорила Генриэтта Павловна, пока мы танцевали? Ни за что не угадаете. Ха-ха! Вы ей понравились! Поздравляю! Это — редкость, обычно она сдержанна. Хотите с нею потанцевать? Она приглашает. Белый танец, а?

— Я — танцор никудышный... А Генриэтта Павловна и вправду грациозней здешних дам.

— А ваша дама? Красная Сосна? Неужто?

— В какой-то мере, — сдержанно ответил я. Меня все-таки смущала Генриэтта Павловна, я как-то стеснялся слишком уж при ней болтать.

— А семейная жизнь? Неужто не удалась?

— Да нет, почему же...

— Ну, это не важно... а мне, знаете, иногда хочется потанцевать с какой-нибудь посторонней. Да вон хотя бы с той, что так противно хохочет... Подите, подите сюда, — поманил он меня к краю стола, — я шепну вам что-то, чтоб не слышала Генриэтта Павловна.

Он пригнулся к столу.

— Я вам открою секрет. Вы очень удивитесь, только никому не показывайте виду. Сидите спокойно, как сидели. Так вот, моя жена Генриэтта Павловна — она кукла. Понимаете?

Беззвучно смеясь, он откинулся на спинку кресла. Он подмигивал и кивал в сторону Генриэтты Павловны.

— Она-то думает, что она... а она уже кукла! Посидите с нею еще немного, она ведь не знает, что вы знаете. А я пойду приглашу эту толстуху.

Тут он поморщился:

— Конечно, она дура и в подметки не годится Генриэтте Павловне. Может, не приглашать?

— Ерунда,— сказал почему-то я, совсем видно охеревши.— Хочется — приглашайте.

Не знаю, не знаю, зачем я так сказал, надо было, конечно, его останавливать. И он, пожалуй, удивился. Кажется, он ожидал, что я стану отговаривать.

Нерешительно он было отошел от стола, но тут же вернулся.

— Стесняюсь почему-то,— сказал он, снова шагнул было и снова как бы вернулся.

— Обычно я не решаюсь оставить ее одну, а сегодня вы рядом. Поговорите с ней о чем-нибудь, развлеките немного. Только хересу ей не наливайте... боржоми.

И он окончательно отошел от стола.

Я подлил боржоми Генриэтте Павловне, нацедил себе хересу и сказал соседке:

— Ну вот мы и одни. Должен сказать, что вы мне тоже сразу понравились.

Генриэтта Павловна смущенно стала сползать на пол, и я уже довольно бесцеремонно подхватил ее за талию и поплотнее усадил в кресло.

— Откровенный разговор,— продолжал я,— все-таки лучше вести вдвоем. Нет, мне нравится ваш спутник. Очень милый и добрый, я это сразу понял. Дело не в хересе, но все-таки бутылка, подаренная сосне — это жест. Иной-то прохожий может и за задницу, простите, ущипнуть или ножичком в спину, а тут все-таки... Но главное не в этом... вот, к примеру, сейчас я беседовал с барменом, ну только буквально что... и каждое слово как будто в пустоту или в вату. Не люблю я вату... Вы знаете, я уж тут подумал, не пригласить ли мне в ресторан Красную Сосну. Это вы с вашим другом навели меня на такие мысли.

Генриэтта Павловна изумительно молчала. Огромнейшие ее ресницы были предельно добродушны, никакого намека на темную мысль не мелькало на ее слегка подкрашенном лице. Чего я отказался с нею потанцевать?

— Тут зашел разговор о семейной жизни,— продолжал я, склоняясь к плечу дамы.— Все-таки, главное — понимание и, я бы сказал, ласковая терпимость. Именно ласковая терпимость — основа долголетней любви.

Я размахивал, кажется, немного руками, поясняя свои мысли, и даже показывал на пальцах, что такое «ласковая терпимость». Почему-то эта самая «ласковая терпимость» казалась огромной находкой моего практического ума.

— Надо отметить еще и другое,— настаивал я, чувствуя,

что Генриетта Павловна согласна со мной не во всем.— Во-вторых... надо отметить...

Отметить я более ничего не успел. За столиком, где сидела невнятная толстуха, вызрел скандал.

— Отойди! — выкрикивала она.

Мужчина же, пришедший с нею, какой-то вроде мотоциклита без шлема, что-то яростно шептал печальному господину, который топтался у их столика.

— Вы печалите, — внятно говорил маленький господин. — Вы печалите меня. Огорчаете душу.

— Отойди!

— Не обращайтесь внимания, — шепнул я Генриетте Павловне. — Сейчас это как-нибудь уляжется. Хотите хересу?

— Вы нарочно унижаете меня, — слышался голос маленького господина. — И зря, зря... Ладно, я уже сам расхотел танцевать с вами, буду танцевать со своими ботинками.

Тут он быстренько скинул свои лаковые с высокими каблуками штиблеты, прижал их к груди и заскользил в носках по паркету. К сожалению, он плакал.

— Господи, — вздохнула Генриетта Павловна. — Ну, дитя же, дитя...

Подбежали два официанта. Бесцеремонно, но... демонстрируя все-таки ласковую терпимость, стали подталкивать его к столику. Подсочил и я.

— Эта женщина, — жаловался он, упираясь и бровью показывая на толстуху, она не понимает и не может понять...

— Генриетта Павловна скучает, — уговаривал я.

Оглянувшись, я вдруг заметил, что какой-то человек подошел к Генриетте Павловне, дернул за волосы и, засмеявшись, отскочил в темный угол.

Он нуждался в немедленном наказании, и я побежал поскорее в этот темный угол, оставив на миг плачущего господина. Но я не мог найти этот угол. Весь зал состоял из таких темных углов, и в каждом смеялись и ели люди, вполне способные дернуть куклу за волосы.

— Отпустите, отпустите меня, — говорил официантам господин с бабочкой. — Отпустите, а то я упаду.

Официанты твердо держали его за локти.

— Отпустите, — жестко приказал я.

Они отчего-то послушались, и маленький господин быстро и ловко надел штиблеты.

— У меня закружилась голова, — рассмеялся он, беря меня под руку. — Давно не танцевал.

Мы поспешили к столу, где маялась Генриетта Павловна. Несколько минут посидели молча.

— Не люблю, когда меня хватают за руки, — объяснил он

мне и кивнул в сторону Генриэтты Павловны.— Она знает. Понимает это.

— Генриэтта Павловна вообще на редкость разумна,— заметил я.— У нее нет сестры или подруги?

— Она — сирота,— серьезно ответил он.— ...Когда меня хватают за руки, я отчего-то сразу начинаю падать, очень кружится голова. Я бы и сейчас, наверно, упал, да вспомнил вашу сосну. Вы знаете, что я вам скажу? Надо быть сосною. Вот уж кто крепко стоит на земле! И как держится за небо!.. Но я, конечно, видел... видел, как падают сосны. Невыносимое зрелище.

Подошли официанты. Почему-то к этому столику они ходили вдвоем, к остальным все-таки поодиночке. Нутром, наверно, или чутьем чувствовали в кукле опасность.

— Угодно кофе? Мороженое? — спросил один, склоняясь к господину.

— Нет, неудобно, счет.

Официанты отошли к рабочему столику и принялись щелкать на счетах.

— Человек ходит не с человеком,— слышалось мне.

— Окажите любезность,— сказал маленький господин, вынимая бумажник,— возьмите деньги и отнесите им туда. У меня кружится голова, когда они подходят.

Я взял деньги и рассчитался. Господина с куклой нагнал в гардеробе и успел еще подать пальто Генриэтте Павловне. Официанты выскочили следом, стали прощаться, кланяться, приглашать.

Мы вышли на набережную. Шторм не утихал. Мельчайшие капли моря пронизывали воздух. Одинокие фигуры маячили под туманными фонарями.

— Ну что ж,— попрощался со мной маленький господин.— Привет Красной Сосне.

Я поцеловал руку Генриэтте Павловне, постоял еще на набережной, послушал, как шуршит и грохочет галька под подошвой волны.

Ялта ведь вообще славится своей галькой. Круглая, укатанная, голубиное яйцо, тигровый глаз, лилипутский баклажанчик — вечно шелестит она, пришептывает и звенит.

Господина с куклой я больше не встречал, хотя часто гулял по берегу, разглядывал прохожих, собирал гальку. Некоторые, особенно интересные, полосатые и клетчатые камешки, клал для чего-то в карман. Многие люди, между прочим, собирают зачем-то такие морские камни. Что они потом делают с ними — не знаю.

СИРОТСКАЯ ЗИМА

1

Был серый, тусклый, был пасмурный, был вялый день.

С утра шел снег. Он ложился на землю и лежал кое-как, с трудом сдерживаясь, чтоб не растаять.

Еловые ветки были для него слишком живыми и теплыми. На них снег таял, падал на землю мутными хвойными каплями.

Скоро после обеда снег перестал, и я подумал, что пора возвращаться домой. Огляделся — и не узнал леса, окружавшего меня. Всегда узнавал, а тут растерялся. Забрел, видно, далеко, в чужие места.

Передо мной была заснеженная поляна, которая подымалась пригорком или, вернее, гривкой. Я решил взойти на нее, еще раз оглядеться и, если не узнаю леса, — возвращаться к дому по собственным следам.

Перейдя поляну, я поднялся на гривку, огляделся. Нет, никогда я не видел этих елок и вывернутых пней, этой травы с пышными седыми метелками.

— Белоус, — вспомнил я. Так называется трава... А местечко-то гиблое. Не хочется лезть в чащу, в эти перепутанные елки. Надо возвращаться назад, по своим следам.

Я оглянулся назад, на поляну, и обмер.

Прямо через поляну — поперек — был отпечатан мой след, след, по которому я собирался возвращаться. Он пробил снег до земли. А сбоку его пересек другой след, такой же черный и четкий.

Кто-то прошел у меня за спиной, пока я стоял на гривке.

2

Человека с яблоком в кармане я почуял издалека.

Я надеялся, что его пронесет мимо, но он шел прямо на меня.

В нескольких прыжках он вдруг круто свернул в сторону, поднялся на гривку и встал.

Этого человека я знаю давно. Сейчас немногие ходят по лесу, жмутся ближе к деревьям. В общем-то, ходят трос.

Тот, первый, который гоняет зайцев.

Тот, второй, кто лает по-собачьи.

И этот — с яблоком в кармане.



Кто-то прошел у меня за спиной, пока я стоял на гривке...

И елки черные, и серое меж елок — все посветлело у меня в глазах и все обесцветилось — только след чужой черным и четким остался в глазах.

Как же так? Почему я не слышал? Кто это прошел только что бесшумно за спиной? Я еще не знал, кто это прошел, и уже точно знал, кто это. Знал, а про себя как-то не мог назвать, не решался.

Готовый попятиться, спустился я с гривки и осторожно пошел к месту пересечения следов. Для чего-то и пот полил с меня.

Я посмотрел на следы. На свои, на чужие и на их пересечение.

Чужой след был много больше моего, шире, мощней, и спереди отпечатались кривые когти. Когти эти не были распланы по снегу, они были подобраны.

В том месте, где следы наши пересекались, он — прошедший за спиной — остановился. Он встал, подумал и вдруг поставил свою лапу на отпечаток моей ноги. Он как бы проверил — у кого больше?

...И этот, с яблоком в кармане.

Никогда он не подходил ко мне так близко. Раньше, когда он приближался, я всегда отходил в сторону. Не хочу, чтоб меня видели, неприятно. И на людей нападает ужас.

Человек с яблоком в кармане подошел ко мне слишком близко. Надо было вставать.

Поднявшись, я вышел на поляну и увидел его свину, наверху, на гривке, в шуршащей траве.

И хотя я знал, кто это, — все-таки подошел понюхать его след.

От следа пахло тяжело — порохом, табаком, мокрой резиной, коровой и мышами. В деревне у них есть и крысы. А яблоко точно было в кармане.

Не удержавшись, я наступил на отпечаток сапога. Я и прежде делал это, да он не замечал — на мху, на траве, на мокрой глине. Уж на мокрой-то глине мог бы и заметить.

Он все не оборачивался, и я ушел с поляны. Из елочек глядел я, что он делает.

Он как бы проверил, у кого — больше?

Его след был значительно больше — шире и мощней. И спереди отпечатались кривые когти.

Судорожно озираясь, я ковырялся в патронташе — есть ли пули? Пули были. Две. Круглые. Подкалиберные. Шестнадцатого калибра. А у меня двенадцатый, но оба ствола — чеки. Шестнадцатый подходит как раз. Я перезарядил ружье. Прислушался.

Ни вдоха, ни треска сучка не слышал я, но слышал: он — пересекший след — рядом.

Я как-то все позабыл. Что-то надо было вспомнить. Что? Ах вон что — я ведь заблудился, я ведь заблудился и взошел на гривку, чтоб оглядеться. Я ведь решил возвращаться обратно по своим следам.

Расхотелось. Возвращаться обратно по своим следам расхотелось.

Но и подниматься на гривку к шуршащей траве, искать дорогу в незнакомом лесу казалось безнадежным.

Я стоял на месте пересечения следов и пытался сообразить, что делать.

«Все это случайность, — торопливо думал я. — Случайно я его поднял, и он вышел на поляну за моей спиной. Он лег здесь в буреломе, среди выворотней-корней, но крепко еще не заснул. Куда уж тут заснуть! Господи, какая зима! Мокрая, вялая, тепловатая... Сиротская зима... Сиротская... так говорят, потому что тепло в такую зиму сироте. Не так жутко, не так холодно в старом дырявом пальто. Но что-то еще есть в этих словах — «сиротская зима»... Случайно я его стронул, и он вышел на поляну за моей спиной, постоял, примерил лапу к моему следу. Зачем? Может, пошутил? Вон, мол, какая у меня лапа. Пошутил и пошел своей дорогой. А я мог идти своей, возвращаться домой по старому следу. Не на гривку же снова лезть!»

Немного успокоившись, я перешел поляну и точно по старым своим следам ступил под густые елки.

Здесь было мрачно, и я пошел скорее, чтоб сразу подальше уйти от опасного места.

Я не глядел по сторонам, но видел все. Все кусты, все стволы деревьев, все капли, падающие с веток, и свой черный след.

В темных, древних, обомшелых стволах чудилась угроза, хотелось поскорее выбраться из-под елок — я ускорил шаг и даже побежал.

Я выбежал в осинник на светлое место. Перевел дыхание и тут же его затаил.

Теперь уже не справа, а слева пересекали мой след когтистые отпечатки. Как в первый раз, на поляне, он снова наступил на отпечаток моего сапога, словно проверяя — у кого же все-таки больше?

6

Из елочек глядел я, что он делает.

Он обернулся и сразу заметил мой след. Я думал — не заметит.

Человек с яблоком в кармане долго стоял у моего следа и все удивлялся, что моя лапа больше. Я видел, как он то подымал ногу, то опускал и ставил ее на мой след. Он даже не понимал, какую ногу примеривать — правую или левую?

Щелкнув ружьем, он вдруг пошел прямо на меня. Еще бы два шага, и я поднялся бы навстречу, но он вдруг свернул в сторону и побежал.

Человек с яблоком в кармане бежал, цепляясь за ветки. Иногда он останавливался, хотел спрятаться, затаивался. Спрятаться от меня невозможно. Даже если б он стоял, прижавшись к елке спиной, стоял, чуть дыша, мне хватило бы яблока у него в кармане.

В осиннике я снова наткнулся на его старый след. Много он напетлял по лесу. Чего искал?

Тот, кто гоняет зайцев, в такую глушь не забирается. Зайца больше на опушках.

А тот, другой, кто лает по-собачьи, по лесу ходит смело. Иногда только охватывает его ужас. Когда он чувствует, что я рядом.

— Дамка! — кричит он. — Дамка! Ко мне!

И лает по-собачьи.

Нарочно, чтоб я подумал, что он не один в лесу. Боится, что я на него нападу. А ведь и вправду как-то неловко нападать на того, кто лает по-собачьи.

7

— У кого же все-таки больше? Господи, ясно у кого... Но на человека они нападают очень редко. В крайнем случае. Только скотинники или инвалиды. Но, может, это и есть крайний случай? Ведь я его стронул, разбудил... Кажется, я и раньше видел эти следы на мокрой глине.

Я стоял у второго пересечения следов и думал, что же ждет меня впереди...

Дважды пересек он мой след и теперь бродил рядом, забегал вперед, подстерегал. Рядом он, совсем близко, я это чувствовал. А запах? Какой странный запах! От влажных елок будто от собачьей шерсти. И еще что-то... Да ведь не осина же... Вроде валенки... Черт, что еще за валенки?..

Чужим и равнодушным стал окружающий лес. Всегда терпеливый ко мне, он вдруг отдалился, распался на отдельные деревья, охолодел. Мертво стоял лес вокруг меня.

Старый мой след, хотя бы и дважды пересеченный, был теплее. За него можно было держаться.

«Нельзя стоять, — почему-то подумал я. — На месте стоять нельзя. Надо двигаться».

Я пошел вперед, придерживаясь старого следа. Вот-вот ожидал я увидеть багровую башку, а сбоку и сзади вздрагивали красные и серые ветки, двигались деревья, дрожали кусты. Рыхлый зеленоватый снег шуршал под сапогами, я пошел быстрее, быстрее — и побежал.

Скоро я оказался у лесного оврага, заросшего дудником и бересклетом. Старый след вел вниз, на дно.

«Гнилой овраг, — думал я. — Гиблый. Уж если ему нападать — здесь. Придется спускаться. Выбора нет — надо держаться старого следа. Если нападет спереди — это бы еще и ничего...»

Хватаясь за ветки и мелкие деревца, не таясь, с треском спустился я на дно оврага.

Ветка бересклета хлестнула в глаз. Стало так больно и горько, что хлынули слезы. На какой-то миг я полуослеп, а когда проморгался, потер глаза — сразу увидел на склоне оврага черные борозды, разодравшие и снег и землю под снегом.

На дне оврага борозды превратились в огромные следы, в третий раз пересекающие мой путь. На этот раз он не мерил, у кого больше. Это было вроде бы уже ясно.

8

А ведь и вправду как-то целовко нападать на того, кто лает по-собачьи.

Но этот не лаял. Только всегда яблоко носил в кармане. Можно или нельзя?

Можно нападать на того, у кого яблоко в кармане? Наверное, можно.

Я стоял на краю оврага, прислушивался. С треском, ломая ветки, он скатился в овраг и сразу затих. Спрятался.

И вдруг спереди, из глухариных болот, потянуло яблоком. Что такое?

Этот в овраге не шевелился, а из болот тянуло яблоком. Неужели их двое? Два человека с яблоком в кармане? Один спешит? Другой сзади?

Нет, он один — с яблоком в кармане. Он напетлял по лесу, и мне кажется — их двое. А может, он взял с собой того, кто лает по-собачьи? И просто второе яблоко положил в чужой карман?

Нет, это совсем разные люди, они не могут сговориться. А вдруг сговорились? Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху.

9

На этот раз он не мерил, у кого больше. Это было ясно. Господи, какая зима! Вялая, серая, тепловатая!

Зимние дни поздней осени, когда так длинна ночь, когда мало дано человеку небесного света, я живу плохо. Хвораю, тоскую, места себе не нахожу.

Особенно тяжело бывает в городах — стеклянных и электрических.

А в деревне-то ночи еще длинней, еще бесконечней.

Конечно, и ему плохо сегодня, и ему тяжелы глухие дни, беспросветные беззвездные ночи. Но я-то тут при чем? Не я управляю светом небесным, не я гоню в лес ночь и мокрый снег.

А свету сегодня осталось совсем немного — полтора-два часа, а там стремительные сумерки и сразу — ночь. Надо выбираться из оврага и бегом — домой.

Я глядел на черные борозды, разодравшие снег на склонах оврага. Он, видно, спешил забежать вперед, перехватить меня, кое-как ставил лапу, вспарывал снег, выворачивал землю и опавшие листья.

Я смотрел на его следы и вдруг неожиданно пересчитал их: шесть на склоне, шесть на дне, шесть на другом склоне.

Шесть, шесть и шесть!

Шесть на склоне, шесть на дне, шесть на другом склоне!

Боже мой! Как же я раньше не заметил! Шесть, шесть и шесть! А надо — восемь, восемь и восемь!

Сухолапый!

10

Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху.

Тот, что лает по-собачьи, размахивал руками и кричал. Он показывал рукой на то место, где его подобрали. А этот, с ябло-

ком в кармане, не двигался. Потом он достал из сумки много яблок.

Я отошел от них, не люблю того места.

Сейчас-то уж яблок нигде не найти.

11

Сухолапый!

Речка Муньга — утлый ручеек летом, разливается веснами широко и бурно. Сверху, из дальних мест, еловых боров, сплавляют по ней строевой лес.

Хорошему плоту по Муньге и весной не пройти, и бревна, не связанные в плоты, тупо плывут по течению, тычутся рылом в крутые берега, застревают на перекатах, громоздятся на отмелях. Молевой сплав.

Мужики из окрестных деревень, когда начинается сплав, занимаются этим отхожим делом — «ловят хлыста», приворовывают бревно-другое, кто на баньку, кто избу подрубить.

Туголуков подрядился срубить баньку и целую неделю «ловил хлыста».

Как-то утром с багром и топором он отплыл на лодке и только вышел на плес, увидел, что по реке плывет ком земли.

— Торф, что ли? — подумал Туголуков. — Торф плавучий?

Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане в черную и багровую глыбу на воде. На плеск весла глыба разворотилась, и Туголуков увидел, что это не торф, а горболобая голова с прищуренными глазами.

То ли слишком сильно махнул Туголуков веслом, то ли течение Муньги хитро извернулось, но только голова и лодка сблизились.

И Туголукову показалось, что голова плавучая лезет по воде прямо на него.

— Ты куда, холера! — крикнул Туголуков и ткнул голову багром. Оттолкнуться, что ли, хотел?

Дальше все произошло просто.

Багор отлетел в сторону. И летел, как копье, и еще не успел вонзиться в воду — а страшная торфяная голова оказалась у борта лодки. Пятипалая лапа легла на борт.

Туголуков ударил по ней топором и вылетел из лодки, и лодка встала на дыбы.

Течение Муньги дотащило Туголукова до отмели, на которой громоздились бревна. Разбитую лодку нашли далеко внизу.

Туголуков долго болел, у него были сломаны рука и два ребра, а в окрестных лесах явился Сухолапый.

Сейчас уж яблок нигде не найти.

В заброшенных деревнях есть несколько одичавших яблонь, да они морозом побиты, черные стоят и летом, кривые. Редкая ветка зазеленест, сбросит на землю два-три яблока.

Есть хорошие дички на овсяном поле. Когда поспевают овес, люди с ружьями делают на тех дичках тайники, прячутся в ветках. Мелкие яблоки дички, а сладкие.

А те яблони, что за заборами в деревнях, до тех мне не добраться.

Интересно, когда же он съест свое яблоко? Где бросит огрызок?

Я помню, один раз он даже и не съел его, так и протаскал весь день по лесу и домой унес. Неужели забыл про яблоко? Я в тот день близко к нему не подходил.

Теперь-то я понял, что он в лесу один.

Старый запах мешал мне. Старый запах был спереди, а он-то был сзади. Он сам шел навстречу себе, раньше прошедшему. А мне показалось, что их двое — два человека с яблоком в кармане.

Я вернулся немного назад и увидел, как он стоит на дне оврага.

Он стоял неподвижно и рассматривал мои следы. Если б поднял голову — увидел бы меня и, конечно, сразу бы выстрелил.

Я видел, что он готов стрелять сразу, и на всякий случай убрал голову. Скоро стемнеет, совсем скоро.

Я решил пройти по его старому следу и тут услышал его голос. Раньше никогда не слышал.

Тот, кто лает по-собачьи, частенько кричит. Тот, что гоняет зайцев, кричит и трубит собаке, а этот не говорит ни слова. А тут — заговорил.

Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане.

...Явился Сухолапый.

Конечно, это он. В одном прыжке — три следа, а нужно четыре. Два прыжка — шесть, а надо восемь.

— Восемь надо, — сказал вдруг я. — Не три надо, а четыре, не восемнадцать, а двадцать четыре.

Меня поразила эта неожиданная арифметика, и некоторое время я как-то тупо и вслух повторял эти числа: три, четыре, шесть, восемь...

Быстро темнело, неумолимо быстро, стремительно.

Собравшись с духом, я вылез из гиблого оврага и сразу же положил костер.

Я не выбирал сушняка, а валил в кучу все — мокрые сучья, гнилушки, все, что попадало под руку. Только нижние бесхвойные ветки елок положил под гнилье. Они-то, вечно сухие, выручали. Помогала и береста. Я драл ее с березок, и тяжелый дегтярный дым охватывал мокрые сучки и коряги, вспыхивала живая хвоя, наваленная в костер. Дым нехотя поднимался к небу, но неба не достигал, здесь оставался, в еловых верхушках.

— Сухолапый... Правая передняя у него перебита. Усохла. Сколько же лет прошло с тех пор? Четыре года. Четыре года с сухой лапой. Сохатого не взять... Ягоды да овес.

То, что Сухолапый скотинничает, заметили давно. Корову взять куда легче, чем сохатого. Но где корова-то? Где ее найдешь? А в стаде два пастуха да четыре быка. Редкую заблудшую дуру-коровенку Сухолапый брал сразу.

Исчезали шавки и шарики, но и волков развелось много. Десять лет не видали волчьего следа, и вдруг волк объявился. И много сразу — не одиночные, стаей.

Шавки и шарики — волчья, видимо, совесть, а вот Николай Могилев — неизвестно чья.

Мертвого, с разодранным горлом, с перебитым хребтом нашли его грибки. Натоптали вокруг грибки, всюду понамяли траву, наследили, а там и дожди начались, и неизвестно было, на чьей совести Николай Могилев, только метрах в трехстах заметили и след Сухолапого. То, что это зверь, а не человек, решили все и разом. Я-то не видел, ничего сказать не могу, но думал — рысь.

Родственники Николая Могилева накинулись на Туголукова.

Тогда, вынесенный с переломанными ребрами на берег, Туголуков рассказал, как ударил топором по корявой лапе, и с тех пор всякая заблудшая коровенка шла Туголукову в зачет. Встал за его спиной и Николай Могилев.

Били бедолагу Туголукова, деньги с него брали за коров, и он давал. Говорили про него, что он хотел эдак запросто добыть в воде гору мяса и накинуся с топором. Туголуков оправдывался, дескать, он думал, что это торф плавучий, и только оттолкнулся багром. Молчать бы ему, дураку, про торф, про багор, про башку плавучую. Никогда, ни в коем случае никому нельзя рассказывать про то, как плавает по воде торфяная башка.

Совсем плохо стало Туголукову после Николая Могилева. Тогда он затеял ходить в лес, искать Сухолапого. Он громко кричал на всю деревню, зачем идет в лес, кого хочет встретить, с кем посчитаться. Но, говорят, он лаял по-собачьи. Кто-то про-

следил и подслушал, как лает Туголуков. Такая уж была ерунда и ерундой бы осталась, бог с ними, с коровенками, но был и Николай Могилев с разодранным горлом.

14

Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане.

Зачем он говорит? Сгрыз бы яблоко. Не люблю, когда люди в лесу говорят. Говорить они должны в деревне, а в лесу — кричать. Они всегда в лесу кричат или шепчутся.

Он говорил недолго и скоро замолчал, и я вдруг вспомнил тот крик. Тогда кричал случайный человек, на которого прыгнула Сосновая Собака. Тогда был такой крик, что все разбежались, а кое-кто пошел на крик. И я пошел. Близко я не подходил, но знал, что случилось. Сосновая Собака прыгнула на случайного. Она оказалась тогда у нас, она приходит редко, а тогда оказалась.

Она лежала над тропой на сосновой ветке и поджидала кого-нибудь. Все знали, что она там лежит, и никто не пошел по тропе. Она лежала несколько дней и думала, что все позабыли, что она ждет. Но все помнили.

Тогда и появился случайный, и Собака не выдержала. Прыгнула.

На меня-то не прыгнет, но я все равно никогда не пойду туда, где лежит Сосновая Собака.

Сосновая Собака прыгнула на случайного и потом сразу ушла. Он долго лежал в лесу, и туда никто не подходил. На всякий случай и я ушел на Цыпину Гору, а когда вернулся — его уже не было.

15

Но был и Николай Могилев с разодранным горлом.

Говорили, говорили, что ходит Сухолапый за людьми, что за следом одиночным не раз видели и след Сухолапого. Ходит за спиной и вперед забегает. А зачем?

Ладно, хватит мне бегать. Теперь уж я не сдвинусь с места. Буду ждать у костра.

Сухолапый шел за мной и вперед забегал. Он ненавидел меня. Не только Туголукова, а всех вообще, любого человека. И меня. Он вперед забегал и ждал темноты.

Прижавшись к елке спиной, я глядел на костер. Он горел мелко, жалобно. Синие и желтенькие язычки лизали мокрые сучья, и несуразный дым стелился над маленьким огнем.

— Яблоко! — вспомнил я. — Что ж я его таскаю целый день?

Я достал из кармана яблоко. Это была крепкая скуластая антоновка, с зеленой.

Никогда в жизни я не был особенным любителем яблок. Я знаю людей, которые только и думают, как бы яблочка куснуть, а я к ним спокоен. По случаю купил полмешка и день за днем — яблоко по яблоку — выбирал свои полмешка. Говорят, если каждый день съедать по яблоку, будешь потом когда-нибудь очень здоров.

Я куснул яблоко и услышал невдалеке — скрлллл... — так скрипит надломленное дерево — скрлллл...

Скрип заглох, и я задумался — куснуть ли еще разок, и снова — скрлллллл...

Бог мой, неужели скрлллл?..

Скирлы, скирлы? На липовой ноге?

Скрипи, моя нога,

Скрипи, липовая.

И вода-то спит,

И земля-то спит,

И по селам спят,

По деревням спят...

— Сходи, старик, сходи по дрова.

И пошел старик по дрова.

А навстречу — медведь.

— Давай, старик, бороться.

Стал медведь старика ломать, а старик взял да и отрубил ему топором лапу.

Напугался медведь, что старик его всего порубит, и убежал в лес.

А старик принес медвежью лапу домой.

— Сварим, старуха, суп.

Содрали они с лапы кожу и сварили суп.

А медведь надумался и сделал себе липовую ногу.

Пошел в деревню.

Скрипи, моя нога, скрипи, липовая...

Напугались старик и старуха и спрятались под черные рубахи.

Спрятались под черные рубахи.

16

...А когда вернулся — его уже не было.

На дне оврага снова слышался треск, и я увидел, как человек с яблоком в кармане сквозь кусты продирается ко мне. Я отошел, а он вдруг начал ломать ветки, резать ножом березу. Потом появился дым.

Ветра не было, и дым передавался по каплям, мельчайшим

каплям, которые пронизали воздух. Не люблю мокрый воздух. Ероде и дышишь и пьешь.

Снова заныла лапа, не от дыма, конечно, а сама по себе, и все это вместе — мокрый снег и сырой дым, боль в лапе — раздражили меня.

Не ожидал я этого дыма. Человек с яблоком в кармане редко раскладывал костер — и то на опушке или у реки, а в глущине-то леса кому нужен огонь? Наверно, это огонь против меня.

А я не боюсь огня. Конечно, неприятно, если тебе в морду сунут горящую головешку. Но попробуй-ка сунь. Это еще надо успеть сунуть мне в морду горящую головешку.

В несколько прыжков приблизился я к костру, да зацепился случайно за скрипящую осину. Давно уже упала она и держалась на ветках сосны. Под ветром они раскачивались вдвоем — сосна и осина — мертвая и живая, терлись боками, и нудный такой, тоскливый звук раздавался в лесу.

Мне этот звук приятен. Я бы давно вывернул и сосну и осину, если бы мне не нравился звук. И лапа ноет, и осина скрипит — это как-то связано.

Я зацепился — и заскрипела осина. Раньше я не думал, что можно так дернуть ствол — и осина заскрипит. Я думал, это может только ветер.

Я попробовал еще раз, дернул — и она заскрипела.

Зря я так скрипел — ясно ведь, что ветра нет, и все-таки я еще поскрипел немного.

Потом осторожно пошел к огню.

Огонь был слабый, а дым огромный. Иногда за дымом даже не мелькало пламени.

Человек с яблоком в кармане стоял, прижавшись спиной к елке. Он достал из кармана яблоко и жевал его. Ружье стояло у елки стволами вверх.

Сейчас ни ружья схватить, ни головешки сунуть он не успеет.

17

Спрятались под черные рубахи.

А медведь нашел их, взял да и съел.

Скррррр... осина скрипит. Это не липовая нога, это — осина, гнилая дуплистая осина, которая упала, но не достигла земли, зависла в сосновых ветках. Я видел ее раньше и слышал, как скрипит она под ветром.

Только сейчас-то к чему осине скрипеть? Ветра-то нет. Неужто Сухолапый?

Скирлы, скирлы на липовой ноге и, главное, черные рубахи, под которыми надо прятаться. Да ведь не спрячешься от ужаса под черную рубаху.

Костер разгорался туго, но жар его охватил мое лицо, пар пошел от мокрой телогрейки.

Я отставил в сторону ружье и стал досаждать яблоко. Из головы никак не выходила осина, скрипящая без ветра. Что-то еще в этой осине было, кроме скрипа, а что, я не мог понять или вспомнить.

Боже мой, да ведь я давно знаю эту осину. Где же я заблудился? От осины с полкилометра до опаленных бугров, а там рядом и кишемская тропа.

Я даже засмеялся. Заблудился! Где я заблудился? Осина-то вот она. Пошел обратно по своим следам! Это, конечно, зима такая — тупая голова.

Если б я не поворотил с гривки назад — и не увидел бы следов Сухолапого.

Постой, как же так? Как Сухолапый догадался, что я блуждаю? Как он узнал, что я пойду обратно по своему следу? Нет, он не знал, он никак не знал, что я поверну назад. А может, он вовсе и не преследовал меня, а, напротив, от меня убегал?

Я его стронул, поднял, и он пошел туда, откуда я пришел. Там было тише, спокойней.

Шагов через двести он снова случайно попал на мой старый след, и в этот момент я уже шел обратно. Не шел — бежал!

Он услышал, как хрустят сучья у меня под ногами, — и сам побежал от меня. Неужели он побежал от меня?

В овраг он скатился на полном ходу — иначе не было бы таких глубоких борозд. Зачем ему спешить? С тремя лапами овраги надо пересекать осторожно. Убегал!

Хорошо, что я положил костер, теперь-то Сухолапый понял, что я успокоился. Сейчас он, наверное, спокойно возвращается на гривку, туда, поближе к берлогу.

Костер? А зачем мне костер? Мне он теперь не нужен.

Я быстро разбросал дымящиеся ветки, затоптал, завалил снегом головешки.

Закинув за плечо ружье, отошел от костра.

18

Сейчас уж ни ружья схватить, ни головешки сунуть он не успеет.

Он стоял по-прежнему у елки и протягивал к костру то одну руку, то другую. Вдруг он засмеялся и замахал руками. Схватил горящую ветку, отбросил в сторону, потом другую схватил

ветку, сунул в снег. Пар и дым смешались, запахло мокрой гарью. Ногами разбрасывал он костер.

Схватив ружье, он отошел от костра. Он шел быстро, спокойно и уверенно, и шел прямо на меня. Я бы мог отойти в сторону, успел бы, но я не отошел.

Я встал на задние лапы, выпрямился.

Он увидел меня и должен был сейчас стрелять.

А яблоко-то свое он все-таки успел сгрызть. Глупо это — таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить.

19

Закинув за плечо ружье, я отошел от костра.

Я шел прямо к скрипящей сосне и вдруг увидел Сухолапого. Кажется, я заметил его первым.

Нет, не багровой в сумерках была его голова. Мне она показалась темно-зеленой, а глаза светлыми. Желтенькие, что ли?

Сухолапый вздрогнул и поднялся на дыбы.

Я тут же оборотился к нему спиной и пошел к скрипящей осине. Было всего несколько шагов. Раз, два, три, четыре... я дошагал до осины. Я не знал, остановиться мне или нет.

Я остановился. Тронул осину рукой. Нет, не скрипит. Привалился к ней плечом, и слабо, слабо скрипнула где-то наверху ее макушка.

От осины я пошел дальше к опаленным буграм. Я не оглядывался.

Сумерки все тянулись, когда я оказался на кишемской тропе, и только когда вышел из леса, в поле настигла меня ночь.

Я уже перешел поле, когда услышал далекий осиновый скрип.

20

Глупо это — таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить.

ОТ КРАСНЫХ ВОРОТ

С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре.

Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталки-

вал полуживых подлещиков, пойманных на манную кашу. Подлещики полуживые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во всякую приличную лодку.

Я-то ленился, шевелил полуживых подлещиков, а Боря — мой дорогой брат — серьезно наваливался на весла.

Боря спешил, торопился Боря, он боялся опоздать на автобус.

В том месте, где река Сестра проходит под каналом, то есть в том самом удивительнейшем месте, где пересекаются река и канал, и русло канала в бетонной оболочке проходит над живою рекой, — в этом самом месте я увидел на берегу реки небольшого роста беленькую собачонку.

Собачонка бежала по берегу, а мы с Борей плыли по реке.

Я ленился, Боря спешил, собачонка бежала.

От нечего делать, просто так, из чистого баловства я пома-нил собачонку пальцем, а после вытянул губы и издал специальный собачий звук, тот звук, которым всегда подманивают собаку. Звук этот записать буквами довольно трудно, он похож на эдакий всасывающий поцелуй. Если пытаться изобразить этот звук буквами, получится что-то вроде «пцу-пцу».

И вот я проделал это самое «пцу-пцу» и сидел себе лениво на корме.

Маленькая беленькая собачонка услышала этот немыслимый звук, поглядела на меня с берега и вдруг бросилась в воду.

Ничего подобного ожидать я никак не мог.

Это ненормальное «пцу-пцу» я произнес нарочно, юмористически. Я подманивал собачонку, прекрасно понимая, что она подойти ко мне никак не может. Это самое «пцу-пцу» подчеркивало разницу наших положений: я — в лодке, а собака — на берегу. Нас разделяла бездна, то есть вода. Никакая нормальная собака в воду не полезет, если ее не подтолкнет хозяин.

Маленькая беленькая собачонка оказалась ненормальной. Она кинулась на первое приглашение, не раздумывая преодолела бездну. Она плыла ко мне.

Когда она подплыла к лодке, я схватил ее за шкурку и втащил в судно. Маленькая беленькая собачонка чудовищно отряхнулась среди полуживых подлещиков.

Брат мой Боря бросил весла. Он должен был что-то сказать. Но он молчал, он не знал, что сказать. Мое беспардонное «пцу-пцу», реакция собачонки, ее плавание, втаскивание за шкурку и чудовищное отряхивание — все это произошло мгновенно.

Боря не знал, что сказать, а сказать что-то было надо. Старший брат в таких случаях всегда должен что-то сказать.

Я не знаю, что сказали бы в таком случае другие старшие братья, но мой гениальный брат думал недолго.

Строго осмотрев собачонку, он сказал:

— Гладкошерстный фокстерьер.

Брат мой Боря спешил, торопился Боря.

Мигом подогнали мы лодку к тому месту, где стоял на берегу ее хозяин. Мигом отдали хозяину трешку, мигом добавили еще рубль, мигом связали удочки и покидали в мешок подлещиков.

И вот мы уже бежали на автобус. Маленькая беленькая собачонка бежала за нами.

Автобус мчался по шоссе, мы бежали вдоль дороги. И нам, и автобусу надо было сойтись в одной точке, у которой уже толпился народ. Эта точка называлась «Карманово».

Автобус все-таки нас опередил. Он уже стоял, а мы еще бежали, но шофер-добряк видел нас, бегущих, и не торопился отъехать.

Мы добежали, мы ввалились в автобус, мы сбросили рюкзаки, мы уселись на эти особенные автобусные диванчики, мы устроились, и все пассажиры устроились, и мы могли уже ехать.

Шофер почему-то медлил. Может быть, он прикуривал?

Я глянул в открытую дверь автобуса и увидел на улице, на обочине шоссе, маленькую беленькую собачонку, чью породу так верно определил Боря.

Она смотрела в автобус. Шофер медлил или прикуривал. Мы уже сбросили рюкзаки и сидели на особенных автобусных диванчиках. Мытирали мгновенный пот. Боря уже не спешил, он не опоздал. Шофер все прикуривал. Собачонка смотрела в автобус, на меня.

Просто так, от нечего делать, по-лентяйски я сделал губами тот самый немислимый и беспардонный звук, то самое «пцу-пцу», о котором я уже рассказывал.

Маленькая беленькая собачонка ринулась в автобус, мигом спряталась под тот особенный автобусный диванчик, на котором сидел я, и затаилась у моих ног.

Пассажиры автобуса заметили это, но сделали вид, что ничего не заметили. Шофер прикурил, двери закрылись, и мы поехали.

Брат мой Боря должен был что-то сказать. Мое вторичное малопардонное «пцу-пцу», которое привело к известному результату, удивило его. Удивило его и поведение маленькой беленькой собачонки, которая сидела сейчас у моих ног под тем особенным автобусным диванчиком.

Брат мой Боря, мой единственный братик, сказал:

— Гладкошерстные фокстерьеры, — сказал он, — встречаются реже, чем жесткошерстные.

Так и не говорил Боря ничего более, пока мы тряслись в автобусе. Он долго оставался автором этих двух гениальных фраз.

Но когда мы сели в поезд, в электричку, в городе Дмитрове и когда маленькая беленькая собачонка устроилась у моих ног под

той особенной деревянной лавочкой, Боря сказал фразу малогениальную.

Я вначале ее даже не услышал, я надеялся, что он не станет ее повторять, я думал, он понимает, что ему никогда в жизни не надо говорить малогениальных фраз.

Но Боря-чудак все-таки повторил ее.

— А что скажет отец? — повторил он.

Что скажет отец, знали, конечно, все. Знал я, и знал мой брат Боря. Все жители нашего дома у Красных ворот знали, что скажет отец.

Отец мой, мой дорогой отец, которого давно уже нет на свете, не любил домашних животных. Он не любил никаких домашних животных, кроме, конечно, лошадей. Он обожал лошадей, и страсть к лошадям погубила в нем возможные страсти к другим домашним животным. Он не любил никаких домашних животных, и особенно свиней.

Отец мой в юности, далеко-далеко, в той деревенской своей юности, когда он и не знал, что такое город, в той юности отец имел лошадей.

Сам он их, конечно, не имел, их имел его отец, то есть мой дед. А мой отец пас этих лошадей и гонял их в ночное. На ночь уводил он их из деревни в лес или в поле и пас их, а на рассвете пригонял в деревню. Он не должен был при этом спать, он должен был пастись лошадей. Но он мечтал поспать.

И он привязывал лошадей за веревку к собственным рукам и спал, а они паслись и таскали моего отца на этой веревке по лугам и полям. А он спал. Ему даже нравилось так спать на траве, когда пасущиеся лошади таскают его на веревке.

Однажды он проснулся, подергал за веревку и почувствовал, что лошади здесь, только как-то они «туго стоят». Отирая свои глаза, он взялся за веревку и, перебирая ее руками, пошел к лошадям. И он увидел, что веревка привязана к дубу, а лошадей нету. Лошадей не было, их украли цыгане, а веревку привязали к дубу, пока спал отец мой на траве.

Эта история была решающей и роковой в его жизни.

Потеряв лошадей, отец мой — тогда еще очень молодой человек — напугался. Были утрачены две лошади — кормильцы огромной семьи, и отец не решился явиться под глаз своего отца — моего деда. Он сбежал и после долгих странствий оказался в Москве, где и встретил мою маму.

Потом-то отца моего простили, потом-то из Москвы он пытался помочь моему деду, и все-таки эта история была роковой. Никакая московская помощь не может заменить двух лошадей — кормильцев огромной семьи.

Итак, отец мой не любил никаких домашних животных и особенно свиней. Он обожал только лошадей, но он не имел права обожать их вблизи, он их обожал издали. Сердце его

радовалось, когда по улицам Москвы проезжала конная милиция.

Отец смеялся от души, когда видел конную милицию. Его удивляло, как же это так — милиция и вдруг лошади, — это несовместимо. Но это совмещалось на улицах Москвы, особенно когда играли футбольные команды ЦДКА — «Динамо». Тогда бывало отчего-то особенно много конной милиции.

Когда играли «Спартак» — «Торпедо», никакой конной милиции не бывало вовсе. Отчего это происходило, москвичи не понимали.

Отец обожал лошадей. Страсть к другим домашним животным совершенно отсутствовала в его душе, и всем ясно было, что скажет отец, когда увидит маленькую беленькую собачонку, которую он пока не видел и которая сидела пока в электричке Дмитров — Москва у моих ног.

Отец не сказал ничего.

Он даже как будто не заметил маленькой беленькой собачонки. Он был потрясен теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете. И еще он был потрясен событиями, которые происходили в нашей семье.

Потрясенный этими событиями, отец не заметил никакой маленькой беленькой собачонки. То есть никто не заметил, что он ее заметил, кроме, конечно, меня. Я-то прекрасно понял, что отец собачонку видит, но ему, потрясенному многими потрясающими событиями, просто не пристало ее замечать.

Все ожидали, что отец начнет говорить насчет собачьего духу, которого чтоб не было, а он подошел ко мне и негромко сказал:

— Сам.

Повернувшись ко мне спиной, он прошел в кабинет.

Ожидая, что отец скажет насчет духу, которого чтоб не было, никто вначале не понял, что он имел в виду, говоря «сам». Это слово не слишком связывалось с домашними животными.

Но я все понял. Я понял, что «сам» — это я сам. Раньше я был не сам, а теперь сделался сам в связи с теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете и в нашей семье.

Раньше я был младший ребенок, а теперь сделался «сам», и маленькая беленькая собачонка — первый признак моего нового положения. А раз я сделался «сам», я имею право заводить хоть маленькую беленькую собачонку, хоть жеребца, но все это — на мне. Сам пою, сам кормлю, сам воспитываю, сам за все отвечаю. Сам.

Отец сказал «сам», повернулся и прошел в кабинет, а родственники минуты две думали, что означает его фраза, столь короткая и простая. А на третью минуту все отвлеклись от меня,

от слова «сам» и от маленькой беленькой собачонки, которая стояла в коридоре, тесно прижавшись к моей ноге.

На третью минуту мы были забыты. Все в нашей семье были заняты событиями, которые происходили тогда в мире и в нашей семье. В мире происходили тогда события, которые всем известны, а в нашей семье женился Боря. Три дня оставалось до его свадьбы.

Нас позабыли, нас отправили спать, а сами на кухне долго еще обсуждали то, что должно было произойти через три дня.

Глубокой ночью Боря вошел в комнату, где я пытался уснуть и где спала, посапывая, у меня под кроватью маленькая беленькая собачонка.

— Как ее звать-то? — спросил Боря. — Как ты хочешь назвать эту собачонку из группы терьеров?

— Знаешь, — сказал я, — мне хочется назвать ее Миледи.

— Миледи? — удивился Боря.

— Миледи, — признался я.

Я тогда очень любил эту книгу, «Три мушкетера», и давно уже решил, если у меня будет собака, назвать ее Миледи.

— Миледи, — сказал Боря. — Красивое имя. Только извини, братишка, это имя собаке никак не подходит.

— Почему же? — замирая, спросил я.

— Потому что это явный Милорд.

С братом Борей, дорогим моим братом Борей творились чудеса. Боря бледнел на глазах, он бегал по городу и по квартире, он разговаривал по телефону на английском языке. Меня и собачонку он вовсе не замечал, и я понял, что надо потерпеть, надо переждать, пока кончится его гениальная свадьба и Боря придет в себя и вернется ко мне и к маленькой беленькой собачонке.

Боря бледнел, звонил по-английски, а я присматривался к собачонке, которая внезапно получила наименование Милорд.

Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.

Розовые, розовые, розовые глазки!

Из-за вас

в который раз

хожу на перевязки.

Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи.

Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики.

Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам — ирландским и гордонам, я уважал дратхааров, преклонялся перед западносибирской лайкой.

Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком.

Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали черные и коричневые пятна. Одно ухо — черное, а вокруг глаза расширилось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок — осмысленные, карие, с золотинкой.

И все-таки для моих широких собачьих воззрений Милорд был мелковат. Его можно было назвать словом «кобелек», и это меня огорчало. Чего уж там — «кобелек», надо бы — «кобель».

Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык понимает, а мне надо пока обождать. И я ждал, размышляя, совпадает ли Милорд с широтой моих собачьих воззрений? Не шампиньончик ли он? Все-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелек, но не шампиньончик.

Странно все-таки это получилось, что у меня объявился Милорд.

Мое беспардонное «пцу-пцу» почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немислимый звук?

Но что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит «пцу-пцу»? Да ровно ничего, кроме сухарика и легкого потрепывания за ухо. И Милорд получил это сразу же, в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадет ли ему еще чего-нибудь.

И ему перепало второе «пцу-пцу», решающее. И он ринулся в автобус.

Он выбрал меня, он порвал с прошлым. И я принял его.

Судьба точным движением свела нас в одной точке.

Самое же удивительное было то, что отец сказал «сам». Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда Милорду был нужен я, мне — он и когда отец не мог ничего возразить.

Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой Боря разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных ворот.

У Красных ворот стоял наш дом — серый и шестизэтажный,

эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.

Я гордился тем, что живу у Красных ворот.

В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:

— Ты где живешь?

— На Земляном или на Садовой, — отвечали прохожие.

— А я у Красных ворот.

Это звучало сильно.



Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.

Не было, не было Красных ворот, и все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом.

Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку.

Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты.

Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Ленечка играл на гитаре «чёсам» «Свадебный марш» Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Мироныч.

Было много гладиолусов.

Невеста с божественным именем Ляля была воздушна.

Крик «горько» бушевал как прибой, плавно переходя временами в «Тонкую рябину».

Боже, кого только не было на этой сногсшибательной свадьбе! Были, конечно, и Голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира, блистательный Сережа Дивильковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев... Нет, постой, Вовочки вроде не было. А кто же тогда играл на аккордеон-четвертинка?

А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был бы быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась.

Ну уж а Витька-то был. Как же не быть Витьке-то по прозвищу Старик?! Был Витька, был!

Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей три бутылки портвейна, сала и пирогов.

После полуночи слышались крики:

— «Мальчик веселый!» «Мальчик веселый»!

Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что «Темная ночь» и «Бесамемуча» уже отгорели. Требовался «Мальчик веселый», и я вылетел под свет свадебных прожекторов.

Маэстро Соломон Мироныч ударил вступление, гитарист-хулиган прошелся «чёсам», Боря ласково улыбаясь мне.

Эту песню про веселого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою ее изумительно и особенно с того места, где начинается «Ай-я-яй». Эту песню я люто ненавижу и особенно с того места, где начиналось «Ай-я-яй».

Но вступление было сыграно, Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести.

Лихо надета набок папаха,
Эхо разносит топот коня,—

начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт,—

Мальчик веселый из Карабаха,
Так называют люди меня.

И далее следовало чудовищное по своей безумной и неудобова-
римой силе «Ай-я-яй».

Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпослед-
нем «яй» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво пони-
мали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это
сделал, и они легли.

И они еще лежали, когда я предложил им:

Пейте, кони мои!
Пейте, кони мои!

Лежащих надо было поднимать, надо было их напоить, и им
самим хотелось подняться и напиться, только лишь бы я это сде-
лал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый вто-
рой из них чувствовал себя воронным конем.

Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло не-
сколько гладиолусов, а я уже и сам-то ничего не понимал.
Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках
бутылку мадеры, меня и Милорда ведет к себе ночевать
Ленечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган.

Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он
уехал к своей воздушной невесте, к которой мы так спешили
тогда с подлещиками и с Милордом. А мне этого не сказали, что
Боря уехал навечно, я думал, что ненадолго, как будто в воен-
ный лагерь, на переподготовку. И я его ждал ежедневно, потому
что жить без него я никогда в жизни не мог.

Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, рас-
спрашивал про Милорда и про те другие важные дела, которые
мне предстояли, но родители быстро перехватывали у меня
брата и долго разговаривали с ним, и Боря уезжал.

И все изменилось в жизни, все изменилось, но я еще не пони-
мал, что все изменилось, я толковал себе, что Боря как бы в
военном лагере на переподготовке.

А Боря жил теперь у Ляли. И это было далеко от Красных
ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре.

И если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу
налево — можно дойти пешком до Смоленского бульвара.

А если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу направо — тоже можно дойти до Смоленского бульвара.

В метро и в троллейбус с Милордом меня не пускали, и мы ходили по Садовому — то налево, то направо — и всегда добивались до Смоленского бульвара.

Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и желтые дома. И все-таки он был, был там бульвар. Были и деревья и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных ворот.

Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом, а мне уже пора было домой, на обратную дорогу оставалось полдня.

От Смоленского бульвара я шел по Садовому кольцу к Красным воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я еще не понимал, что брата потерять невозможно.

Милорд — вот кто меня веселил.

Он был умен, а следовательно, интеллигентен. Ни о чем я не просил его дважды, и он меня ни о чем не просил и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка.

Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал Милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению, он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обутой.

Далее мы двигались вместе — я и Милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата, а теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился Милорд.

Произошла замена, и я пока не понимал, что лучше: самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается.

Я все-таки желал двигаться у Бориного ботинка, и одновременно пускай бы у моего ботинка двигался Милорд.

Но этого мне не было дано, и спасала только мысль о военной переподготовке.

После завтрака мы с Милордом отправлялись во двор.

Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с Милордом вдвоем гуляли у фонтана.

От нечего делать я учил Милорда стоять у меня на голове.

Дело это было сложным. Прыгнуть прямо ко мне на голову Милорду не удавалось — не допрыгивал, и в конце концов я подсаживал его на верхнюю гипсовую розу фонтана, и Милорд перебирался с нее ко мне на голову. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах.

С Милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь, хотя бы мелкой шпаны.

Но тут с третьего этажа моя тетушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени мое имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли и которые в будущем должны были провести резкую грань между мной и уличной шпаной.

Голова и ботинок — вот предметы, которые я предоставил Милорду, но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт.

Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой Боря, понимали школьные учителя, разве только Милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошерстного фокстерьера, вряд ли поступит в педагогический институт.

Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю, и мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова.

Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича — его яростная борода и пронзительный взгляд — мгновенно превращал двоечника в троечника.

Когда же Протопопов открывал рот и слышались неумолимые раскаты, новообращенному троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четверочника.

— А дальше уже от бога, — решал обычно Владимир Николаевич.

Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошел к ним в класс поздней осенью сорок шестого года.

Дверь их класса вначале сама по себе затряслась.

Она тряслась от волнения и невроза. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, а кто — не понимала. У нее дрожали зубы, ее бил озноб, и с грохотом наконец дверь распахнулась.

Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери — и явился Протопопов.

Он был, как я уже подчеркивал, в шапке, а на правом его плече висел рюкзак. Кроме того, он был в черном костюме и в галстук, но именно шапка и рюкзак вспоминались впоследствии, а галстук и костюм позабылись.

Стремительным и благородным каким-то полушагом-полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно провещил:

Как с древа сорвался предатель ученик...

Ученики, которые успели встать, чтоб поприветствовать учителя, остолбенели у парт своих, те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем-полустоячем положении.

Владимир Николаевич между тем впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание. Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит в бездну.

Бездна эта была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И всем ясно было, что, пока летящий предатель не достигнет чего-нибудь, обо что можно вдребезги расшибиться, Протопопов будет следить за его полетом.

И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак.

И всем ясно стало, что предатель достиг чего-то и расшибся вдребезги. Это была мгновенная и страшная смерть.

Протопопов протянул было руку к шапке, хотел было снять ее, но раздумал.

После смерти образовалась пустота.

В пустоте же этой медленно начинало что-то копошиться, зашуршало что-то, а что — было непонятно.

— Дьявол прилетел, — прошептал Протопопов. — К лицу его приник.

И Владимир Николаевич отвернулся от этой картины, ему неприятно было видеть все это. Но объяснить происходящее было все-таки необходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами:

...Дхнул жизнь в него, взвился с своей
добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны
гладной...

Владимир Николаевич пошарил многозначительно в рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык, потом достал буханку хлеба и снял, наконец, шапку. Врезал штыком буханку и начал есть хлеб.

Ученики окончательно окоченели.

Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто: если они будут плохо учиться — «дьявол» будет в них «жизнь дхать».

Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилась вратами, ведущими в «гортань геенны гладной».

Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое на кого из класса:

Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни...

Окоченевшие ученики немедленно почувствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтоб наслаждение битвой жизни сделалось им доступно.

Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он и моему брату Боре. И Боря тогда понял, что еще не все потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар.

Некоторые же ученики, наверно, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках хлеб ест. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство:

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима...

Владимир Николаевич совершил чудо.

Он вырвал моего брата Боря из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых, туда, поближе к уровню вальдшнепов и лебедей.

Он совершил чудо, а сам ушел из школы, в которой учился мой дорогой Боря, а затем я.

Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я еще болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло, и он взялся за это тяжелейшее дело.

Поздним вечером, часов в одиннадцать, я выходил из дому. Я шел к Владимиру Николаевичу Протопопову.

От Красных ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шел по Садовой-Черногрязской к Земляному валу, там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полета вальдшнепов.

Делал он это ночью. Днем у него не было никакого времени, и, кроме того, он считал, что ночью гагарство мое дает слабину.

Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради.

Заприметив меня, он смеялся весело, от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-

таки тяжелых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель.

Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку «Золотым руном» в смеси с табаком «Флотским».

И мы начинали пить чай.

Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай, и ему правилось, как я справлялся с этой человеческой наукой.

Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему, как мог, помогал.

В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока: мне, потенциальному двоечнику и другу гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотней меня.

Одним махом Протопопов убивал многих зайцев.

Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил еще одного зайца: я немного все-таки облегчал гору его тетрадей.

Он доверял мне даже ставить отметки — двойки и четверки. Тройки и пятерки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его мысль.

Он, конечно, понимал, что мне, как другу гагар, двойки несимпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался «натянуть на тройку». Мне казалось преступным ставить двойки бедным гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку — это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку.

Тройки Протопопов за мною перепроверял, а пятерки всегда считались от Бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам.

Ну а четверка — пожалуйста. Четверку он мне доверял, тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим.

Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки — двойки, тройки, четверки и пятерки.

— Учитель! — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. — Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...

И тут он перепроверял за мной тройки и пятерки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал:

— Гагарство... — И ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение.

Глупость моя или недоразумение никогда не сопровождалось протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья, а тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место тетради, где я допустил гагарство, а если я ничего не понимал, сопровождался жесткими ногтеобразными словами.

Потом я засыпал наконец на кожаном учительском диване и, просыпаясь иногда, видел, как сидит мой учитель за столом, пьет чай, курит трубку и все проверяет, проверяет бесконечные тетради, и сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда.

Как-то зимней метельною ночью и на меня напала бессонница, а в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение, и я написал стихи:

Метели летели,
Метели мели,
Метели свистели
У самой земли...

Владимир Николаевич смеялся, как ребенок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил, в каком-то чудовищном мгновенном плясе пронесся по учительской, напевая:

Летели метели
В розовом трико!

Я был потрясен. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели, значит, озарение мое было не в счет и все это пахло недопустимым гагарством.

Были однажды поздние дни мая.

Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвел к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие от росы листья.

Мы смотрели в окно.

Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь.

— Был утренник,— сказал он. Помолчал. Продолжил: — Сводило челюсти...

Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь.

...И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Крепкий удар, завершающий строфу.

Так Владимир Николаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию.

Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить.

Понимал это я, понимал это мой брат Боря, понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю, и я поступил.

Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце мое трещало от семейного счастья, грудь гудела от протопоповских кулаков, шпана свистела в окна, брат мой Боря ласково улыбался, гитарист-хулиган играл «чесом», у рояля безумствовал маэстро Соломон Мироныч, а на голову мне то и дело вспрыгивал Милорд, который к этому моменту научился летать.

Надо сказать, что проблема полета домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.

Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.

К нам присоединялось и некоторое третье лицо — тонкий кожаный поводок, который я пристегивал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, у фонтана отстегивал.

Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все различные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.

Это кожаное тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.

Как только я отстегивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.

Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.

Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мертвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.

С мертвой хватки и начались необыкновенные полеты Милорда.

Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертво. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычание и мои крики в стиле: «Отдай! Отцепись!»

Оконные зрители раздражали меня, я дергал поводок все сильнее. Милорд же все сильнее упирался и сквозь зубы рычал.

Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее — Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.

Низко, над самой землею летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.

Я кружился все быстрее, Милорд подымался в воздухе все выше и скоро достиг уровня моей груди.

Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.

Зрители остекленели в окнах.

Никогда в жизни ни одна собака не летала еще в нашем дворе вокруг фонтана.

Наконец чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.

Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянуто крепкою стальною противофутбольной сеткой.

Отпружинив от сетки, Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.

Необыкновенные полеты гладкошерстного фокстерьера сдлались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные типы с просьбою «повертеть Милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.

Я раздражал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.

Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большой же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.

А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в ее окно своей летающей собакой.

Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в ее окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полете, и как же, наверно, удивля-

лась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно ее летит по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер.

Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетаая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мертвую схватку с чудовищной центробежной силой.

Пришел месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института.

«Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал крупнейший Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.

Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки.

А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов, а под сводами этими... боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имен занял бы сотни самых убогих страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.

Ну вот хотя бы — Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Петр, хотя бы, Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лешка Мезинов, ну Эрик Красновский... Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имен, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чертовой матери детскую и юношескую литературу. Да ведь и как забыть эти лица, освещенные вечным пасмурным светом, люющим с наших северных небес в глубину Главного зала?! Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агрико-
лянский?

А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в свое время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю... Впрочем, хватит слез и глаз, но вот еще одно имя — Марина Кацаурова.

Именно из-за нее притащил я в институт Милорда.

Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мертвою фокстерьерской хваткой — и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почетнейшую доску, на которой было написано: «Славные сталинские соколы-стипендиаты».

Запахло отчислением.

Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Федор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось мое поведение. Среди прочих оборотов были в нем и такие слова: «...и тогда этот студент кинулся собакой в доску».

— «И тогда этот студент,— читал мне Федор Михайлович, многозначительно шевеля бровями,— кинулся собакой в доску».

И Федор Михайлович развел величаво философские брови свои.

— Что же это такое-то? — сказал он. — «Кинулся собакой». Вы что же это — грызли доску? Тогда почему «кинулся собакой в доску»? Надо бы — «на доску». Или студент был «в доску»? Что вы на это скажете?

Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.

— Впрочем,— размышлял Федор Михайлович.— Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава Богу, цела... Но поражает словесная фигура: «...и тогда этот студент кинулся собакой в доску». Что же это такое?

— Извините, мне кажется, что это — хорей,— нашелся наконец я.

— Хо-рэй? Какой хо-рэй?

— Четырехстопный.

— В чем дело? О каком вы хо-рэе?

— «И тогда этот студент кинулся собакой в доску»... Я полагаю, что это хорей, Федор Михайлович, но с пиррихием.

Федор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.

— Божественный хо-рэй! — воскликнул он. — Божественный хорэй! И он еще рассуждает о хо-рэе! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!

Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощен ли я.

— О, закрой свои бледные ноги! — воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата.

Оказалось все-таки, что я прощен, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привел классический пример одностиишия — «О, закрой свои бледные ноги». Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих.

Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать — собака есть собака, а студент есть студент.

К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашел ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт.

В первое воскресенье октября я повез его в лес, на охоту. Была тогда странная осень.

Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало — ни золотишки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они еще такие зеленые, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.

Я шел вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.

Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом — утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе — первой шла утка, а за нею — селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немыслимо-зеленой весенней селезневой головы, только по взлету и полету можно догадаться.

Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.

Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.

Было любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку. Сообразит, что ее нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит.

Наконец какой-то селезень зазевался. Он только еще начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.

Селезень бил крылом по воде совсем неподалеку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.

Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, призастряла немного, трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу.

Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать: спасать сапог или бежать к селезню, который все еще бил крылом по воде.

Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой обутой ноге.

А к полудню попали мы в лес — настоящий матерый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев — сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, униженный синими морозными ягодами можжевельник.

Я разложил костер. Мне хотелось накормить Милорда утиным супом, но, пока я возился да раздувал огонь, Милорд исчез.

Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу и, когда вернулся к костру, услышал далекий собачий лай.

Это был голос Милорда, и шел он из-под земли.

И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями — нора, ведущая в глубь бугра.

Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслята и рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли.

Лай вдруг прервался, послышалось рычанье. Так точно рычал Милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мертвой хватке, вцепился под землей в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если б и была, то какого черта и где копать?

— Милорд! — кричал я иногда в отчаянии. — Кончай эту ерунду!

Конечно, он меня слышал, но бросать барсука, а скорее всего это был барсук, не собирался.

— Ухожу! Ухожу на электричку! — в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду, так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймет, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает: я или мертвая хватка.

Я затоптал с яростью костер. Громко топая, пошел я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы.

Милорд появился внезапно и как ни в чем не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня.

Я все-таки подтащил его к ручью, слегка омыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом.

Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото, напрямик.

В одном особенном каком-то зеленом и сыром месте Милорд вдруг высоко подпрыгнул. Опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте.

Это была гадюка. Черная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею.

На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и Милорд тут же лизнул меня в пятку.

«Слава Богу, — подумал я. — Не успела укусить».

Я пошел умываться, и Милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись.

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой к Земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок.

— Держите его крепче, — сказал ветеринар. — Зажмите пасть.

Я прижал Милорда к клеенчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу.

А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец, нашелся человек, который рекомендовал марганцевые ванны.

Каждое утро Милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну.

А я двадцать дней подряд бегал с ним по Садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я Милорда.

Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре Милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и в конце концов бегал нормально. Все вроде бы пошло по-старому, изменилось одно: он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком.

Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошерстный фокстерьер.

Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет и когда-нибудь Милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А Милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.

Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена.

Дворничиха тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и Милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит.

Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая.

Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны.

Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахара или сухарик, и в полном восторге мы находили его.

Не знаю уж, что помогло — время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал — пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с Милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в Уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья.

Но я — по глупости — пошел в институт, а когда вернулся — Милорд встретил меня во дворе.

Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахара, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу Милорд без меня никогда не выходил.

Я обедал еще, когда услышал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени мое имя.

Я выбежал во двор.

— Мужик! — кричала мелкая шпана. — Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок! Пристегнул и потащил!

— Туда, туда по Садовой!

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой-Черногрязской к Земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана.

— Вон он! Вон он! Вон он! — кричали они.

Я бежал и не видел нигде Милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины, движение огромного города обгоняло меня, тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено и я больше никогда в жизни не увижу Милорда, и все-таки бежал, а навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к Земляному валу. От Красных ворот.

СЛУШАЙ, ДЕРЕВО

Корней Иванович был в огромных валенках. Я таких никогда не видывал. Валенки, наверно, валяли на заказ, специально для него.

— У вас, Корней Иванович, валенки сотого размера, — сказал я. — Я таких никогда не видывал.

— Восемьдесят четвертого, — сказал Чуковский. — Мне сейчас как раз восемьдесят четыре года, а я на валенки в год по размеру набавляю.

Была зима 1966 года.

Корней Иванович шагал впереди меня по узкой тропинке, пробитой в глубоком снегу. Я семенил за ним. Вдвоем на тропинке уместиться мы никак не могли.

— Прочитайте же свои стихи, — сказал Корней Иванович, не оборачиваясь.

Положение для чтения стихов было не самым выгодным, даже незавидным. Но другого случая почитать Чуковскому свои стихи могло и не представиться, и я начал:

Жили-были лилипуты,
Лилипуты-чудаки!

— Что-что? — оборотился Чуковский.

— Лилипуты!

— Ага, лилипуты. Ну и что они делали?

— Жили.



— Хорошо,— сказал Корней Иванович, шагая вперед.—
Давайте дальше. И погромче.

Ели, пили лилипуты,
Примеряли пиджаки,—

продолжал я, стараясь угнаться за Чуковским,—

Лили, лили лилипуты,
Лили, лили лимонад!

— Лимонад? А вы знаете, какой хороший лимонад пил я в Тбилиси?

Чтение стихов несколько прервалось. Я слушал про тбилисский лимонад, по-прежнему семена за Корней Ивановичем. Наконец, он сказал:

— Продолжайте.

— Может, начать сначала?

— Зачем же. Я все помню. Жили лилипуты, пили лимонад.

— Все-таки начну сначала, чтоб ритм не прерывался.

— Ну, пожалуйста,— сказал Чуковский.

По узкой снежной тропинке Корней Иванович уходил от меня, и я, догоняя, кричал ему в спину:

Жили-были лилипуты.

Почему-то меня это смешило, что я читаю в спину огромному Чуковскому, и я орал весело. Но дальше лимонада все-таки не двинулся — Чуковский вдруг остановился. Перед нами стоял на тропе человек. Это был изумительный писатель Борис Владимирович Заходер. Он поклонился Чуковскому. Корней Иванович поклонился в ответ. Они разговорились. Я стоял за спиной Чуковского, не зная, что делать с лилипутами.

— А вот смотрите-ка,— сказал Корней Иванович, оборачиваясь ко мне.— Вот — юный поэт. Он про лилипутов написал.

— Знаю, знаю,— сказал Борис Владимирович.— Добрый день, читал, читал.

К чести Бориса Владимировича надо сказать, что в те времена он не читал ни одной моей строчки. Не печатали.

Прогулка обростала людьми.

Вышли с тропы на широкую расчищенную дорогу. Здесь оказалось несколько бородатых литераторов с палками в руках. Среди них самым бородатым и, так сказать, самым палкастым был Лев Зиновьевич Копелев. Копелев приветственно замахал палкой, Корней Иванович махнул своей палкой в ответ.

Скоро уже небольшая толпа ходила вокруг Корней Ивановича, а сам Корней Иванович двигался то к своему дому, то к

дому творчества писателей. Я шел чуть сбоку, чуть сзади. Лилипуты откипели во мне.

— Ташкент! — громко рассказывал Корней Иванович. — Там в баню рвались, как на концерт Шаляпина. Вставали в очередь за семь часов до открытия...

— Корней Иванович, — прервал его кто-то, — сегодня мороз. А ведь врачи вам запретили много говорить на морозе.

— Ну и что? — сказал Чуковский. — Я не вижу здесь врачей.

— Но все-таки... надо побережись!

— Да ведь и рассказать кому-нибудь надо! Ну вас, лучше я дереву расскажу.

Он остановился и, слегка покломившись заваленной снегом сосне, густо сказал:

— Слушай, Дерево!

Сосна дрогнула. С веток ее посыпался сухой снег.

Литераторы с палками отсеялись, разошлись, отпрощались.

Мы с Корней Ивановичем остановились у крыльца его дома. Здесь, на деревянных столбах, выросли пуховые шапки снега.

— Вот смотрите, — сказал он и поднял палку. Мне показалось, что он сейчас ударит по снежной шапке, но он неожиданно ловко ткнул палкою в шапку.

— Это глаз, — сказал он. — А вот и второй. — И ткнул второй раз. — А уж это рот, нос, ухо.

Корней Иванович рисовал палкою и одновременно палкою же лепил из снега неведомую рожу. Все это напоминало детскую работу в стиле «точка, точка, огуречик...», пока Корней Иванович не сказал:

— Это ваш портрет.

— Как, то есть, мой?

— А так — вылитый вы! Ну ладно, не хотите — не надо. Вот сейчас усечем немножко этот снежный череп и добавим лукавства.

Лакированная черная палка легко рассекала ком, и откуда-то действительно явились лукавство в снежной роже и сказочность.

Мы вернулись в дом.

В прихожей Корней Иванович снял пальто, шапку-пирожок, вернее целый островерхий каракулевый пирог, уселся в кресло и, кряхтя, попытался снять валенки. Валенки не снимались. Корней Иванович и так и сяк подцеплял носком пятку, но носок с пятки соскальзывал.

— Позвольте, помогу.

— Не выйдет. Тут сноровка нужна. Есть у вас сноровка?

— Сноровки нету. Но позвольте попробовать.

— Извольте, пожалуйста, пробуйте.

Я схватился за валенок, дернул и чуть не свалил Чуковского на пол.

— Нет сноровки,— поморщился Корней Иванович.— Да вы полегче.

Чтобы половчей ухватить валенок, мне пришлось встать на колено.

— Вам не противно? — спросил Корней Иванович.

— Что такое?

— Да ведь вы стоите передо мной на коленях.

— На одном,— уточнил я.— И не перед вами, а перед валенками.

Валенки слезали туго.

— Спасибо,— сказал, наконец, Чуковский.— А все-таки не каждый может похвастаться, что валенки с Чуковского снимал.

В доме Корней Ивановича всюду на стенах висели рисунки и картины знаменитых и замечательных художников. И я рассматривал их, иногда угадывал автора, иногда — нет. Заприметил я и лубочную картину на тему стихотворения Н. А. Некрасова. «Что ты жадно глядишь на дорогу...».

— Откуда у вас лубок, Корней Иванович?

— Это — Всеволод Иванов. Добрейший был человек. Он и подарил мне лубок. Он принадлежал к числу усердных коллекционеров и оставил бы после себя замечательную коллекцию, если бы не раздаривал все друзьям. Он всегда говорил мне: «Заходите почаще. За каждый ваш визит я подарю либо книжку, либо картину». И я стал ходить к нему ежедневно.

Корней Иванович засмеялся.

Я уже понял, что Корней Иванович любит подсмеиваться и над собой, и над окружающими, и поэтому очень его стеснялся, разговаривал с ним невпопад.

— Извините,— сказал я.— Вы странно смеетесь — и зло, и добродушно.

Корней Иванович нахмурился. Оглядел меня, сомневаясь, что перед ним такой уж великий знаток разных видов смеха. Потом улыбнулся.

— Говорят, что у меня резкий ум критика и доброе сердце сказочника. Понимаете?

Я не знал, понимаю ли я, но кивнул, что понимаю.

К словам Чуковского надо прислушиваться внимательно. В них всегда скрыта ирония. Кажется, хвалит кого-то, а нет — ругает, вот поругал, а нет — похвалил.

— Пойдемте-ка обедать. Хотите есть?

Есть я не хотел, но сказал:

— Хочу.

Конечно, мне было не до еды.

Но — обед! Обед у Чуковского! Только дурак, наверное, откажется. Но и трудно, невероятно трудно мне было, друзья, обедать у Чуковского, стеснялся я страшно.

А дело, в сущности, простое — бульон с пирожком.

Не помню, к сожалению, ни вкуса бульона, ни начинку пирожка. Помню, что только и думал за столом — на втором этаже, — как бы тарелку не опрокинуть. Бульон и пирожок съел я мгновенно, чтоб ликвидировать опасность опрокидывания и спокойно посидеть, поглядеть на Корнея Ивановича.

— Наснимался валенков — проголодался, — заметил Чуковский. — Клара Израэлевна, дайте ему еще пирожок.

Мне дали пирожок № 2. Я быстро его съел.

— Все правильно, — сказал Корней Иванович, — два валенка — два пирожка. Может, хотите третий?

— Валенки, что ли?

Корней Иванович глянул на меня. Глянул странно. Можно бы сказать «зорко», но не совсем так. Он глядел на меня, как будто уже точно, наверняка знал, на что я способен и даже предвидел всю мою будущую судьбу, даже вот до этого момента, когда я через 20 лет напишу эти строчки.

Я был чрезвычайно напряжен. Никогда в жизни я не ел бульон с писателем, да еще с Корнеем Чуковским. От напряжения захотелось третьего пирожка, и я уже открыл рот, чтоб попросить его, но тут Корней Иванович сказал:

— Так дочитайте же про лилипутов. Самое время. Бульон. Пирожки.

Я начал читать. Сбивался. На аллее читалось легче.

Выслушав меня, Корней Иванович доел бульон и сказал:

— Лучше быть юным поэтом, подающим надежды, чем старым, не оправдавшим их.

К Корней Ивановичу пришла медицинская сестра. Она должна была взять кровь на анализ. Из пальца.

Пока она готовила пробирки и пальцеукалыватель, я показывал Чуковскому свои рисунки. Корней Иванович хмыкал, кивал, иногда говорил: «Ах вот оно что!»

Медсестра прочистила пальцеукалыватель и всадила его тупую иглу в палец Чуковского. Корней Иванович не поморщился, а я слегка содрогнулся. Это у меня был жест сопереживания, инстинктивная помощь, дружеская поддержка.

— Вы, кажется, бонтесть крови? — спросил меня Корней Иванович. — По-моему, вы вздрогнули.

— Да нет, — сказал я. — Просто не очень-то приятно, когда в палец тупой иглой тычут.

Медсестра выдавливала кровь и размазывала ее по стеклянным дощечкам.

— Нельзя бояться крови,— продолжал Корней Иванович.— Кровь — это естественно. Смотрите, как она выдавливает мою кровь, поверьте, мне это безразлично.

— Старики легче переносят боль,— сказала вдруг медсестра.— Молодые больше боятся крови.

Вот тут Корней Иванович поморщился. Кажется, ему был не слишком приятен этот намек на его возраст.

— А вы, оказывается, не только берете кровь,— сказал он сестре,— вы ее еще и портите... Так вот, насчет крови,— продолжал он, повернувшись ко мне.— В некоторых ваших рисунках она есть, а в некоторых ее нет.

Разбираться, в каких рисунках кровь есть, а в каких ее нет, мы не стали.

Корней Иванович снял со шкафа оранжевого льва, сделанного скорей всего из поролона или чего-нибудь в этом роде. На груди у льва висел шнурок.

— Вот смотрите какая штука,— сказал Чуковский и тут же дернул льва за шнурок, лев зарычал. И вдруг сказал по-английски:

— Ай эм э риал лайон. Ай эм зе кинг еф джанглз.

— Я настоящий лев! Я царь джунглей! — перевел Корней Иванович.

И тут у Чуковского сделался такой вид, как у царя джунглей, львиный вид.

И я окончательно увидел, с кем имею дело. Передо мной был действительный Царь джунглей, и джунгли эти назывались Переделкино — дачный городок писателей. Невиданные сверхсплетения времени и судьбы окружали Корнея Ивановича, а уж он-то был Царь этих джунглей, и если выходил пройтись — Лев в валенках, — ему приветливо махали палками. И я возгордился, что однажды — зимой 1966 года — случайно оказался спутником льва — Царя переделкинских джунглей.

— Царь — не совсем точный перевод, — заметил я. — Кинг — это все-таки скорее «король». Король джунглей.

Корней Иванович не стал отвечать. Он одобрительно осмотрел меня и, кажется, порадовался, что я знаю по-английски хотя бы одно слово. Он снова дернул льва за шнурок, и лев проревел по-английски:

— Хотите со мной подраться? Я — очень грозный лев!

Из моих рисунков Корней Иванович выбрал для себя один. Рисунок без всякого сомнения был дурацким. Он назывался —

«Нюхатель цветков». Человек, изображенный мною, имел в жизни только один смысл: он жаждал нюхать цветы. Для этой цели я ему приспособил внушительный вдумчивый нос. Полный идиотизм!

— Я знаю здесь в Переделкине одного такого нюхателя. У вас-то на рисунке — добродушный, а этот — нюхатель с большой дороги. Награбит цветов и нюхает.

— Извините, Корней Иванович,— некстати, совершенно некстати сказал вдруг я,— а нельзя ли мне сделать ваш портрет?

— Что-нибудь вроде этого нюхателя? — спросил Чуковский, кивнув на рисунок.

— Что вы, нет, конечно. Серьезный портрет.

— Не стоит,— сказал Корней Иванович,— не нужно вам так перенапрягаться.

— А помните, вы сделали мой портрет? Из снега. Теперь моя очередь.

— Ну что ж... око за око, понимаю...

Волнуясь, принялся я за набросок, и он неожиданно заладился. Чуковский получался значительным, было сходство. Я решил дома довести этот портрет в акварели или пастели и с натуры расписал цвет, как это делают иногда художники. На лбу написал «охра», на носу — «белила» и т. п. Рисунок этот показывать Корнею Ивановичу не хотелось. Ну какой дурак-художник покажет портрет, в котором на лбу написано «охра», а на носу — «белила»?

Время оставалось, и я принялся за второй набросок. Второй пошел странно. К сожалению, Чуковский выходил на нем каким-то «сердитым». Этого эффекта я никак не добивался, эффект вылезал сам по себе. Показывать рисунок тоже было нельзя.

Я принялся за третий, который пошел корявей всех, нервно пошел. И уж очень он был «старательный». Я знал, что рисунок обязательно придется показать. Должна же модель в конце концов увидеть, что там чиркает художник. А вдруг это что-нибудь вроде «нюхателя»?

— Все? — спросил Корней Иванович.— Покажите.

Я показал третий набросок. Он все-таки получился, и мне чем-то нравился.

— Это надо уничтожить,— твердо сказал Чуковский, посмотрев на рисунок.

Я растерялся. Такого могучего подхода к делу я от модели никак не ожидал. Царь джунглей!

— Жалко,— сказал я.

— А все-таки надо.

— Что — не похож? Или в нем нет крови?

— Слишком много.

— Ладно,— сказал я,— я потом рисунок выброшу.

- Да ведь кто-нибудь подберет.
- Никто не подберет, я хорошенько выброшу.
- Обязательно кто-нибудь подберет.

Я разорвал рисунок и осколки его выбросил в корзину для бумаг.

— Вот это правильно,— сказал Чуковский.

Он совершенно не заметил, что я уношу в клюве, то есть в папке, еще два рисунка. Он-то думал, что я все эти полчаса рисовал одну картинку. Конечно, в 1966 году я был глуп самым серьезным образом, но не до такой же степени! Нет, у меня оставалось кое-что в запасе, и особенные надежды возлагал я на портрет, где на лбу было написано «охра», а на носу — «белила».

— А помните, как я сказал: «Слушай, Дерево»? Заметили, какое это дерево?

— Сосна.

— Это — необыкновенная сосна. Это — Переделкинская Сосна. Ее любят все писатели. Не только я, а вот и Катаев. Но от Катаева она только принимает поклонение, а мне отвечает взаимностью.

— Еще бы, ведь вы — Царь джунглей.

— Царь джунглей этот лев,— сказал Корней Иванович, кивнув на английскую игрушку.

— Вряд ли, настоящий царь не скажет: «Я — царь джунглей», он скажет: «Слушай, Дерево».

— Вам не нравится мой лев?

— Хороший лев, но он слишком из двадцатого века, из поролонового времени.

— Да это истинное чудо! Смотрите: он движет челюстями, как двигал бы ими живой лев, если бы он стал говорить.

— «Слушай, Дерево», небось, не скажет.

— Да что вы привязались к этому дереву?

Корней Иванович слегка на меня рассердился. Львиные возможности обозначились в его взоре. Пора мне было откланяться.

— А о рисунке не жалеете,— сказал Корней Иванович, пожимая мне руку.— Он не получился.

— У меня есть еще два,— сказал все-таки я.

Чуковский задумался. Оглядел меня и мою папку.

— Запасливый,— сказал наконец он, но не стал требовать, чтоб я раскрыл папку.— Что ж... Художник должен что-то иметь в папке, в записной книжке, а главное, здесь.— И он стукнул пальцем в поролоновый лоб английского льва.

На этом я хочу закончить рассказ о Корнее Чуковском, которого слушал однажды вместе с деревом. Я рассказал, что мог. Есть, конечно, еще кое-что в папке, да ведь глупо все из нее вынимать.

ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ

Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин.

Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково расспрашивал гостя:

— Где вы работаете? Как живете? В каких краях побывали?

До того хорошо было у Шергина, что мы порой забывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтоб послушать самого хозяина. Борис Викторович Шергин был великий певец.

За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былые, пришедшие из давних времен:

А и ехал Илия путями дальними,

Наехал три дороженьки нехоженых...

Негромким был его голос. Порою звучал глуховато, порой по-юношески свежо.

На стене, над головой певца, висел корабль, вернее модель корабля. Ее построил отец Бориса Викторовича — архангельский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор архангельский, корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца: Борис Викторович Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Истории, которые рассказывает он в книгах, веселые и грустные, случались во времена давние и совсем близкие, и на всех лежит печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Поздней осенью 1969 года я вернулся из путешествия по северным рекам, сестрам Белого озера — Ковже и Шоле.

В Москве было выпал снег, да тут же потаял. Не осенняя, не весенняя, пасмурная и жалкая показалась из-под него земля. День за днем был темен и тускл.

Вдруг ударил мороз, начался гололед.

На Садовом кольце я видел, как перевернулся на всем ходу пикап, вышедший из Орликова переулка. Он опрокинулся на спину, обнажив грязное желтое брюхо, перевалился набок.

Колесо отделилось от него, пересекло улицу и, ударившись о бордюрный камень, подпрыгнуло, улеглось у моих ног.

Каким-то образом из машины вылетела серая кроличья шапка. Ветер подхватил ее, и, размахивая ушами, покатился кролик по скользкому асфальту.

Выбрался из кабинки шофер, побежал по улице за шапкой. Я поймал ее, отдал бедолаге. Задыхающийся и полумертвый, он долго стоял рядом, смотрел издали на перевернутую машину.

— Тоска-то какая, — сказал он. — Тоска... беспокойство.

Мороз держался несколько дней. Он разогнал пасмурность, но тоска и беспокойство никак не проходили. Никакие дела у меня не ладились.

В эти дни разыскивал я Бориса Викторовича Шергина, которого не видел с весны, да не мог разыскать. Звонил к нему на квартиру, на Рождественский — Б-1-36-39. Соседи по коммунальной квартире ничего толкового сказать не могли.

— Где Борис Викторович — не знаем, а Миша в больнице.

Наконец из больницы позвонил мне Михаил Андреевич Барыкин, племянник и самый близкий в те годы друг Бориса Викторовича.

— А дядя Боря в Хотькове с лета остался, — сказал он. — Захотел жить там дальше. Одному ему плохо, а я-то ведь в больнице. Живет у моей матери Анны Харитоновны. Дом голубой под шиферной крышей.

20 декабря, в субботу, я приехал в Хотьково.

Погода сделалась прекрасной. Морозное мандариновое небо, а снегу-то почти не было — иней да ледок на пожухлых травах. Встретились школьники, которые тащили домой елки. На них было приятно смотреть — новогодние ласточки.

На горке, над речкой Пажей, стояли сосны, яркие, медовые. Иглы их были тронуты инеем.

Я перешел Пажу по мостику, слабому, неверному. Поднялся на бугор. Дом голубой под шиферной крышей стоял замечательно, высоко и вольно. От дома далеко были видны хотьковские крыши, сосновая горка названьем Больничная, тропинка под соснами, узоры, изгибы реки, а правее — мост могучий, железнодорожный, за ним — чернокирпичный остов соборной церкви.

— Как вы речку перешли? — спрашивала меня, встречая, Лариса Викторовна, сестра писателя. — Мостик очень опасный. Мы его называем «мост вздохов». Ходит ходуном под ногами, подкидывает — тут и вздыхаешь... Ах, какая погода. Унылая пора, очей очарованье... — Лариса Викторовна оглядывала меня добро. Седые букли придавали ей вид женщины из старого забытого альбома. — Эта кошка — настоящая муфта, — рассказывала Лариса Викторовна, пока я раздевался, а кошка терлась у ног, — залезет в форточку, как будто кто муфтой заткнул.

Коты орут, а она смотрит из форточки — кто там есть, стоит ли выходить?

Появилась из кухни и Анна Харитоновна, хозяйка дома, дородная и — сразу видно — добродушная тетушка.

— Так с лета у меня и остался, — рассказывала она. — Не хочет один в Москве жить. А я говорю: живите, я и щей всегда наварю.

— Болеет Боря, — поясняла Лариса Викторовна. — Совсем не выходит. Да вот подите к нему в кабинет.

Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и прошлые годы.

Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза, и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь оттого, что они сообщали Шергину особый облик — человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир.

Как-то прошлым летом на Рождественском бульваре Лариса Викторовна показывала мне фото молодого Шергина.

— Боренька здесь похож на Гауптмана, — сказала она. — Верно ведь?

Я согласился, хотя толком и не помнил, как выглядит Гауптман, и мне вдруг очень захотелось нарисовать Шергина. Я тут же принялся за дело, набросал несколько портретов. Один из них попросил подписать на память.

Борис Викторович портрета не мог увидеть, но взял лист, положил на стол, подписал. Соразмерить подпись с изображением не удалось. Она получилась в левом верхнем углу и затерялась среди бурных разводов.

— Ну что, Ляля? — спросил он сестру. — Получился рисунок? Или опять я на Гауптмана похож?

— Ты похож здесь на Николая-угодника.

Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского.

— Сумерки! Сумерки! Сумерки!.. Времена темные. Мы с сестрой все вспоминаем, как в Архангельске уже готовились в это время ряженые...

В хотьковском «кабинете», в комнате за печкой, Борис Вик-

торович рассказывал мне о своей нынешней жизни. Я рассказал о поездке на Белое озеро. Борис Викторович был прекрасный слушатель, не пропускал ни слова, заставлял повторять, сокрушался, что реки северные замусорены сплавом, смеялся иногда, как ребенок.

— А я вот сижу как приколоченный,— печально говорил он.— Да и вот Миша-то не ходит, в больнице лежит... уж такой мой душевный собеседник... Сумерки! Сумерки! Не успевает рассветать — и темно. А глаза как чужие стали... только и вижу окна переплет. А о Москве и думать не хочу. Буду Мишу ждать. Ночь не сплю, жду, пока рассвет, вот рамы обозначатся! Сколько вспоминается: вдруг всплывают речи, вот женщина плачет, свои у нее горечи, досады, плачет:

Под угор слезу на камушек,
Погляжу на Двину...

В комнате чувствовалось приближение Нового года. На столе в банке стояла еловая ветвь. А кроме стола, кровати да табурета не было мебели. Главным геросм комнаты было, пожалуй, окно. И сумерки уже туманили его, постукивали под ветром в стекло облитые ледяною коркой вишневые ветки, замороженные золотые шары оплетали прозрачный заборчик.

— А еще я по почам петухов слушаю. Неверные здесь петухи, инкубаторские. Они не понимают полуночи. Поют как попало.

Тут Борис Викторович стукнул кулаком по столу, сильно рассердившись на хотьковских петухов.

Внезапно и Анна Харитоновна ворвалась к нам в «кабинет». Она, оказывается, с кухни услышала про петухов.

— А ведь кур надо вовремя загонять! — возмущалась она. — Дурные петухи! Инкубаторские!

— Поют — ничего не понимают, — вставила с кухни и Лариса Викторовна.

— Как попало бродят! — завершил Шергин.

Тут я тоже возмущился поведением хотьковских петухов, изругал их на все корки, и Анна Харитоновна, которая видела меня впервые, сделалась мною довольна. Если ругает петухов инкубаторских, значит, свой человек.

— Вы, Борис Викторович, ему еще про колдунов расскажите, — доброжелательно сказала она.

— Каких колдунов?

— Наших колдунов, хотьковских.

— А что, здесь колдунов, что ли, много?

— Ужас просто, — сказала Анна Харитоновна. — Колдуют с утра до вечера.

— Много, много колдунов, — с кухни заметила и Лариса



Викторовна, — и очень разные. Могут болячку наколдовать, на корову порчу напустить. Но Бореньку колдуны уважают. Один обещал даже с глазами помочь, да вот не приходит.

— И на порог больше не пущу, — сказала Анна Харитоновна. — Болтун.

— Когда-то еще Сперанский предполагал заняться колдунами, — сказал Шергин. — У нас в Архангельске, помню, был суд над колдуном, у которого злая сила была. Я мальчишка был, гимназист, не вникал. А свидетелей была целая волость... Я-то был глупее теперешнего.

Настал вечер. На кухне хлопотала Анна Харитоновна. Заходили соседи, и я все ожидал какого-нибудь колдуна, да они не являлись.

Дружеский разговор писателя; его речь была разнообразна, образна. Я не хотел забыть эти промелькнувшие блики и жемчужины шергинского разговора и кое-какие слова его записал прямо тогда в «кабинете». Свои-то реплики позабыл и в дальнейшем их опускаю. По словам Бориса Викторовича легко восстановить нашу беседу.

— Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушанья упала. Слушать не умеют... В Архангельске я выступал весной сорок первого года на лесопильном заводе. Перед самой-то войной... Меня не отпускали рабочие. Я около трех часов рассказывал. Культура слушанья была высока.

Здесь надо отметить, что Борис Викторович не называл себя писателем, во всяком случае в разговорах со мной. Он считал себя артистом, рассказчиком. Свои вещи он готовил как устные рассказы и только через много лет их записал.

— Сейчас уже не рассказываю... Да уж и очи потухли, и голос пропал... Вот я теперь иногда начну что-нибудь сам себе рассказывать — это уж привычка. Я раньше думал — это свойство артиста рассказывать самому себе, а сейчас думаю — это свойство стариков. Кривополенова сама себе рассказывала. «Я, — говорит, — стенам рассказываю!» И рассказывает, рассказывает сама себе и хохочет, играет сама с собой... И сейчас в Москве, на Рождественском бульваре, выйду на лавочку посидеть перед домом, а ребята московские, футболисты, как свечереет, соберутся вокруг меня — рассказывай! Радио они не слушают, телевизор надоел всем. Вот я слушал по радио выдуманные легенды о лопарях. Как будто немец какой написал! Там Севером и не пахнет! А передача для детей, для несчастных ребят. Редакторы звезд с неба не хватают!..

Интонации в Архангельске остались старые, словарь изменился... Мне уже не бывать в Архангельске. Меня ругают: «Ну уж ты, бросил родной город». А вот один человек, Третьяков его

фамилия, мальчишкой еще прочел мои рассказы. И вот с друзьями — их было восемь человек — стали они копить деньги, чтоб поехать на Север. И поехали. Он до сих пор ездит. «Я,— говорит,— на Север, а жена на курорт». Так она на курорте там и осталась... Рассказы так подействовали, что люди деньги копили. Мне приятно...

Работаю сейчас мало, диктую кое-что сестре... Ляля! Сестра! — Лариса Викторовна на этот раз не отозвалась, была где-то в глубине дома, и Борис Викторович продолжал: — Диктую книгу «Слово о друзьях». Там жизненные резюме о людях. . Ляля! Принеси, что вчера писали! Ляля! Сестра! Ух ты, глушня! Давно эту книгу пишу, много лет уже. Это моя московская жизнь, опыт моих бесед с московскими рабочими, учащейся молодежью. Там я упоминаю разных своих старинных друзей, пишу и о том, как сейчас идет работа с молодежью, борьба с пьянством, с хулиганством. Вспоминаю в этой книге и отцовых друзей — моих учителей. Это были кораблестроители и мореходцы, но какие воспитатели! Они ведь имели дело с дружинами, с бригадами молодежи. Сборные дружины, сбродные, а умели обходиться без боя, без драки.

Второушин Конон Иванович, по прозвищу Тевтон, — вот был воспитатель! Директор технического училища в Архангельске спрашивает Конона Ивановича: «Какие у тебя педагогические приемы! Какие методы?» А Тевтон отвечает: «Какие методы? Когда я их воспитываю? За день ребята нарабotaются, а вечером повалом лягут в избе, а я лягу на лавке, и тогда начинается беседа. Я говорю, а они один за другим начинают засыпать. Я соберу портянки, мокрые валенки и рукавицы, все это положу на печку сушить, а сам писать сяду. Так и воспитываю... Душевное слово — главное в воспитании».

Из «кабинета» за печкой мы постепенно перебрались в гостиную, где был накрыт стол. Собрались и друзья — хотьковские соседи, среди них были, назову точно, Надежда Сергеевна Козлова и Зинаида Яковлевна Ракова, которые здравствуют и поныне и живут все там же, над речкой Пажей.

Анна Харитоновна была подлинной хозяйкой стола. Самые разные грибочки, пироги да варенья украшали стол, только не было на нем ничего редкого, магазинного. Руки у Анны Харитоновны были добрые, округлые, те самые руки, которые вспоминаются каждому из нас, ведь у каждого в жизни, хоть ненадолго, была своя Анна Харитоновна.

— Анна Харитоновна прекрасно плакать умеет, — вполголоса рассказывал мне Борис Викторович. — Вот о моем покойном брате плакала... Сейчас-то уж у нее сил нет...

В этот вечер Анна Харитоновна плакать не собиралась, она сияла и хлопотала, меня закармила пирогами и студнями, и сил у нее много было, я это видел и радовался.

— Спели бы, что ли,— попросил я.

— Да не знаю — что? — засомневалась Анна Харитоновна. Лицо у нее было удивительно доброе и будто вытесано, прошу прощенья, топором.

— У Анны Харитоновны сейчас не поймешь и какой голос,— заметила Лариса Викторовна,— то ли «бас профундо», то ли «меццо кухаркино».

— У нас девушки такими голосами поют: высоко-высоко, до неба выходит.

— Наших девок,— горделиво сказал Борис Викторович,— никому не перевизжать.

Анна Харитоновна запела «Меж высоких хлебов затерялось...», и соседки подхватили, только мы с Борисом Викторовичем слушали. Начались и другие песни, мне неизвестные, пела одна Анна Харитоновна. К глубокому сожалению, я не записал ни слова, все внимание мое было с Борисом Викторовичем. Так хорошо было сидеть рядом с ним.

Иногда он наклонялся ко мне, шептал на ухо:

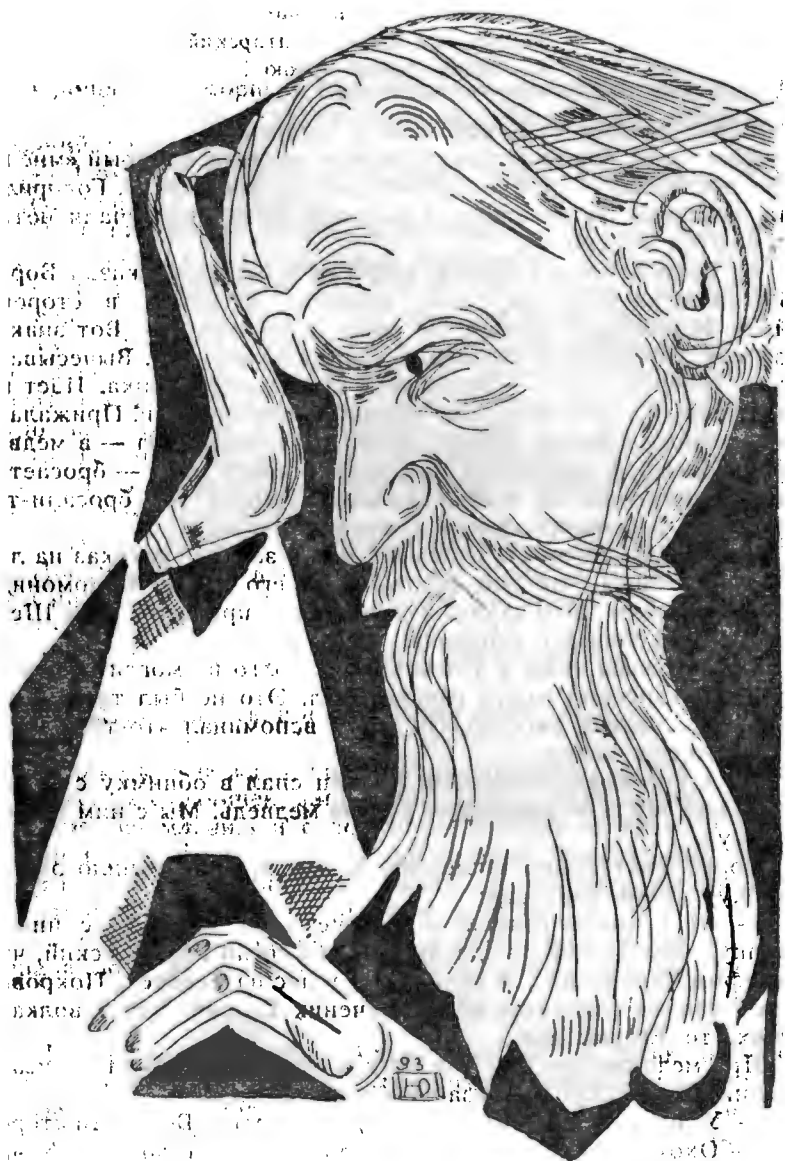
— Мало кто остался, кроме семьи Барыкиных, кто помнит старину... Фольклористы прозевали Подмосковье. Сколько здесь было интересного. И очень много общего с северным...

Стали просить и Бориса Викторовича спеть былинку. В шутку я предложил подыграть на гитаре. Посмеялись, уж очень несовместимы казались Борис Шергин и современная гитара.

— Под гитару можно частушки петь зубоскальные,— сказал Борис Викторович,— а былинку?.. В недавние времена был такой певец — Северский. Это был модный человек — вельветовая рубашка, брючки, такой модный джентльмен. У него были очень неуклюжие гусли на коленях. Он говорил, что невозможно, как северные сказители, сидеть идиолом и дудеть в одну дуду. И вот он очень изящно, со сделанным маникюром, начинал: «Не сырой-то дуб к земле клонится...» Одной рукой аккомпанирует, а другой изображает жестами, что поет. А у нас былины пелись всегда без аккомпанемента. Я видел только одного кареляка, который сопровождал пение игрой на кантеле. А уж тот карел, от которого записана «Калевала», пел без аккомпанемента.

Борис Викторович помолчал, вспоминая, и запел про Авдотью-рязаночку:

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистели.



Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею синею ордою...

Вдруг почему-то я вспомнил о медведях.

Рассказал, как напугался однажды медведя, который «мне на ногу наступил» — отпечатал свой след на моем следу. Говорил я взволнованно, и, наверное, в рассказе моем прозвучали нотки пережитой опасности.

— Людей, чистых душой, звери не трогают, — сказал Борис Викторович. — Медведь, если человека встретит, в сторону уйдет. Медведицы бедовы. Не съест, а уж выпугат. Вот знакомая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику. Вычесывает ягоду гребнем, глядь — медведица! И два медвежонка. Идет на Соломону с распахнутыми лапами. А спички были! Прижалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подожжет — в медведицу бросит. А медведица мох роет. Нароет моху — бросает в Соломону, всю ее мохом залепила. Долго так бросали-то, после уж разошлись, когда спички кончились.

Борис Викторович тут засмеялся, а я записал рассказ на листочке, не зная, что это фрагмент из его вещи «Соломонида Золотоволосая». Моя запись отличается от принятой. Да у Шергина всегда бывают варианты.

С медвежьей темы в тот вечер мы долго не могли слезть, и Борис Викторович много рассказывал. Это не был такой правильный, связный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал...

— А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. «Есть, — говорит, — у меня медведь. Мы с ним спим в охапку».

Борис Викторович засмеялся. Кажется, его смешило это «в охапку», и он повторил:

— «Я с ним, — говорит, — в море хожу да сплю с ним в охапку!» Все-то они с медведями, что Сергей Радонежский, что Серафим Саровский... А волков нет у нас на Севере... Покровителем волков считается великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал...

Про медведя, что мне «на ногу наступил», я думал написать охотничий рассказ и сказал об этом Шергину.

— У нас не говорят: охотник, — заметил Борис Викторович. — Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас говорят: — промышленник, промышленять... А ведь надо написать про того медведя. Слово — ветер, а письмо-то — век.

Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович

сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспомнил, да сказал вдруг задумчиво:

— А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал...

Прощаться с Борисом Викторовичем никогда не хотелось. Да была уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд.

— Покурим последнюю,— сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в «кабинет».

Он курил всегда папиросы «Север», а недокуренные бычки клал на пенек. Это был такой серебряный пенек-пепельница.

— Будто в северном лесу под Архангельском,— подшучивал он над своим курением.— Папиросы «Север», пенек...

Тут я рассказал, что встретил в Москве человека, который составлял для издательства сборник автобиографий советских писателей. Готовился уже третий том таких автобиографий. Не худо бы, толковал я, и Шергину попасть в этот том.

— Третий том? — иронично размышлял Борис Викторович.— Я уж, наверно, в четвертый или в пятый. Нет, не стану писать. Кому это нужно?

Я твердо сказал, что нужно многим, и мне в частности.

Писать для него в то время было делом не совсем простым. Сам писать не мог, диктовал сестре. Раньше-то бывало не так.

— А как бывало? Бывало, пол мету, веник в сторону — и пишу! Ладно, не для третьего тома, для вас напишу. Вдруг и сгодится.

Мы распрощались, а недели через две я снова поехал в Хотьково.

Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне пять рукописных страничек, записанных рукою Ларисы Викторовны. К моему изумлению и счастью, на каждой странице в левом верхнем углу было написано: «Для Юры Ковалю», посередине, тоже на каждой странице, заголовок «Б. Шергин» и на каждой же странице в правом углу дата: «3.1.70 г.».

Рукопись эта хранится сейчас у меня. Она действительно не попала пока ни в третий том, ни в пятый. Вот ее текст.

«Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали.

Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала „Будильник“. Он вернул мне журнал со словами: „Что же отсюда можно вынести?“

В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью.

Северные люди — мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу.

Я, Б. Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было девятнадцать лет. Но мастерство устного рассказывания, по силам моим, я воспринял много раньше.

Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду „Любовь сильнее смерти“, напечатанную в 1919 году.

Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап в моей жизни.

Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки.

В 1924 году издан был в Москве сборник былин с моими иллюстрациями под названием „У Архангельского города, у корабельного пристанища“.

В 1936 году выходят „Архангельские новеллы“ (М.: «Советский писатель») — сборник новелл и сказок, бытовавших на Севере, слышанных от бывалых людей.

В 1939 году вышла книга „У песенных рек“ с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собою мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени.

В 1947 году вышла книга „Поморщина-корабельщина“ (М.: «Советский писатель») — это также запись устных моих рассказов о Севере.

Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в „Литературной газете“, „Известиях“, „Ленинградской правде“, в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах „30 дней“, „Октябрь“, „Смена“, „Пионер“, „Вокруг света“, „Нева“, „Колхозник“.

В этом цикле А. М. Горький считал лучшим сказ „Рождение корабля“.

В 1957 году Детгиз издал большую книгу „Поморские были и сказания“, оформленную В. А. Фаворским¹.

...И в устных моих рассказах и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль.

В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь.

Приведу такой факт: из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка „Белые одежды“. На первый взгляд все одежды были белые. Но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие „белый“ он заменяет словами: цвет сахарный, цвет бумажный, цвет водяной, цвет облакитный (облачный). Мы бы сказали — муаровый.

На другом сундуке тоже новейшая наклейка „Красный цвет“. Но старинный составитель инвентаря вместо слова „красный“ употребляет слова: цвет жаркий (алый), цвет брусничный, цвет румяный.

Таково же определение тонов желто-зеленых: цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый.

Слово „красный“ употреблялось в смысле красивый. Народ и сейчас говорит: красная девица, Красная площадь».

На этом текст автобиографии прерывался. Или оканчивался? Шергин был мастером финала, а тут, мне казалось, финала нет, и я высказался в этом роде.

— Какой будет финал — это ясно, — печально пошутил Борис Викторович. — Да что еще говорить? Хватит...

Мне стало неловко. Действительно, что же еще было говорить? Что, мол, еще жив, ослеп, почти забыт, почти не печатают?

— Хорошо и необычно, что в автобиографии много о русском языке.

— Биография писателя — его отношение к слову, — подтвердил Борис Викторович. — Остальное — факты жизни. Первая моя книжка «У Архангельского города, у корабельного пристанища» — это ведь запись устного репертуара моей матери... Анна Ивановна Шергина, хранительница слова... Мать умерла в том году, когда вышла книжка...

О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто, видно было, что никогда с ними в душе не расставался.

¹ Опускаю несколько строк, в которых Борис Викторович называет ряд своих изданий, да не помнит дат. — Ю. К.

— Мой отец был и кораблестроителем и мореходцем. Его посылали в ответственные плавания и на Новую Землю и дальше. Он сорок пять лет ходил в море. Он всегда носил с собой записную книжку и заносил туда что увидел. Вот откуда я знаю берега Белого моря. В рассказе «Поклон сына отцу» Шергин писал про отца: «Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шхун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет».

На той модели, с которой Борис Викторович никогда не расставался, которая всегда висела над его головой в квартире на Рождественском, парусов уже не было, потерялись остатки изрезанной салфетки. Наверно, они особенно украшали корабль, но и без них видна была подлинность пропорций, красота работы. Отчего-то ясно было, что модель построена той самой рукой, которая создавала поморские корабли и ладьи.

Рядом с кораблем висела на стене окантованная в рамочку фотография, для него чрезвычайно дорогая. На ней он сфотографирован вместе с Марьей Дмитриевной Кривополоновой.

— Марья Дмитриевна — вот уж была артистка! В Москву ее привезла Озаровская — громадный знаток северного устного творчества. Нашла ее в верховьях Пинеги и привезла в Москву. И эта старуха, которая всю жизнь провела в дремучих лесах Пинеги, ничуть не растерялась перед многотысячной аудиторией и прекрасно говорила. Дети, старшеклассники, студенты слушали ее затаив дыхание — настолько она была артистична. Дикция изумительная. А ей было тогда семьдесят два года. Ее репертуар — древний северный эпос.

Я с нею тоже раз выступал, но неудачно, потому что мелодии у нас не совпадали. Один был сюжет, а напев другой. И я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись.

У Марфы Семеновны Крюковой такого таланта не было, а память колоссальная. Фольклористы всегда ее одолевали. Она была очень интересный, по-своему одаренный человек, но вот писатели ее не оценили. Говорили, что такая память, какой она обладала, — патологический случай.

В большой коммунальной квартире на Рождественском бульваре у Бориса Викторовича были две комнаты: темная прихожая-столовая и вторая, посветлее, — кабинет в два окна. В прихожей висели четыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть.

Это были филенки шкафа, расписанные Шергиным. Расписывал-то он, конечно, цельный шкаф, да когда переезжал с

Мало-Успенского переулкa на Рождественский бульвар, шкаф не сумели вытащить на улицу, взяли с собой только филенки.

К тому моменту, когда я подружился с Борисом Викторовичем, филенки были уже сильно замыты. Кто-то, не знаю, сестра или племянник, когда-то постарались промыть их от пыли да смыли часть живописи. Надо было им прочесть вовремя у Шергина «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание»: «Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах».

Единым взмахом кисти, смело, артистично были написаны эти волшебные филенки. На одной изображен был корабль под парусами, плывущий в волнах и в цветах. Матросы в красных кафтанах, румяные да усатые, браво глядели вдаль, правили «в голомя», в открытое море. А на другой филенке — любезная парочка, франт и франтиха, окруженные дивными цветами. Он — в шляпе, в зеленом сюртуке и в парике времен Моцарта протягивает ей запечатанный конверт с любовным посланием. Она — в розовом платье, на плечах какие-то сногшибательные пuffy вроде фонарей и юбка, возможно, а-ля помпадур.

Понимаю, что пересказ живописного сюжета не великая похвала картине, смею, однако, сказать, что Борис Викторович живописец был настоящий. В его росписях видна драгоценная школа народной северной русской живописи.

Филенок было четыре, я описал две. Эти две хранятся сейчас у меня. Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше бы всего в музей Шергина, все равно где — в Москве, в Архангельске или в Хотькове.

Конечно, Борис Викторович расписывал не только шкафы, печи, прятки, блюда, ложки, туеса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон — «Новгородские чудотворцы» — хранится сейчас в собрании художника Иллариона Голицына.

Нынешние художники-профессионалы, как правило, к «писательской живописи» относятся снисходительно, считают нас, грешных, «малярешками самыми немудрыми». А вот ведь, друзья, Борис-то Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников попадут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятый из того

же «Вопиящина»: «У стоящей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выдающие места, где быть живописи.

Паволока пушай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши...»

Борис Викторович не однажды читал нам «Жизнеописание Вопиящина», читал строго и назидательно, но в некоторых местах мы умирали от смеха. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать отрывок для тех, у кого нет книги Шергина:

«Самозванный художник, а по существу малярешко самое немудрое, Варнава Гушин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но мастер призванный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему, кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могли держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события».

Борис Викторович работал и как художник книги. «У Архангельского города, у корабельного пристанища» и «Архангельские новеллы» вышли в свет с его иллюстрациями. Первой книги я так и не достал, а вторая мне кажется замечательным памятником русского искусства. Борис Викторович сделал здесь суперобложку, переплет, форзац и двадцать четыре иллюстрации. На обложке синими линиями условно нарисована река с надписью: «Северна Двина», а по ней корабли плывут со спинки на обложку, на титуле купидон трубит в трумпетку, бежит прямо на зрителя. Купидон нарисован кистью, тушью, в сложнейшем ракурсе. Иллюстрации Борис Викторовича в этой книге напоминают работы Н. Тырсы, Н. Кузьмина.

Знание живописи, истинная любовь к художеству светится во многих рассказах Шергина. Меня же, признаюсь, по молодости бесконечно веселило, как Борис Викторович переделывает названия красок: «кобель синий» или «нутро маринино». Художники догадаются, что это кобальт и ультрамарин. А еще у него были не только белила, но и «желтила».

Борис Викторович знал, что я всерьез занимаюсь живописью. Бывало, что я жаловался: дескать, меня ругают, зачем я разбираюсь — или уж пиши или рисуй.

— Что уж дураков-то слушать? — успокаивал меня Шергин. — Мне бы сейчас в руки кисть... Как душа просит. Живопись — это как еда, питье, нет, это — жизнь живая...

«А дни, как гуси, пролетали».

Он очень любил эту фразу. Во многих, многих его рассказах снова встречаемся мы с ней — и тронет душу печаль, которую Борис Викторович называл «весельем сердечным».

Был однажды день. Осенний, сентябрьский.

Солнце пронизало редющую листву. Легко опускались на бульвар листья, и долго, как в путешествие, шли мы с Борисом Викторовичем к лавочке. Наметили третью, да не добрались, сели передохнуть на вторую.

Борис Викторович всегда-то был светлый, а в этот день, наверное, светлейший.

— Скоро гуси полетят, — говорил он, — с гусяминой земли, а уж мне-то — на гусиную землю.

Я засмеялся, стараясь не понять, что такое гусянина земля, сказал, что это он в мечтаниях полетит на родной Север. А он называл землю, где покоятся души поморов.

Он совсем уже ничего не видел, кроме света, и я рассказывал, что происходит вокруг.

— Это с дерева лист упал. Это дама с бульдогом. Взаимно очень схожи.

Борис Викторович смеялся моим незамысловатым шуткам, попросил подать ему опавший лист и долго держал его, сухонького, в руках.

Он часто доставал папироску, да не позволял подносить спичку, прикуривал сам. Тогда глаза его необыкновенно оживали, устремлялись к точечному огоньку, и медленно приближал он огонек к лицу своему.

— Я вас никогда не видел, — сказал он.

Я наклонился, и Борис Викторович легко коснулся перстами моего лба и щек.

— Малые корабли строились без единого гвоздя, — рассказывал он. — Они были шиты корнями березы или вереска и были очень крепки. Тишина, белые ночи, когда что полдень, что полночь. Безмолвие. Наруса ветерок надует, и судно тихонько бежит вдоль берега... А дни, как гуси, пролетают.

В те пролетевшие дни я подготовил для издательства «Детская литература» книжку под названием «Чистый Дор». Название Борису Викторовичу понравилось.

— Только надо шутников опасаться,— посмеивался он.— Скажут еще, что все написанное — чистый вздор!

Некоторые короткие рассказы я читал Борису Викторовичу. Он слушал ласково, смеялся, никогда не делал никаких замечаний. Иногда глаза его делались не такими внимательными, и я это место в рассказе подчеркивал и спрашивал потом:

— Здесь переделать?

— Укатать.

Он редко говорил «обкатываю» про свои рассказы. Он их «укатывал» на слушателе, или «улаживал».

— Мне кажется, в море литературы;— говорил он,— как и в море вообще, текут реки. Много чистых родников и много мутных потоков. В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания. В молодости я при случае где-нибудь в знакомой семье пел былины, передавал так, как сам слышал. Но вообще молодые не пели былины, это считалось делом стариков. Мы рассказывали сказки. Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинное былинное звучание, сказы северные, подлинные. Вот так в самом начале я передавал услышанное от старшего поколения устное слово...

Борис Викторович, конечно, знал, что я иногда записываю наши разговоры. Он относился к этому одобрительно, считал, что и они в Архангельске, в детстве, так относились к рассказам своих стариков. Речь его старался я записывать дословно, точно, даже с повторами. Он помогал в этом, замолкал, задумывался.

Ему было очень одиноко в последние годы, он радовался любому гостю, слушателю. И все-таки, беседуя со мной — сейчас я понимаю,— он все говорил не просто так, он меня немного зачем-то воспитывал.

— Сколько писателей — столько рассказов. Если уж писатель пожелает что-то отписать — обязательно опишет и скажет: взято из жизни. А ведь не разберешься: искренне это или нет? Как же разобраться? Выдает неверное слово.

Журналисты, полагаю, должны уж честно брать сюжет из жизни. Да где они, такие журналисты? А так — откуда взят сюжет? Что-то прочитано, что-то учтено. Вот мы пустим анкету. Пускай писатели скажут, что такое сюжет. Обязательно спутают с фабулой. Писатели всегда путают сюжет с фабулой. Думают, это одно и то же.

— Я тоже путаю,— признался я.

— А вы про это вообще не думайте.

О том, как сам он работает и работал, говорили много, часто, подробно. Из моих записей вполне можно составить рассказ, который надо считать устным, а назвать можно:

Рассказ о рассказах

Лет двадцать пять назад я стал интересоваться рассказчиком, личностью рассказчика. Люди попадались очень интересные, но немного хороших рассказчиков на моем пути встречалось, всего несколько десятков человек.

Большинство моих рассказов — и устных и печатных — идут от первого лица — «я». Но это не я, Борис Шергин, это — и молодой моряк, и портниха архангельская, и старуха, которую немцы заставили копать себе могилу. В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека.

Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух, а когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удастся, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом.

Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно, импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях.

Вот рассказ «Митина любовь». В нем молодой человек говорит о своей любви. Кстати, звали его Дмитрий Иванович Селютин, он жил в пригороде Архангельска и был бригадиром на кораблестроительной верфи. Я слышал его рассказ целиком всего один раз. Он рассказывал подробно, искренне, тихо повествовал свою историю. Я запомнил этого очень скромного молодого человека.

«Ты сам-то прекрасный,— говорила ему старуха-гадалка.— Только ума-то у тебя нет, а ты, как тетеря лесная, не понимаешь...»

У него в лице была детская простота, но рассказывал он страстно: «У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было...»

Не знаю, жив ли Селютин или нет, я его тридцать лет не видел.

Никто, конечно, не станет в большой аудитории говорить о своей любви. Мне же потом приходилось в более помпезной обстановке рассказывать, да ничего не поделаешь.

Очень много лет я свои рассказы носил только устно. Когда рассказ у меня укатывался, улаживался, я выносил его на сцену — школь-

ную или клубную, — и он продолжал совершенствоваться. Я тогда его пускал в печать, когда он оказывался обкатанным и уложенным. Записывал не сразу. Большие-то повести я не писал, тем более романы.

Конечно, не каждый рассказ вводил я в свой репертуар и в литературу. У меня многое осталось нереализованным. Иногда я пытался сделать рассказ, но малое знакомство с рассказчиком не давало такой возможности.

Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет. Тут мне один написал, что героя нельзя передавать языком поморов. А у меня как раз самым искренним стремлением было именно этим языком донести рассказ до слушателя.

Вот «Мимолетное виденье» — рассказ портнихи. Я слышал эту историю от нашей родственницы несколько раз. Звали ее Мария Ивановна Зенкович. Муж ее был польский помещик, высланный в Архангельск, служил чиновником особых поручений при губернаторе. Мария Ивановна, портниха, была модная архангельская дама, я записал ее рассказ, стараясь изобразить речь архангельских обывателей: «Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали? Горлопаниха, на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередный, крашный? Дак от Хионьи Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...» Мне кажется, я точно передаю ее речь. Может, это не так, да переспросить уже не у кого.

«Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадцати языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужаси какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с границей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велосипеде приехала».

Мария Ивановна говорила с некоторым жеманством, и надо было передать это в слове. Тут помогли мне особенности портновского разговора: «У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуру, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте...» Рядом с этим сильно звучали простецкие речи: «Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился».

Северные рассказчики не «играют», они преподносят рассказ без жестов, одной только модуляцией речи и трагические и лирические места передают.

Предлагаю еще три устных рассказа Бориса Викторовича, записанных и скомпонованных мною в разное время.

Былина в Москве

Моим постоянным вдохновителем был великий мастер — Владимир Андреевич Фаворский. Он любил классику, древние языки. Больше всего он любил былины.

А публика больше всего любила сюжетные живые рассказы, потому что в современной обстановке былины рассказывать очень трудно. Их пели на кораблях, когда шло спокойное плавание, или в долгие северные вечера, когда торопиться некуда... Зима, моряки дома, по стенам — модели кораблей, древние иконы. Так и три часа можно рассказывать. Северные сказители целый вечер могли говорить, когда в домах собирались люди, например, на святках. В рождественский пост веселых рассказов не было, только былины. На Севере тысячелетние былинные напевы звучали всегда к месту.

Теперь я часто ощущаю, что обстановка мешает. В московский быт былина не влезает. Обстановка и темпы столичной жизни не дают петь долгое, медленное, давнее:

Заводилась непогода у синя моря,
Доносило непогоду до святой Руси.
На святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в Кремле-городе
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестен стол.
Все на пиру пьяны-веселы,
Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
— Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену из Пскова,
Я повывел измену из Новгорода,
Я повыведу измену из каменной Москвы!

Тут бы и слушать, что дальше-то будет, а некогда вслушиваться москвичам-горожанам, им бежать надо. Фаворский же был классик, он любил былины. В этом месте он особенно оживал и, хоть слушал меня много раз, а все переживал заново.

И все палачи приурашились,
И все палачи приужаснулись!..
Один Малюта не ужаснулся,
Один Скуратов не утратился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москву-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладет его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.

В подмосковных деревнях в десять часов уже темно, и тут поневоле собираются женщины и что-нибудь рассказывают. Теперь в моде уголовная хроника. И литература детективная нарасхват. Потом, конечно, ее бросают, ибо она не дает ни уму ни сердцу. Здесь, в Подмосковье, былинку слушают хорошо.

Вот что интересно! Под Москвой есть деревни, где говорят на «о»! В Хотькове, я знаю, живет одна старуха лет восьмидесяти, говорит, как на родине, на «о».

Московская речь — образец речи русской, это прекрасная речь.

Речь московска

У нас на Севере над москвичами подшучивали:

Была-то в Москве,
Шла по доске.
Доска-то — хресь!
Я лицом-то в грезь!

И вот изображали тех, кто в Москве побывал, и старались говорить по-московски: «Речь московска, походка господска...» Вот вы говорите: Ванька добрый. Москвичи скажут: Ванька добрай. А северяне скажут: Ванька доброй.

В типографиях, когда печатали мои книги, затруднялись все это передать, еще и не хватало знаков с ударениями. И все печатается без ударения, и все, конечно, страшно врут. Помните, как Мартыно из сказки поел «рогатых яблоков»? Нелегко это печатно передать, так, чтобы прочесть правильно:

«Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных».

Вот дак приужахнулся бедной парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря дикого. О, задавиться ле утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучше с хичными хехснами и со львами».

Вот есть такой Омский северный русский народный государственный хор. Очень колоритно пели, по-омски. Раньше ими везде интересовались, а теперь их всюду гонят. «Спим,— говорят,— только в вагонах, сидя. Слушают только веселенькое, а как запоем северную классику, кричат: „Веселенькое что-нибудь!“».

И приходится им размениваться.

Я уж не знаю, кто тут виноват, да только стали им речь выправлять. Верно, в Министерстве культуры это указывают. Кое-кому из хористок это стало нравиться. Не хочется нынешним дамам древними бабками слыть, стали петь на «а».

Лет двадцать назад приходили ко мне многие артисты-рассказчики. Лекционное бюро посылало их сеанса на два учиться северной речи. Ну, за два-то сеанса я их выучивал, за один бы ни в жисть не выучить. Так-то.

Старина о Варламии Керетском

В дни юности слышал я от отца поморскую балладу — мы говорили: старину — о Варламии Керетском:

— Иерею Варлаамие,
Где твоя молодая жена?
— Она ушла в гости к татеньке,
Ко родителю-маменьке,
— Нет, иерею Варлаамие,
Твоя жена за гульбой ушла:
Ночью в город Фарлаф на лодье прибежал.
По твою госпожу в божью церковь послал.
Она, боса и пьяна,
С корабельщики целуется,
Со фарлафами валяется...

Всех стихов не помнили уже ни мать, ни отец, забытое пересказывали простой речью. О том, как поп Варламий убил свою молодую жену, занес гроб-колоду на варяжский корабль, перебил варяжскую дружину, открыл паруса, ушел на лодье в море...

И вот приехал ко мне Владимир Иванович Воронин — знаменитый северный капитан. Он знал свой вариант этой старины. Он прочитал его мне и сказал, что всю жизнь собирался записать, скомпоновать свой вариант, я-то и не стал записывать. Вот беда. Что я не записал?

Капитан Воронин с острова Диксона не вернулся. Там он умер. Доблестный был герой-полярник. Он вел на буксире баржу. Взял канат, которым была прикреплена баржа, намотал себе на руку и надорвался. Удивительный был человек, артист, рассказчик, каких не бывало. Он любую сценку так умел изобразить в лицах. Теперь и не знаю, кто скажет полную старину о Варламии Керетском...

С Маршаком мы спорили, он говорил, что в России не было баллады, дескать, только в Шотландии. А вот ведь попу Варла-

мию во искупление греха определено было вечно плавать во льдах:

Не устал Варлакий
У руля сидеть,
Не уснул Варлакий
На жену глядеть,
Не умолк Варлакий
Колыбельну петь:
— Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!..

У Бориса Викторовича в комнате висел на стене небольшой этюд, писанный маслом: берег Белого моря. Этюд скромный, в серых и охристых тонах.

— Степан мне подарил, — пояснял Борис Викторович. — Он ведь кончил Академию святого Луки в Париже. Мастер. Живописец. А художников не любил. «Я, — говорит, — пейзажист, а вы-то кто такие?»

О Степане Григорьевиче Писахове — необыкновенном нашем сказочнике, истинной жемчужине русской литературы, Борис Викторович говорил всегда ласково, с большой любовью, но вспоминал о нем с улыбкой. Шергина смешила эта писаховская фраза: «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?»

— И действительно, кто они такие? — продолжал Борис Викторович. — Иногда и не поймешь. А Степан Григорьевич — живая душа Архангельска. Знал о нашем городе всю подноготную, каждый дом. Живая душа Архангельска — так о нем я думал всегда. Сейчас про Степана да и про меня говорят: говор, говор, северный говор. Мысль живая, живая душа дороже всякого говора...

Не так давно мне попала в руки книга Степана Писахова «Сказки, очерки, письма», изданная в Архангельске в 1985 году. Приятно было прочесть в его письмах ответные отклики Борису Викторовичу: «...староверы за разрешением спорного места в писании обращаются к Шергину. Борис, прекрасно разбирающийся в древних писаниях и составивший сборник из житий святых острее Декамерона, делает подобающую рожу и разъясняет».

— Очень талантливый собеседник, — рассказывал о Писахове Шергин. — Он застольный рассказчик был прекрасный, а с эстрады выступать не мог. У него дикция была ужасная... Вот отпустил Степан бороду и стал похож на преподобного Серафима. С ним водиться — как на крапиву садиться. Вдруг обидится, не пишет ничего, потом сразу страниц шестнадцать, не знаешь, как и прочесть... Он у меня подолгу гостил. А в Москве знал одну Садовую. Кругом Москвы по Садовой бежит!

Борис Викторович засмеялся. Его смешило, как бежит Степан Писахов вокруг Москвы по Садовому кольцу, шарахаются

прохожие, развеивается писаховская борода. «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?!»

Встречаясь с Борисом Викторовичем Шергиным, подолгу дружески беседуя с ним, я всегда получал только доброе, человеческое, положительное. Он почти не жаловался на судьбу, на слепоту. Он говорил так: «Глаза стали дрейфить».

Долгое время я не знал, что у него одна нога на протезе, спросить, отчего он так трудно ходит, стеснялся. Мне было дорого то, что сижу рядом с ним, слушаю. Видеть лицо его живое, вместе смеяться — было моим счастьем, оно затмевало мне глаза, и я забывал, что жилось ему очень трудно. Денег не было. Книги издавались редко.

Здесь надо вспомнить добрым словом Владимира Викторовича Сякина, редактора издательства «Молодая гвардия». Самоотверженно прошибал он косность сухих сердец, добивался выхода книг Б. Шергина. Владимиру Викторовичу — поклон от читателей, а Борис Викторович любил Сякина, посвятил ему свой лучший рассказ — «Для увеселения».

Журналы, радио, телевидение практически позабыли Бориса Шергина.

— Радиоцентр детского вещания записывал меня два дня. Раньше я по радио рассказывал много, потом там знакомств не стало... Телевидение хотело снять меня, приходили раз... но они с тех пор никто не бывал...

На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгорали звезды разной величины, они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушные именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да позабыли.

А другие, к стыду нашему, не знали, не читали и даже не слышали этого славного имени, а если слышали фамилию, то произносили ее неправильно (правильно — Шёргин).

В те дни я ничего не знал, Борис Викторович не говорил мне о своих «Дневниках». Об этом памятнике русской культуры будут еще много говорить и писать. Мне же терзают душу горькие его записи:

«...Годами забрался, летами зажился. Имени доброго не нашёл, дак хотя бы „положения в свете“ или запаса про черный день... Ничего нет. Ни постлать, ни укутаться, и в рот положить нечего. Нет знакомого человека, у которого не взял бы в долг, и, по-видимому, без отдачи... Иной раз встречу займодавцев своих. Что же... Без стыда рожу не износишь...»

Хорошо еще, что с ним был верный Миша — Михаил Андреевич Барыкин. Они прожили рядом очень много лет. Михаил

Андреевич знал, что такое «дядя Боря». Творчество Шергина было и главным смыслом его жизни.

— Если уж я что не так,— говорил он,— то дядя Боря и за меня сделал.

Михаил Андреевич часто лежал в больнице, подолгу не бывал дома, но возвращался всегда к дяде Боре.

Борис Викторович никогда не был женат. Все отцовское чувство отдал он Мише, называл его «душевым собеседником», «племянником», хотя Миша был из дальних родственников.

Михаил Андреевич играл на контрабасе, и бросала его судьба по разным оркестрам. Так и жили они — то Миша зарабатывает на контрабасе, а вдруг да Бориса Викторовича издадут.

Однажды Борис Викторович сказал мне:

— Была такая газета — «Культура и смерть».

Я засмеялся. Я думал, что он шутит так, чтобы повеселить меня. Разговор ушел в любимую северную сторону. Борис Викторович не стал разъяснять ничего. Он понимал, что мне нужно шергинское, а это было другое. Впрочем, я догадался, что речь идет о газете «Культура и жизнь».

И вот недавно писатель Сергей Михайлович Голицын, который знал и любит Шергина, спросил меня:

— А помните, как Борис Викторович называл газету — «Культура и смерть»? Так вы почитайте. Номер пятнадцатый от тридцатого мая сорок седьмого года.

Я прочитал. Не хочется называть автора статьи «Против опошления народного творчества». Впрочем, назову: Вик. Сидельников. Не знаю, что это — псевдоним или фамилия. Лучше бы псевдоним. Не хочу и цитировать статью, но надо:

«Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы ее пахнет церковным ладаном и елеем, веет какой-то старообрядческой и сектантской „философией“. Редактор книги т. Циновский и издательство отнеслись к порученному делу безответственно».

Эта ложь по тем временам была убийственна.

Не знаю я судьбы т. Циновского, не знаю даже его имени, но думаю, что сейчас самое время сказать наконец ему спасибо.

Настал для меня час подать заявление в Союз писателей. У меня уже вышло несколько книжек для детей, «норму», нужную для вступления в Союз, я выполнил.

Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем и мечтал, конечно, получить от него рекомендацию. Но заговорить на эту тему долго не решался. Не хотелось, чтобы он думал, что мне нужно от него больше, чем он мне уже дал. Вот как неловко записал, черт подери. Ну, ладно. Подъехал я к Мише с этой темой: так, мол, и так, прямо и не знаю...

Михаил Андреевич руками замахал, дескать, дядя Боря к тебе всей душой, а ты... короче, беги в магазин, а я буду котлеты жарить. Так и получил я эту чудесную рекомендацию за столом с котлетами и винегретом. Лариса Викторовна записывала, Борис Викторович диктовал, а Михаил Андреевич меня по спине хлопал.

Пораженный до глубины души тем, что оказался в рекомендации «неутомимым путешественником» и «истинным художником», я ел котлеты и думал: вот как... счастье-то наконец привалило! Дурацкая радость и гордость распирали меня тогда, как, впрочем, и сейчас распирает. Какие еще литературные медали нужны?

Бегу по Садовому вокруг Москвы:

— Вон как Борис Шергин мне написал!

Михаил Андреевич Барыкин был мне добрым другом. Душевный он был человек. Мягкий.

Вот как-то позвонил, а голос хриплый, силпый, как из парилки:

— Дядя Боря скучает, печалится... намек понял?

И я побежал на Рождественский.

А Борис Викторович не скучал, курил папиросу, клал бычки на пенек.

— Прилетел соколом,— сказал он.— Да от Красных ворот лететь недалеко.

Михаил Андреевич накрыл стол. Объявился портвейн. Мы с Мишей выпили.

— Это Миша скучал,— смеялся Борис Викторович.— Посидеть не с кем. Я-то ему надоел.

— Ну, дядя Боря,— сипел Михаил Андреевич,— ну, несправедливо... Юрий Осипыч может подумать... а это неверно, да ты и сам говорил...

Здесь, читатель, я должен сказать, что Борис Викторович в рот спиртного не брал никогда в жизни, даже не пробовал. Это я пишу не для того, что сейчас модно не пить. Это — правда. Чокнется с нами, если пристанем: «Ух, крепка, забориста», — а не выпьет. Нас, впрочем, не осуждал никогда, а в назидание читал на память из «Устьянского правильника» — рукописной книги XVIII века:

— Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А скажешь: пьянство ум веселит, — да ведь так и кнут веселит худую кобылу.

Вдруг пришел странный человек. В очочках. Его звали Роман. Он был скрипач и пианист.

— Давай, Миша, сыграем,— сказал Роман.— Мы ведь с тобой старые лабухи.

Стали строить контрабас к роялю, у соседей нашлась гитара, стали ее строить к контрабасу.

Долгий, долгий вечер играли мы втроем «Брызги шампанского», «На сопках Маньчжурии», «Грустный бэби», «О, Сан-Луи». И пели!

Борис Викторович слушал нас и смеялся и никогда не сказал, что мы играем что-то чуждое ему. Он радовался, если у нас получалось. По всем законам песенного времени и пространства Борис Шергин — последний исполнитель тысячелетних былин — должен был сказать: «У нас на Севере поют не так».

— Хорошо,— радовался он.— Как у нас на Севере.

Долго сидели мы, и вечера не хватило. Прихватили ночь — все расстаться не могли...

...А дни, как гуси, пролетали.

Отпевали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела. Меншикова башня. На Чистых прудах.

Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глоцер, Владимир Сякин. Единственным членом Союза писателей оказался я.

Горько плачущая пожилая женщина — вдова художника Ивана Ефимова — все добивалась, есть кто из Союза писателей. Глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил так меня наказывать. Женщина, не видящая ничего от слез, накинута на меня, ничего не видящего:

— Я хочу выразить свое возмущение! Умер замечательный писатель, а где ваш Союз?

Спасибо Миша вступился:

— Это друг, а не представитель.

— Голубчик, простите,— говорила Ефимова,— но так обидно, нет никаких представителей.

«Да зачем они здесь?» — думал я.

Человек в клетчатой кепке подогнал «Москвича» к дверям церкви, вынул венок от Детгиза, снял кепку, внес венок в церковь, вышел обратно, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление.

Был пасмурный промозглый день. Шел мерзлый дождь. Могильщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое, неземное теперь лицо.

«Придет день воскресения, яко светлое утро», — прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названный брат Бориса Викторовича Анатолий Викторович Круг. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище. Участок № 80.

Холодный пронзительный ветер отогнал нас от свежей могилы. Шофер автобуса торопился, грозил вот-вот уехать и бросить нас. Добрались до Рождественского, никак не могли согреться... и ночи прихватили, вспоминая о русском писателе, святом человеке.

Пролетали гуси... И Борис Викторович продолжал к нам приближаться. Все веселей, дороже становилось его слово. Каждая запись, сделанная невзначай, обретала новый смысл. Я перебирал порою эти записи, вдруг терял их в своих бесконечных разъездах, переворачивал все вверх дном, находил. Писать о Шергине никак не решался, все казалось, это будет второе прощание. В ненаписанном есть жизнь, ненаписанное — это еще не пережитое окончательно. Как будто даже есть шанс снова зайти на Рождественский, услышать доброе слово.

Проходили годы, и вот я — один из самых молодых его друзей — стал одним из немногих. Уже обращаются ко мне как к знатоку, а все мое знание — преданность старшему другу.

Вот все думаю: что же произошло, почему литературные поделки времени заслоняли и заслоняют его имя, неужели «Культура и смерть»? Нет, конечно. Газета есть газета. Ударили сильно, но убийства не состоялось. Шергин остался, только русский читатель был его почти лишен. Да ведь и не только Шергина. Многие вернулись к народу, пусть и к другим поколениям. А творчество Бориса Викторовича как-то и не пропадало. Его ведь иногда печатали. Мало, но тоненькая струйка тиража текла, дотекла хотя бы до нас с вами.

Сейчас, грешник, беседую с литераторами и меряю их порой: знают Шергина, любят ли? Не обвиняю тех, кто не знает, — общая беда, а про себя неинтеллигентно думаю: «Знал бы — лучше писал бы».

В литературе, конечно, есть счет. Это все знают. Есть счет текущего времени и счет всевременного слова.

Вдруг вспомнил: заговорили как-то об аде. Шергин сказал:

— Ад — пустая душа. Душа, забывшая мать, предавшая отца. Другого ада я не понимаю, не принимаю.

— А рай? — спросил я.

— Это просто, — улыбнулся Борис Викторович. — Это — мое детство в Архангельске, живы отец и мать... Это — мы сейчас сидим вдвоем, и скоро Миша придет...

Зимой ли, осенью прохожу по Рождественскому бульвару, считаю лавочки: первая от его дома, вторая, третья. Их зачем-то передвинули — одну чуть влево, другую чуть вправо, неподвижны только два окна, заросшие пылью. После смерти Михаила Барыкина окна онемели.

Был жаркий июльский, какой-то асфальтовый день. Вдруг я вошел в подъезд. Остановился перед коричневой дверью и увидел обрезанные звонки. Видали вы? Кнопка еще торчит на косяке, а провод перерезан — звоните в небо... Я вышел вон, как-то позабыв, что существует метод стука в дверь.

Зашел и в другой раз, твердо и долго колошматил в дверь, наконец открыл ее какой-то мальчик. Открыл дверь и отбежал в сторону. Перепуганно глядел он на меня из глубины коммунального коридора. Я не знал, что делать, и тупо спросил:

— Где мама?

— На работе,— ответил мальчик, и я вылетел из подъезда.

Зачем ходил, зачем пугал детей? Нельзя, наверное, так бездарно бродить по квартирам из чужого времени.

Читатель станет смеяться, но все-таки я зашел туда и в третий раз. И опять был асфальтовый день, и долго не открывали, но хотя бы кричали через дверь: «Кто?»

Открыла женщина, охваченная стихией стирки.

— Здесь жил писатель Борис Шергин,— сказал я.— Скажите, кто-нибудь живет сейчас в его комнате?

Она не понимала ничего, никак не могла выйти за пределы мыльной пены.

Объявился какой-то дальний жилец.

— Да ведь это Екатерина Алексеевна,— сказал он.— Идите в квартиру двенадцать.

Поднимаясь на другой этаж, я понял, что иду к вдове Михаила Андреевича.

Екатерина Алексеевна открыла мне и вдруг меня узнала — и обо мне слыхала, и книжки мои читала. Этого я никак не ожидал.

— Где же корабль? — спросил я.

— Здесь корабль, здесь.

Сидя на кухне, я успокаивался, что корабль на месте.

Появилась ее дочь Лариса, которой я хотел было объяснить про корабль, да она оказалась аспиранткой Литинститута и защищала диплом по Степану Писахову. Вот тебе и мои знания про корабль!

Заварили и чай с травками.

— В комнаты Бориса Викторовича,— рассказывала Екатерина Алексеевна,— так никого и не поселили. До сих пор стоят там шкаф и рояль. А сейчас дом забирает какое-то министерство, вот мы и ожидаем, когда выселят.

Какое министерство? Когда заберут? Что будет с домом? На эти вопросы ответить, конечно, я пока не могу. А по Рождественскому ходить стало легче. Все-таки теперь известно, что здесь живут люди, преданные памяти Бориса Шергина, и чай они с травками пьют, и про корабль знают.

Никак не могу расстаться с этой рукописью, которая, по сути дела, давно уж кончилась.

Наверное, чтоб затянуть работу, я поехал в Хотьково.

Был август. Жаркий полдень. В речке Паже молодые люди купали большую черную собаку. Остановился с ними поболтать.

Про Шергина спрашивать их не стал, чтобы не огорчаться. Поговорили мы с минуту, и я пошел дальше.

Тропинка, ведущая на бугор, справа и слева была обсажена картошкой. Фиолетовые картофельные цветы напомнили о хотьковских колдунах, были велики, как пионы.

Я поднялся на бугор и встал прямо перед домом, в котором много лет прожил Борис Викторович. Вдруг я засомневался. Дом обнесен был высоким глухим забором, которого я не помнил. В соседнем саду под яблоней пожилая женщина мыла в тазу морковь.

— Простите,— сказал я.— Где здесь дом Анны Харитоновны?

— Да вот же он.

— А забор-то вроде не тот.

— Так ведь дом продали сразу после смерти Анны Харитоновны.

— А Бориса Викторовича вы помните?

— Ой, да как же, как же не помнить! Заходите, заходите...

Так встретился я через много лет с Надеждой Сергеевной Козловой. И долго сидели мы под яблоней.

— Борис Викторович, он ведь одну зиму и у меня жил с братом... Все, бывало, ждал его, выйдет на бугор и жалобно так зовет: «Толя... Толя...» У меня тогда сын с Севера вернулся и пил сильно, и мы все ругали его, а Борис Викторович говорил: «Не ругайте, не ругайте его, вы не знаете, что такое Север». Борис-то Викторович уж слепенький был, вот выглянет из окна, вон его окно-то, а я в саду ли, в огороде что-то делаю, ну, как сейчас, морковь мою, Борис Викторович и скажет: «Надя, ты что делаешь?» А я скажу: «Да вот, Борис Викторович, морковь мою». А он скажет: «Надя, ты уж приходи вечером». Так всегда хорошо поговорим с ним, душевно... Не было такого человека, который бы мимо Бориса Викторовича в жизни прошел и не заметил, у всех к нему сердце лежало, это потому, что Борис Викторович святой был, его ведь и колдуны боялись. Я им и говорю: это вам не на картошку колдовать: сама-то в цвет, а в земле-то нет...

— Что ж, неужто есть еще в Хотькове колдуны?

— Да уж этого-то добра хватает... А туда вы, за забор, не ходите, там все изменилось, только вот окошечко Бориса Викторовича, посмотрю и поплачу...

За забор в бывший дом Анны Харитоновны я не пошел. Нельзя мне туда.

Посмотрел на окошечко, пошел обратно.

Главное — «не сронить бы, не потерять веселья сердечного».

Да разве потеряешь?!

НА БАРСУЧЬИХ ПРАВАХ

С Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым познакомиться я никогда в жизни и не мечтал. Для меня это был писатель из давних времен, вроде Мамина-Сибиряка. С детских лет я знал и любил его книги, но все-таки даже фамилию произносил неверно: Микитов вместо Микитов.

Но вот случилось так, что я лишился постоянной работы в штате одного из полутолстых журналов, сделался, как тогда говорили, «вольным стрелком» и искал любых литературных заработков. В журнале «Вопросы литературы» мне предложили делать интервью с мастерами слова. Я обрадовался и как-то быстро и весело приготовил интервью с Павлом Григорьевичем Антокольским. Работать с ним было чудесно. Павел Григорьевич бурлил. Он вдохновенно сам себе задавал вопросы и не ленился на них отвечать. Интервью наше напечатали, принесли, где-то перепечатали, на какой-то язык перевели — вполне успешное начало. Но после этого дело застопорилось. Никак не мог я договориться с журналом, с кем из писателей готовить следующий материал. Мне вяло предлагали что-то, я вяло отказывался. Но вот наконец раздался звонок, из-за которого сейчас, через двенадцать лет, взялся я выступить в роли мемуариста:

— Любишь ли ты Соколова-Микитова?

Нет, один-единешенек, сам по себе я к Соколову-Микитову не поехал. Я пригласил с собой Лидию Васильевну Прозорову. С нею мне было поспокойнее. Человек добрый, простой, уравновешенный, Лидия Васильевна была к тому же величайшим мастером стенограммы. Вместе с нею мы уже бывали у Антокольского и вполне спелись, несмотря на то, что разница в возрасте составляла примерно тридцать лет. Лидия Васильевна в угловатом длинном пальто и вязаном берете и я в обязательной тельняшке — это был приятный глаз дуэт.

В какой-то мере Лидия Васильевна была моим щитом. Ее серьезный взор и деловитость защищали от подозрений в моей излишней молодости. А в случае чего из моих невразумительных вопросов Лидия Васильевна могла выжать вполне приличную стенограмму.

Дверь нам открыла жена Ивана Сергеевича — Лидия Ивановна и, пока мы мялись в прихожей, мягко прикрикнула в дверь комнаты, что была напротив:

— Ванечка, «Вопросы литературы».



Из комнаты послышалось одобрительное бурчание:

— Ну, что ж. Это хорошо.

Мы вошли и увидели Соколова-Микитова. Он сидел в кресле почти напротив двери, а справа от двери стоял низенький диванчик, на котором мы и устроились.

Пока знакомились, пока Иван Сергеевич радовался, что оказался в обществе двух Лидий, я мельком огляделся и понял, что в комнате очень темно. Глухие тяжелые портьеры закрывали окно от дневного света. Мелкие предметы рассмотреть было трудно, и я вперился в хозяина.

Так бывало и потом, когда я приходил к нему. Я не успевал рассмотреть комнату, а глядел на Ивана Сергеевича. Он притягивал взор и насыщал его. Разглядывать какие-нибудь предметы было уже нелюбопытно.

В тот первый день я увидел Ивана Сергеевича таким, каким видел и во все остальные наши встречи. Он был в глухом темном халате, в ярких противоестественной зелени защитных очках, в берете, таком же темном, как халат. Сидящий на его голове не слишком франтовато, берет этот выглядел академически, профессорски. По форме он не являлся беретом, а двигался от берета по направлению к шапочке кардинала.

И халат казался особым. Он был толст, как пальто. Я сразу понял, что таких халатов больше нет на свете. Позже я узнал, что халат этот сшила для Ивана Сергеевича Алла Чернышева. Геолог по профессии, она не была, конечно, портнихой, но сумела сшить такой халат, с которым Иван Сергеевич практически не расставался.

Вспомнился П. А. Вяземский:

...Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербам и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я холью свой халат с любовью и почетом.

По сути дела, это и не был халат. Он совмещал в себе все — и пальто, и костюм, а в день знакомства показался мне мантией. Белая борода, берет и особенно острозеленные очки отвлекали от лица, мешали узнать его и полюбить. Когда же Иван Сергеевич снял ненароком очки, я увидел лицо редкой скульптурной силы и почти детские горькие беспомощные глаза. Таинственным и сильным, как у античной скульптуры, лишенной глаз, было лицо Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.

Между тем мой «щит» — Лидия Васильевна — уже вовсю работала. Она спокойно болтала с хозяевами о том о сем, давая

мне время прийти в себя, сосредоточиться. Почувствовав в ней близкую ровесницу, Иван Сергеевич и Лидия Ивановна расспрашивали ее о внуках, о детях, о жизни. Лидия Васильевна расспрашивала их, и ответы уже были такими интересными, что пора было стенографировать.

Я всячески подмигивал Лидии Васильевне, но она совсем забыла, зачем пришла, и дело явно близилось к чаю. Лидия Ивановна предложила чаю и вообще перекусить. Мы не отказались, и, пока хозяйка собирала на стол, Иван Сергеевич вспомнил обо мне.

— Вот видите, — сказал он, — живу на барсучьих правах.

— Как это? — не понял я.

— А так, живу как барсук. Вы не охотник?

— Охотник.

— Ну, так вы должны знать, что барсуки выходят из нор только ночью. У них слабые глаза, не переносят дневного света. И у меня теперь слабые глаза, вот и занавешиваю окно. Так хочется в лес, на волю. Ну ничего, скоро весна. Приедут за нами Лифшицы, и поедем в Карачарово.

Пока Иван Сергеевич говорил, я схватил лист бумаги и написал: «Живу на барсучьих правах...», тут и Лидия Васильевна опомнилась, взяла тетрадку и про Карачарово записала уже она.

Чай, как видно, еще не вскипел, время было, и я задал свой первый вопрос, приготовленный дома:

— Иван Сергеевич, когда читаешь ваши вещи — «Детство», «Чижикову лавру», морские рассказы, — волей-неволей приходишь к выводу, что вы никогда ничего не придумываете и пишете только о том, что видели и пережили.

— Я никогда не считал себя сочинителем и действительно никогда не выдумывал того, о чем писал. Аксаков когда-то сказал, что он не умел выдумывать, а когда пытался, у него не получалось. Что-то есть такое и во мне. Большинство моих рассказов — это все то, что я пережил и видел, и даже имена моих героев почти все подлинны. Я писал о тех людях, которых встречал, с которыми знакомился и которых любил... Я ведь не принадлежу к писателям, которые составляют себе план, потом размышляют... Большинство из того, что я написал, получалось как-то само собой, и я не могу сказать, как это происходило. Возникала мысль или воспоминание, тянуло меня к бумаге — и я писал, не вымышляя ничего. Про многие рассказы я не знал, что напишу. И часто, когда начинал писать, не знал, чем кончу.

Спокойно, неторопливо и значительно отвечал мне Иван Сергеевич. Он размышлял и вспоминал, уже и чай был на столе, а Лидии Васильевне некогда было глотнуть. Она писала, а мы с Лидией Ивановной слушали. Как же я благодарен сейчас этой стенограмме, которая лежит передо мной!

— Как мне приходилось писать? Есть у меня такой рассказ — «Фурсик». Как я его писал? Я служил тогда матросом. Стояли мы в Англии. Зашел как-то я в английский кабачок — смокинг-рум, сел за стол, там и написал рассказ о русской лошади.

Я никогда не старался работать регулярно, так, как работал, например, Алексей Толстой, который каждый день непременно писал свои две страницы на машинке. Каждый день я, конечно, не пишу. Но иногда меня, бывало, захватывало, и я писал с увлечением, с волнением и подолгу.

— Значит, писание для вас было всегда делом естественным и приятным?

— Да, и оно особенно связано с тем, когда я был здоров и счастлив. Тогда у меня получалось хорошо, как помнится.

— А как вы стали писать?

— Мое писание началось случайно. Я не помышлял быть писателем. Когда мне было лет семнадцать, задолго до революции, думаю, что в 1910 году, я написал сказку. Я жил тогда в Петербурге и учился на частных сельскохозяйственных курсах. Написанную сказку я никому не показывал, пока не узнал, что обработкой сказок занимался Алексей Михайлович Ремизов.

Я решил пойти к нему.

Свою сказку вместе с письмом я оставил у швейцара. Меня не пустили. В письме я просил прочитать сказку и ответить мне. Получил я от Ремизова очень ласковое и любезное письмо, в котором он писал, что сказка ему понравилась и будет напечатана в журнале «Заветы». (Выходил тогда и такой журнал, его редактором был Иванов-Разумник. Журнал был закрыт перед первой мировой войной — его не любило начальство.)

Когда я во второй раз пришел к Ремизову, он меня принял. Он сел со мною за стол, положил мою рукопись, и мы стали от слова к слову ее просматривать. Он показывал на промахи, учил и поправлял меня. Это был естественный урок и запомнился мне на всю жизнь. Тщательное, бережливое отношение к слову Ремизов внушил мне сразу. Он же познакомил меня с Пришвиным, который считался учеником его, с Шишковым.

Интервью с чаепитием. В сочетании этих двух слов заключена какая-то неестественность. Так я и чувствовал себя в день первого знакомства с Иваном Сергеевичем. Хотелось просто попить чаю, поболтать о том о сем с хозяином, очень располагающим к сердечной беседе. Но приходилось делать дело — журнал «Вопросы литературы» висел надо мной, денег там даром не выдавали.

Само слово «интервью» вызывало у Ивана Сергеевича некоторую насмешку.

— Это что же, ваша работа — «интервьюер»? — спросил он.

Я и растерялся, и застеснялся, принялся что-то лепетать и объясняться и в конце концов все-таки рассмешил хозяина, предложив называть меня — «интервьюера».

— Не люблю я слов такого рода, — сказал Иван Сергеевич. — В нашем языке появилось много сорных словечек. Он порой похож на поле, покрытое сорняками. Иногда эти сорняки кажутся даже красивыми — овсюг, сурепка (василек я не считаю сорняком).

— Иван Сергеевич, — сказал я, — а как вам такое сочетание: «водоплавающая дичь»?

— Очень нехорошо. Тогда и зайца нужно называть «землебегающим». Или говорят — «пернатые друзья». Бог знает, откуда это появилось. Откуда выкопали это слово? Никогда охотник не скажет, что он идет охотиться на «пернатых» или «водоплавающих».

— А вот немецкое слово «вальдшнеп» прижилось у нас. Правда, мне приходилось слышать изменение этого слова — «валишень». Очень приятно, на мой взгляд, звучит, нежно.

— Есть и русское слово — «слукá». Во всяком случае, у нас, в смоленских краях, так называли вальдшнепов крестьяне.

— Вы считаете, что язык наш стал беднее?

— Не то что беднее — однообразнее. Раньше, когда я слушал мужика или матроса, я видел его лицо в языке — каждый по-своему говорил. А теперь все говорят одинаково, даже писатели. Толстого от Гоголя вы могли отличить по одной фразе, а сейчас откроешь книжку, но не всегда узнаешь по языку, кто же ее написал.

— По-моему, здесь немалую роль играют и некоторые наши редакторы.

— Да, редакторы и мне в свое время много крови попортили. Когда-то мой двухтомник редактировала женщина, которая во всех моих деревенских рассказах слова «мужики» и «бабы» заменила словами «крестьяне» и «крестьянки». Иногда редакторы считали даже возможным писать за меня: накатают целую страницу — потом за голову схватишься. Сейчас-то, слава богу, этого нет.

Интервью с чаепитием — оно не было кончено в один день. Потом еще не раз и не два приезжал я к Ивану Сергеевичу. Я уже не брал с собой Лидию Васильевну, дружеское расположение хозяина облегчало мне работу, я успевал и записать, что надо, и чаю попить, и пообедать, и так просто поговорить на темы, не имеющие отношения к журналу «Вопросы литературы».

Сейчас, через много лет, я просматриваю стенограмму и записи наших бесед. Я понимаю, что привожу здесь слова Ивана Сергеевича с высокой точностью, но сердце почему-то отвлекается от старых записей.

Сейчас уж не помню, как и зачем, но вдруг я оказался на проспекте Мира.

Был солнечный летний день.

Я спешил куда-то, даже бежал — и вдруг увидел Ивана Сергеевича. В темном своем халате, запахнутом на груди, он шел навстречу мне, шел стороною от бегущей толпы, почти прижимаясь к стене унылого серо-розового дома. И эта разница между бегущей толпой — какие-то девушки, кто-то кричит — и седобородым человеком у стены дома вдруг отчетливо и резко ударила в сердце.

Я остолбенел и встал на месте.

Иван Сергеевич не видел меня, не мог видеть, и я не знал, как быть. Подбежать к нему и крикнуть, что здесь, мол, я, казалось неловко. Не такие уж мы близкие друзья, чтобы вот так на улице подбегать и кричать.

Медленно-медленно шел Иван Сергеевич, и еще медленней работала моя голова. Я только лишь не терял его из виду и шел стороною за ним.

Вдруг Иван Сергеевич исчез. И тут я увидел вывеску: «Белый медведь». Растерянный, я вошел в кафе. Иван Сергеевич заказывал у стойки коньяк.

Я выскочил на улицу, потому что теперь получилась полная глупость, какая-то бестактность. Нельзя так ходить за человеком, когда он не знает, что за ним идут.

Уныло дожидался я на улице, когда Иван Сергеевич выйдет из кафе.

По-прежнему держась стены, он отправился в обратный путь, а я все стороною побрел за ним. Теперь уж я совсем не решался объявиться.

Так добрался Иван Сергеевич до перекрестка и остановился. Ему надо было здесь перейти улицу. У края тротуара он стоял, ожидая, что кто-нибудь переведет его. Тут уж только бы дурак не подошел к нему. Я и подошел.

— Иван Сергеевич, — говорю, — тут рядом с вами находится Юрий Коваль.

— Вот как хорошо-то! — обрадовался Иван Сергеевич. — Как же вы так объявились? Не звоните, не приходите, а как улицу переходить — объявляетесь.

— Шут его знает как, — ответил я. — Только так уж получилось.

Иван Сергеевич взял меня под руку, и мы пошли через улицу. Он радовался неожиданной встрече, а я просто сиял.

Только перешли улицу, как Иван Сергеевич сказал мне полутаинственно:

— Тут неподалеку есть кабачок — «Белый медведь». Не хотите ли зайти?

Дурак бы отказался. Мы повернули назад и еще раз перешли улицу.

Я часто вижу, как люди ходят под руку. Раньше и мне приходилось это делать. Теперь забыл, как это бывает.

А вот как ходил под руку через улицу с Иваном Сергеевичем — помню. Я гордился этим, я счастлив был, что моя рука ему пригодилась. И все-таки дело не в этом. Не знаю, как объяснить, но, опираясь на мою руку, это он помогал мне, придавал мне силы.

Такое чувство я испытывал, только когда шел рядом с Соколовым-Микитовым. Сейчас испытываю его редко, очень редко, только когда случаются счастливые дни рядом с Арсением Александровичем Тарковским.

Здесь мне хочется написать, кого любил Иван Сергеевич.

Радостно, по-детски и он, и Лидия Ивановна любили Твардовского. Как только о Твардовском заходил разговор, Лидия Ивановна с восхищением начинала рассказывать. Отчего-то особенно часто она рассказывала про ящик с помидорами. Как однажды Твардовский, гостя у Соколовых, заметил, что внук их Саша с удовольствием ест помидоры, которых на столе было немного. Через несколько дней Твардовский прислал им целый ящик помидоров. Об этом сказочном ящике Лидия Ивановна вспоминала не раз, и Иван Сергеевич любовно поправлял детали.

В нашем интервью о Твардовском было сказано совсем немного: «Моим близким другом считаю я и Александра Трифоновича Твардовского — моего земляка, с которым меня свела судьба лет двадцать назад. Творчество Твардовского мне близко душевно».

Такая краткость Твардовского никак не обидела. Интервью он наше прочитал и похвалил, но высказал огорчение, что в числе друзей Иван Сергеевич назвал его после Федина. Твардовский считал, что он поближе к Ивану Сергеевичу, чем Федин.

В доме Ивана Сергеевича единственный раз в жизни встретился я с Твардовским. Мы беседовали с Иваном Сергеевичем, как вдруг звонок — внезапно приехал Твардовский. Он вошел в комнату шумно и живо.

— Темно-то как у вас,— сказал он.— Как в каземате Петропавловской крепости.

Он подошел к окну и распахнул глухие шторы, скрывающие свет. Распахивать шторы эти не было дозволено никому. Дневной свет утомлял больные глаза хозяина. Ни Иван Сергеевич, ни Лидия Ивановна этого Твардовскому не сказали. Видно, ему было дозволено.

Иван Сергеевич представил меня.

— Так это он поставил меня после Федина? — с шутливой угрозой сказал Твардовский.

Пожавши руку поэту, попрощавшись с хозяевами, я поскорей раскланялся, чтоб не мешать беседе двух друзей. А так, признаться, не хотелось уходить.

Иван Сергеевич любил Алянского. Он говорил мне:

— Вот у вас выходит книжка. Хорошо бы, чтоб она попалась на глаза Алянскому.

— Она как раз и попалась,— хвастался я.

— Самуил Миронович — замечательный человек. Нет у нас другого такого знатока и мастера книги. Вам повезло. Я-то люблю Алянского.

Меня удивляло: как же это так? Два таких человека знают и любят друг друга — каков же он, как он связан, этот священный мир русской книги?

Очень любил Иван Сергеевич Владимира Александровича Лифшица и его жену Ирину Николаевну. Часто в разговорах упоминал он их имена.

Ефим Дорош и Владимир Лакшин, близкие товарищи Твардовского, тоже были любимы в доме Соколовых. С Владимиром Яковлевичем Лакшиным я познакомился уже после смерти Ивана Сергеевича. Первое, что меня удивило, это разговорная манера, интонация Лакшина. Во многом он похож по манере речи на Соколова-Микитова. Та же неторопливость, доброта, мудрость, и приятно, что есть в этом немного детской подражательности. Велико было обаяние Ивана Сергеевича.

Те же интонации замечаю я порой и у себя и особенно у Вадима Чернышева, друга и ученика Соколова-Микитова. Случайно познакомившись с Иваном Сергеевичем, Вадим стал одним из самых близких его друзей. Не было какого-нибудь события в жизни Соколовых, в котором самое сердечное участие не принимали бы Вадим и жена его Алла — «мастер халата».

Иван Сергеевич был человек особенный. Однако объяснить эту особенность, рассказать, в чем ее смысл, представляется очень трудным. Высокая нравственная чистота, абсолютная цельность и правдивость — все эти черты, конечно, свойственны были Соколову-Микитову, но все это лишь дополнение к тому

главному, чем обладал он. Попросту сказать, Иван Сергеевич был из тех людей, которых раньше на Руси называли святыми.

Человек, обладавший не слишком чистой совестью, не мог явиться перед ним.

И в те дни, когда я встречался с ним, и сейчас, в памяти, Иван Сергеевич был для меня всегда ориентир души, к его светлому образу прибегаю я, когда одолевают сомнения и утраты.

Таким был Иван Сергеевич для всех окружавших его людей — святым, благословения которого жаждут. Мысли его бывали порой чрезвычайно просты, но всегда заключалась в них абсолютная истина.

Вот почему, кажется мне, склонялись перед Соколовым-Микитовым личности значительные, люди именитые — такие, например, как поэт Александр Твардовский.

...Как-то я жил в домике на озере Чуна — совершенно безлюдном, — рассказывал Иван Сергеевич. — Там кто-то давным-давно поставил домик. И вот я жил там один, питался тем, что добывал ружьем и удочкой. Ловил хариусов. Их там было множество, и, когда я начинал чистить рыбу, из груды камней, лежавших около домика, всегда выбегал горноста́й и кормился рыбьими отбросами. Он так привык ко мне, что стал заползать в спальный мешок, сделанный из оленьих шкур, так что у нас установилась дружба.

Горноста́й, как известно, зверь не очень-то добрый, но привык ко мне. Большинство диких зверей привыкает к человеку.

Торо был проповедник, а я проповедником не был. Но некоторые места в его проповеди мне очень близки и понятны. В Англии я наблюдал «Армию спасения» — благотворительную организацию. Торо ненавидел благотворителей, чувствуя в них фальшь. Благотворительность — это еще не истинная доброта, а в Торо есть доброта истинная. Основа философии Торо — это любовь к подлинной жизни.

Я считаю, что подлинная жизнь — это когда человек оставляет за собой след, большой или малый. А след этот остается, если человек делает какое-нибудь добро. Я считаю, что писательство тоже должно быть таким делом, из которого проистекает добро. Вот мы пишем книги, пишем о хорошем, добром и этим выполняем какой-то свой внутренний долг. Я считаю, что в этом назначение писателя, художника и каждого человека — делать добро.

Однажды я решил прочитать Ивану Сергеевичу свои детские рассказы. Он охотно согласился послушать. Я начал читать:

— «У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй...»

Иван Сергеевич немедленно прервал меня.

— Уберите «между прочим», — твердо сказал он.

— Да как же, Иван Сергеевич, интонация...

— Уберите — и все, никаких интонаций.

— Так ведь в этом «между прочим» есть юмор.

— Какой же тут юмор? Вот я вам расскажу юмор. Взял я на охоту своего зятя, на медведя. Ну, дал ему пятазарядное ружье системы «Браунинг». Поставили его на номер, совсем захудалый.

Стронули медведя, вдруг я слышу: бах! бах! — пять выстрелов, один за другим. Зять мой палит! И ведь убил медведя с первого выстрела, а остальные со страху выпалил.

Я пошел домой, а охотники стали делить медведя. Вдруг зять догоняет и спрашивает, какую часть медведя ему взять.

«Ногу, конечно», — отвечаю.

Зять вскорости и приносит эту ногу, завернутую в газету, да только не окорок, а медвежью ступню. Вот ведь какой дурак! Ну, что тут поделать? Приехали в Ленинград. Лидия Ивановна говорит: «Можно из этой ноги студень сварить».

Завернула ногу в газету и пошла в магазин, чтоб мясник порубил эту ногу топором.

Мясник как ногу увидел, побледнел, выскочил куда-то и вернулся с милиционером. Вот был юмор. Замели мою Лидию Ивановну вместе с ногой.

В те самые дни, когда я встречался с Иваном Сергеевичем, я часто навещал и другого прекрасного русского писателя — Бориса Викторовича Шергина.

Странно об этом рассказывать, но к этому времени у Бориса Викторовича тоже плохо стало с глазами, он почти потерял зрение.

Иван Сергеевич никогда не был знаком с Шергиным, но они знали друг друга по книгам и любили. Через меня они договаривались встретиться, познакомиться, поговорить друг с другом, но как-то все не получалось.

Передавать их приветы друг другу — это было мое счастье.

Вскоре после смерти Ивана Сергеевича угасла и Лидия Ивановна. Я ее не видел без него. Так и Ивана Сергеевича не видел я без нее. В моем сердце они вместе.

Не так давно — не в прошлом ли году? — поздней ночью шел я по Скатертному переулку. Вот и дом, в котором живет — да жива ли? — Лидия Васильевна Прозорова.

Какой удивительный на двери ее звонок — бронзовая рука: поверни ее — и бронзовый звонок в квартире у Прозоровой.

Поздние прохожие обгоняли меня и спешили навстречу. Вот еще одна фигура — длинное пальто, вязаный берет.

— Лидия Васильевна, вы ли?

— Господи, я вас не узнала.

— Лидия Васильевна, я вас сейчас вспоминал.

— А вы-то как?

— Вот бы снова вместе поработать.

Недолго постояли мы, вспомнили Павла Григорьевича, Бориса Викторовича, Ивана Сергеевича, поцеловались на прощанье.

1981

КЛЕЕНКА

Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеенку.

Продавец Петр Максимыч, как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, что он делает.

— Клеенку, наверное, меряет, — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. — Он вначале ее всю перемеряет, сколько в ней метров-сантиметров, а потом продавать станет... Пстой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою.

— Кто первый? — возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. — Это ты-то первый? А я три часа у магазина стою, все ножки обтоптала! Он первый! Слезай отсюда!

— Чего? — не сдавался дядя Зуй. — Чего ты сказала? Повтори!

— Видали первого? — повторяла Мирониха. — А ну слезай отсюда, первый!

— Ну ладно, пускай я второй! Пускай второй, согласен.

— Что ты, батюшка, — сказала тетка Ксения, — за Миронихой я стою.

— Эх, да что же вы, — огорчился дядя Зуй, — пустите хоть третьим!

Но и третьим его не пускали, пришлось становиться последним, за Колькой Дрождевым.

— Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеенка? Чего на ней нарисовано: ягодки или цветочки?

— Может, и ягодки, — задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор, — а я не видал.

— Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?

— Это смотря какие ягодки,— мрачно сказал Колька Дрождев,— если чернички или бруснички — это бы хорошо. А то нарисуют волчию — вот будет ягодка!

— Надо бы с цветочками,— сказала тетка Ксения,— чтоб на столе красота была.

Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеенка была с цветочками.

— А то бывают клеенки с грибами,— снова мрачно сказал Колька Дрождев,— да еще какой гриб нарисуют. Рыжик или опенок — это бы хорошо, а то нарисуют валуев — смотреть противно.

— Я и с валуями возьму,— сказала Мирониха,— на стол стелить нечего.

Наконец дверь магазина загрохотала изнутри — это продавец Петр Максимыч откладывал внутренние засовы.

А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебящаяся изнутри селедками. Над нею, как черные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блестели банки с заграничными компотами, а на нижних, рядком, стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы.

В магазине пахло клеенкой. Запах селедки, макарон и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской.

Сама клеенка лежала посреди прилавка, и, хоть свернута была в рулон, верхний край все равно был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.

— Ох, какая! — сказала тетка Ксения.— Поднебесного цвета!

А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеенку. Дядя Зуй дошел до бочки с селедками, да и остановился, будто боялся подойти к клеенке.

— Слепит! — сказал он издали.— Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет! Веришь или нет?

И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеенку в узкую щелочку между век.

— Кажись, васильки нарисованы,— хрипло сказал Колька Дрождев,— хуть и сорная трава, но голубая.

Да, на клеенке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен белоснежный.

— Поднебесная, поднебесная,— заговорили женщины,— какая красавица! Надо покупать!

— Ну, Максимыч,— сказала Мирониха,— отрезай пять метров.

Продавец Петр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.

— Пяти метров отрезать не могу,— сказал он, перестав чикать.

— Это почему ж ты не можешь? — заволновалась Мирониха.— Отрезай, говорю!

— Не кричи,— строго сказал Петр Максимыч, чикнув ножницами на Мирониху,— клеенки привезли мало. Я ее всю измерил, и получается по полтора метра на каждый дом. Надо, чтоб всем хватило.

Тут же в магазине начался шум, все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.

— Отрезай! — наседала она на Петра Максимыча.— Кто первый стоит, тот пускай и берет сколько хочет.

— Ишь, придумала! — говорили другие.— Нарезет себе пять метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило.

— А если у меня стол длинный? — кричала Мирониха.— Мне полтора метра не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?

— Можешь отпиливать,— сказал Петр Максимыч, чикая ножницами.

Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол мерить. За нею потянулись и другие женщины.

В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев.

— Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький,— говорил дядя Зуй.— Внучка Нюрка сядет с того конца, я с этого — вот и весь стол. Мне клеенки хватит, еще и с напуском будет.

— А у меня стол круглый,— хмуро сказал Колька Дрождев,— а раздвинешь — яйцо получается.

Первой в магазин вернулась Мирониха.

— Режь метр восемьдесят! — бухнула она.

— Не могу,— сказал Петр Максимыч.

— Да что же это! — закричала Мирониха.— Где я возьму еще тридцать сантиметров?

— Да ладно тебе,— сказал дядя Зуй,— останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбы кости складывать.

— Тебя не спросила! — закричала Мирониха.— Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!

— Ишь, ругается! — сказал дядя Зуй добродушно.— Ладно. Максимыч, прирежь ей недостачу из моего куска. Пускай не орет. Пускай рыбы кости на клеенку складывает.

Продавец Петр Максимыч приложил к клеенке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеенку, разрубая васильки.

— Бери-бери, Мирониха,— говорил дядя Зуй,— пользуйся. Хочешь ее мылом мой, хочешь стирай. От этой клеенки убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на нее ставь, супы, самовары ставь. Только смотри будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеенку!

— Тебя не спросила,— сказала Мирониха, взяла, кроме клеенки, селедок и пряников и ушла из магазина.

— Твой кусок, Зуюшко, укоротился,— сказал Петр Максимыч.

— Ладно, у меня стол маленький... Кто там следующий? Подходи.

— Я,— сказала тетка Ксения,— мне надо метр семьдесят.

— Где ж я тебе возьму метр семьдесят? — спросил Петр Максимыч.

— Где хочешь, там и бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хотят.

— Пускай плачут! — закричал Петр Максимыч. — Где я тебе возьму?

Тетка Ксения махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.

— Вот ведь дела,— сказал дядя Зуй,— с клеенкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостаю, мне небось хватит. А то клеенка, дьявол, больно уж хороша, женщине и обидно, что не хватает... Теперь-то довольна, что ль, тетка Ксения, или не довольна? А клееночка-то какая — прям искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь ее на стол, а на столе — цветочки, ровно лужок... Кто там следующий? Манька Клеткина? А какой у тебя, Манька, будет стол?

— Не знаю,— тихо сказала Манька.

— Так ты что ж, не мерила, что ль?

— Мерила,— сказал Манька еще тише.

— Ну, и сколько получилось?

— Не знаю. Я веревочкой мерила.

Манька достала из кармана веревочку, узлом завязанную на конце.

— Вот,— сказала она,— у меня такой стол, как эта веревочка.

— Как веревочке ни виться,— строго сказал Петр Максимыч,— а концу все равно быть.

Он приложил деревянный метр, померил Манькину веревочку и сказал:

— Опять нехватка. Метр семьдесят пять.

— Эх,— махнул рукой дядя Зуй,— прирезай недостаю от моего куска, режь на всю веревочку. А ты, Манька, горячие

кастрюли на клеенку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай подложку из дощечки.

— Поняла,— тихо сказала Манька,— спасибо, батюшка.

— Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам... Кто следующий-то там?

Дело в магазине пошло как по маслу. Петр Максимыч только чикал ножницами, и через десять минут от дядизуевой клеенки почти ничего не осталось.

Но эти десять минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеенку, жмурился от силы цвета, сомневался: не заграничная ли она? Не американская ли?

— Ну, Зуюшко,— сказал наконец Петр Максимыч,— клеенка эта пока не американская. Наша клеенка, советская. И у тебя от этой клеенки осталось как раз двадцать сантиметров.

— Чтой-то больно мало.

— Так выходит. Двадцать сантиметров тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.

— Может, какие-нибудь есть запасы? — наемкнул дядя Зуй.— Для близких покупателей?

— Запасов нету,— твердо сказал Петр Максимыч.— И в скором времени не предвидится.

— Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь двадцать сантиметров.

— На кой тебе двадцать-то сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор.— Отдай их мне.

— Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то еще Нюрка ругаться будет.

— Больно уж мало,— сказал Колька Дрождев.— Двадцать сантиметров, чего из них выйдет?

— Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты.

— Какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы конфет возьмем, чего ей ругаться?

— Это верно,— согласился дядя Зуй.— Когда конфеты — чего ругаться? Забирай.

— Если б валуи какие были нарисованы,— толковал Колька Дрождев,— я б нипочем не взял. А это все ж васильки.

— Верно, Коля,— соглашался дядя Зуй.— Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые.

— А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, с опенками я б еще взял.

— Ты, Колька, береги клеенку-то,— наказывал дядя Зуй.— Не грязни ее, да папиросы горящие не клади, а то прожжешь, чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеенку папирос — никакого вида, одни дырки прожженные. Ты лучше, Колька, вообще курить брось.

— Бросил бы,— ответил Колька, заворачивая клеенку,— да силы воли не хватает.

К ужину в каждом доме Чистого Дора была расстелена на столах новая клеенка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стекла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клееночный запах — краски и сухого клея.

Конечно, через месяц-другой клеенка обомнется. Колька Дрождев прожжет ее в конце концов горячей папиросой, пропадет особый клееночный запах, зато вберет она в себя запах теплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки.

НЮРКА

Нюрке дядизуевой было шесть лет.

Долго ей было шесть лет. Целый год.

А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

На Нюркин день рождения дядя Зуй напек калиток — это такие ватрушки с пшенной кашей — и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

— Купи конфет килограмма два,— говорит Пантелевна.— Подушечек.

— Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьезнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак — чувствуется в рюкзаке что-то тяжелое. Елки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Все в нем цело, и стекла есть, и окуляры крутятся.

Протер я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навел его на дядизуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегают, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

— Нюрка,— кричит дядя Зуй,— хрену-то накопила?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

— Накопила,— отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашел в магазин, купил два кило подушечек и пошел к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Мионов пришел в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принес Нюрке пенал из бересты. Этот пенал дед Мироша сплел.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буквами: «Нюри».

Пришли еще ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

Тетка Ксения принесла специальное коричневое первоклассное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из желтого кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

— Целый день, — говорят, — собирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное? — говорят братья Моховы. — Очень даже школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику.

Я говорю Нюрке:

— Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот — бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль в первый раз видит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное, — обиделся я, — раз в него будет школьница смотреть?

А дядя Зуй говорит:

— Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звезды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была очень веселая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна и долго пили чай и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.

Потом гости стали расходиться.

— Ну спасибо, — говорили они. — Спасибо вам за огурцы и за калитки.

— Вам спасибо, — отвечала Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью: «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у нее висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шел дядя Зуй и кричал:

— Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

— Ну-ну-ну... — кивала Пантелевна. — Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у нее цветы и сказал:

— Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем все на крышу и будем на звезды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тетка Ксения, Мирониха и еще много народу стояли у школы и глядели, как идет Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Еще бы, ведь ей семь лет. И долго еще будет. Целый год.

СТОЖОК

У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него все, что надо, — и куры и корова.

— Свины вот только нету, — говорил дядя Зуй. — А на что хорошему человеку свинья?

Еще летом дядя Зуй накосил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал — хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

— Дед, — говорит Нюрка, — ты что ж сено-то из лесу не везешь? Ай позабыл?

— Какое сено? — удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит — стожок его снегом занесен.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом — нет лошади: ушла, проклятая!

Побежал вдогонку — догнал, а лошадь не идет к стогу, упирается.

«С чего бы это она, — думает дядя Зуй, — упирается-то?»

Наконец-таки запряг ее дядя Зуй в сани.

— Но-о-о!..

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места — полозья к земле крепко примерзли. Пришлось по ним

топориком постучать — сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуй сбоку идет, на лошадь губами чмокает.

К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать.

— Ты чего, Зуюшко, привез-то? — кричит ему Пантелевна.

— Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

— А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза — медведь!

«Рру-у-у!..»

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

— Стой! — закричал дядя Зуй. — Держи его, Пантелевна!

Рывкнул медведь и пропал в елочках.

Стал народ собираться. Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

— Вон какую берлогу себе придумал — Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

— Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

— Да-а, — сказал дядя Зуй, — будет теперь сено медвежатинной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмет.

ВЫСТРЕЛ

Школа у нас маленькая.

В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

В первом — одна ученица, Нюра Зуева.

Во втором — опять один ученик, Федюша Миронов.

В третьем — два брата Моховы.

А в четвертом — никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека.

С учителем Алексей Степанычем — пять.

— Набралось-таки народу, — сказала Нюрка, когда научилась считать.

— Да, народу немало, — ответил Алексей Степаныч. — И завтра после уроков весь этот народ пойдет на картошку. Того гляди, ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

— А как же кролики? — спросил Федюша Миронов.

— Дежурной за кроликами оставим Нюру.

Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно сто четыре.

— Ну, наплодились...— сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку.

Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчелы.

Но почему-то казалось, что они жужжат!

Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

Дежурить Нюрке было нетрудно.

Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

Потом Нюрка вымела клетки. Кролики пугались веника, порхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы все было в порядке.

Нюрка прошлась по школьному двору — все было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружье.

«На всякий случай,— думала она.— Может быть, ястреб налетит».

Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Они ползали по полю, как маленькие ситцевые жуки. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

Нюрка сидела на заборе, когда подошел Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

— Перестань жужжать,— сказала Нюрка.

Витя перестал.

— Видишь это ружье?

Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся как бы в бинокль и сказал:

— Вижу, матушка.

— Знаешь, как тут на чего нажимать?

Витя кивнул.

— То-то же,— сказала Нюрка строго,— изучай военное дело!

Она еще посидела на заборе. Витя стоял неподалеку, желая поужжать.

— Вот что,— сказала Нюрка,— бери ружье и садись на крыльцо. Налетит ястреб — стреляй беспощадно. А я сбегая за ботвой для кроликов.

Витя сел на крыльцо, положив ружье на ступеньку, а Нюрка достала из чулана ведро, порожний мешок и побежала в поле.

На краю поля лежала картошка — в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась — далеко ли ребята? Они были далеко, даже не разобрать, где Федюша, а где братья Моховы.

«Добежать, что ль, до них?» — подумала Нюрка.

В этот момент ударил выстрел.

Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей — Витя лежит на крыльце весь убитый.

Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба.

Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружье лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная все-таки это была палочка. На конце — сургучная блямба, на ней петлею затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой — конский волос терся о сургуч: жжжу...

— Кто стрелял? — крикнула Нюрка.

Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял, — пороховое облако еще висело в бузине.

— Ну погоди! Вернутся братья Моховы! Будешь знать, как с ружьем баловать. Перестань жужжать!

Витя перестал.

— Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

— По ястребу.

— Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

— Он в крапиве лежит.

Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных крыльях были видны дырки от дробин.

Это было так чудно. Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашел на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

Да, видно, ястреб просчитался. Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь — бряк! — валялся в крапиве.

С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

— Он будет космонавтом! — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

А Федюша Мионов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

— Молодец! Молодец!

— А мне ястреба жалко,— сказала Нюрка.

— Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал!

— Все равно жалко. Такой красивый был.

Тут все на Нюрку накинулись.

— А кого тебе больше жалко? — спросил Федюша Мионов.— Ястреба или кроликов?

— И тех и других.

— Вот дуреха-то! Кроликов-то жалче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

Витя сидел на крыльце и молчал.

И вдруг все увидели, что он плачет. Слезы у него текут, и он совсем еще маленький. От силы ему шесть лет.

— Не реви, Витька! — закричали братья Моховы.— Ну, Нюрка!

— Пускай ревет,— сказала Нюрка.— Убил птицу — пускай ревет.

— Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Зачем отдала ружье? Сама должна была убить ястреба.

— Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его. Он бы улетел.

Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на нее чугунок с картошкой.

Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал.

— Вот что, Нюрка,— под конец сказал Федюша Мионов,— Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал — Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

Это были справедливые слова.

Но Нюрка ничего не ответила.

Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.

ЧИСТЫЙ ДОР

Лесная дорога пошла через поле — стала полевой.

Дошла до деревни — превратилась в деревенскую улицу.

По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепка стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

Пока я шел к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идет?

Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

Напившись, я присел на бревно у колодца.

В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

— Напился и сидит.

И окно снова закрылось.

Подошли два гусака, хотели загоготать, но не осмелились: что это за человек чужой?

Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную березовую жердь.

— Давайте пособлю.

— Это ты мне топор-то нашел?

— Я.

— А я-то думала: не лесовик ли унес?

Я взял жердь и потащил ее следом за старушкой.

В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

— Пантелевна,— сказала голова,— это чей же парень?

— Мой,— ответила Пантелевна.— Он топор нашел.

Мы прошли еще немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идет Пантелевна?

Какая-то женщина крикнула с огорода:

— Да это не племянник ли твой из Олюшино?

— Племянник! — крикнула в ответ Пантелевна.— Он топор мне нашел.

Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспевал за Пантелевной.

Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

— Это кто березу-то везет? — спросила она.

— Племянник мой,— ответила Пантелевна.— Он топор нашел, а я думала: не лесовик ли унес?

Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор.

— А теперь он березу мне везет!

— А чего он молчит? — спросил кто-то.

— Как так молчу? — сказал я.— Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унес, а он в малине лежал. А я племянник ей.

— Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и brave, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так, дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подперты, блином покрыты.

Я бросил березу на землю и присел на лавочку перед домом.

— Как называется ваша деревня? — спросил я.

— Чистый Дор.

— Чего — Чистый?

— Дор.

Дор... Такого слова я раньше не слышал.

— А что это такое — Чистый Дор?

— Это, батюшка, наша деревня, — толковала Пантелевна.

— Понятно, понятно. А что такое «дор»?

— А дор — это вот он весь, дор-то. Все, что вокруг деревни, — это все и есть дор.

Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем — лес.

— Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

— Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это все дор, а уж там, где елочки, — это все бор.

Так я и понял, что дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повывергивали. Дергали, дергали — получился дор.

— Ну ладно, — сказал я, — дор так дор, а мне надо дальше идти.

— Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

— Куда ж ты? — говорила Пантелевна и на следующее утро. — Живи-ка тут. Места в избе хватит.

Я подумал-подумал, послал, куда надо, телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее не день и не месяц, а целый год.

Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.

Эту-то я пишу в Москве, гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

Ю. Молоканову

ВОДА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг о друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле.

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей.

У ручья я увидел Нюрку.

Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья.

— Закусываешь? — спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

— Воду пью, — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

— Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

— Спасибо, не надо, — ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

— Ты чего невеселая? — спросил я.

— Так, — ответила Нюрка и пожала плечами.

— Может, двойку получила?

— Получила, — согласилась Нюрка.

— Вот видишь, сразу угадал. А за что?

— Ни за что.

Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

— А домой почему не идешь?

— Не хочу, — ответила Нюрка, не открывая глаз.

— Да съешь ты хлеба-то.

— Спасибо, не хочу.

— Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?

— Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

— Из-за двойки?

— Нет, не из-за двойки, еще кое из-за чего, — сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

— Это из-за чего же?

— Есть из-за чего, — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

— Ну расскажи.

— Не твое дело.

— Ну и ладно, — сказал я, обидевшись. — С тобой по-человечески, а ты... Ладно, я тоже тогда лягу и умру.

Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось

за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Еще бы часок, полтора.

— Тебе-то из-за чего умирать? — спросила Нюрка.

— Есть из-за чего, — ответил я. — Хватает.

— Болтаешь, сам не зная... — сказала Нюрка.

Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

А день кончался. Давно уж миновал полудень, начинался закат.

Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

— Ты бы заплакал, если б я умерла? — спросила вдруг Нюрка.

Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

— Да ты что, заболела, что ли? — забеспокоился наконец я. — Что с тобой?

— Заплакал бы или нет?

— Конечно, — серьезно ответил я.

— А мне кажется, никто бы и не заплакал.

— Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

— За что меня любить? Что я такого сделала?

— Ну, не знаю... а только все любят.

— За что?

— Откуда я знаю, за что. За то, что ты — хороший человек.

— Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

— А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рев стоял? — сказал я.

Нюрка засмеялась.

— Это правда, — сказала она. — Рев был бы жуткий.

— Давай уж поживем еще немного, а? — предложил я. — А то деревню жалко.

Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

— Открывай, открывай глаза, — сказал я, — пожалей деревню.

— Так вкусней, — сказала Нюрка.

— Чего вкусней? — не понял я.

— С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду

выпьешь — и ничего не заметишь. А так — куда вкусней. Да ты сам попробуй.

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

Вода в ручье была студеной, от нее сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

— Погоди, не торопись. Глотни еще.

Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот; долгих дождей и летних гроз.

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза.



СЭР СУЕР-ВЫЕР

Фрагменты пергамента

БЛУЖДАЮЩАЯ ПОДОШВА

Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана.

Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии.

— Фок-стаксели травить налево! — раздалось с капитанского мостика.

Вмиг оборвалось шестнадцать храпов и тридцать три мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю.

Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло.

— Это становится навязчивым, — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суер-Вьер.

— Совершенно с вами согласен, кэп. Невыносимо слушать этот шелест одеял.

— Шелест? — удивился капитан. — Я говорю про тридцать третью подошву. Никак не пойму, откуда она берется.

— Позвольте догадаться, сэр, — сказал лоцман Кацман. — Это одноногий призрак. Мы его подхватили на отдаленных островах вместе с хеймором.

— Давно пора пересчитать подошвы, — проворчал старпом. — Похоже, у кого-то из матросов одна нога раздваивается.

— Эх, Пахомыч, Пахомыч, — засмеялся капитан. — Раздваиваются только личности.

— Но, извините, сэр, — заметил я. — Бывают на свете такие блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них.

— Подошвы обычно блуждают парами, — встрял Кацман. — Левая и правая. А эта вообще не поймешь какая.

— Вероятно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно, — сказал я. — Такое бывает в среде подошв.

— Не знаю, зачем нам на «Лавре» блуждающая подошва, — сказал старпом. — Ничего не делает по хозяйству, только зорю и выбивает. Найду, нащекочу как следует и за борт выброшу!



— Попрошу ее не трогать,— сказал капитан.— Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если ей хочется, пускай выбивает.

По мудрому призыву капитана мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю. Чем она занималась в другое время суток, мне неизвестно. Наверное, спала где-нибудь в клотике.

Боцман однажды наткнулся случайно на спящую блуждающую подошву, схватил ее и дал по шее подошвой зазевавшемуся матросу Веслоухову. Но потом аккуратно положил ее обратно в клотик.

ОСТРОВ ВАЛЕРЬЯН БОРИСЫЧЕЙ

— Остров Шампиньонов мы уже открыли,— сказал как-то Суер-Вьер.— А ведь надо бы еще какой-нибудь открыть! Да вон, кстати, какой-то виднеется. Эй, Пахомыч! Суши весла и обрасопь там, что надо обрасопить!

— Надоело обрасопливать, сэр,— проворчал старпом,— обрасопливаешь, обрасопливаешь, а толку чуть.

— Давай, давай, обрасопливай без долгих разговоров!

Вскорости Пахомыч обрасопил, что надо, мы сели в шлюпку и поплыли к острову. На нем не было видно ни души. Песок, песок, да еще какие-то кочки, торчащие из песка.

— Ну это, конечно, обманные кочки,— сказал Суер.— Знаю я эти кочки. Только подплывем, как из этих кочек вылезет черт знает что.

Шлюпка уткнулась носом в берег, и тут же кочки зашевелились и каким-то образом нахлобучили на себя велюровые шляпы. Тут и стало ясно, что это не кочки, а человеческие головы в шляпах, которые торчат из пещерок.

Самая крупная шляпа заколебалась, и из пещерки вылез целый человек. Сняв шляпу, он приветственно помахал ею и сказал:

— Добро пожаловать, дорогие Валерьян Борисычи!

Мы невольно переглянулись, только Суер поклонился и сказал:

— Здравствуйте, братья по разуму.

Шляпы в норках загудели, заздоровались:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогие Валерьян Борисычи! А первый в крупной шляпе обнял Суера и расцеловал.

— Ну, как вы добрались до нас?— расспрашивал он.— Легко ли? Тяжело? Все ли Валерьян Борисычи здоровы?

— Слава Богу, здоровы,— кланялся Суер.

Меня всегда поражала догадливость капитана и его житейская мудрость. Но какого черта? Какие мы Валерьян Борисычи!



Никакие мы не Валерьян Борисычи! Но спорить с туземцами не хотелось, и я подумал: если капитан прикажет, мы все до единого дружно станем Валерьян Борисычами.

Между тем шляпа номер один продолжала махать когтистой лапой и весело лопотала:

— Мы так радуемся, когда на остров прибывает очередная партия Валерьян Борисычей, что просто не знаем, как выразить свое счастье!

— И мы тоже счастье выражаем,— сказал Суер и, обернувшись к нам, предложил: — Давайте, ребята, выразим свое счастье громкими кличками.

Мы не стали спорить с капитаном и издали несколько кличек, впрочем, вполне приличных. Кроме Пахомыча, который орал:

— Борисычи! А где же магарыч?

— Я надеюсь...— сказала шляпа номер один,— среди вас все истинные Валерьян Борисычи? Нет ни одного, скажем, Андриан или Мартемьян Борисыча? Не так ли?

— Ручаюсь,— сказал капитан, придирчиво осматривая нас.— Не так ли, хлопцы?

— Да, да, это так,— поддержали мы капитана.— Мы все неподдельные Валерьян Борисычи.

— Но мы маленькие Валерьян Борисычи,— влез в разговор лоцман Кацман,— небольшие Валерьян Борисычи, скромные.

Капитан недовольно поморщился. Лоцману следовало бы помолчать. Он сроду не бывал никаким Валерьян Борисычем, а как раз, напротив, по паспорту читался Борис Валерьяныч.

— Мы-то маленькие,— продолжал болтливый лоцман,— а вот он,— и лоцман указал на Суера,— он — величайший из Валерьян Борисычей мира!

Суер поклонился, и мы ударили в ладонь.

Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валерьян Борисычем и раскланивался на все стороны, как истинный Валерьян Борисыч.

— Дорогой Валерьян Борисыч,— сказал Суер, обращаясь к Главной шляпе,— позвольте и мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные Валерьян Борисычи? Прошу говорить правду и только правду.

— Валерьян Борисыч, дорогой,— отвечала шляпа,— мы понимаем вашу бдительность и ответим на нее дружно, по-Валерьян-Борисычески. Эй, взбы, отвечайте.

Тут Валерьян Борисычи зашевелились в норках и хотели было вылезать, но Главношляпый крикнул:

— Сидеть на месте! Кто выскочит — пуля в лоб! Начинайте.
И один носатый из ближайшей норы неожиданно и гнусаво запел:

О, океан!
О, тысячи
На небе дивных звезд!
Все Валерьян Борисычи
Имеют длинный хвост.

А хор из норок подхватил:

Имеют хвост, но он не прост,
Меж небом и землей он мост.

Гнусавое запевало выползло тем временем на второй куплет:

В душе изъян был высечен
На долгую науку.
Вам Валерьян Борисычи
Протягивают руку.

И тут все они запротягивали нам свои лапы.

Все невольно отшатнулись, и даже Суер заметно побледнел.
Он быстро оглядел нас и впер свои брови в меня.

— Валерьян Борисыч,— сказал он, похлопывая меня по плечу,— возьми руку друга из норы.

— Кэп, простите, меня тошнит.

Валерьян Борисычи в норках зашептались, приметив наши пререкания.

— Иди, скотина, Валерьян Борисыч,— толкнул меня в спину Пахомыч.— Иди, а то меня пошлют.

СУТЬ ПЕСКА

В этот момент меня покинуло чувство, что я немного Валерьян Борисыч, но — подчинился капитану. Я уважал Суера, вам, впрочем, этого не понять.

Любезно гримасничая, как это сделал бы на моем месте истинный Валерьян Борисыч, корявой походкой я тронулся с места и пошел некоторым челночным зигзагом.

— Он просто стеснительный,— пояснил лоцман Кацман.— Но — истинный, хотя и мелковатый Валерьян Борисыч.

Подойдя к ближайшей кочке-шляпе, я схватил за руку какого-то Валерьян Борисыча и принялся тресть.

— Здорово, старый хрен Валера! — заорал я.— Ну, как ты тут? Все в норке сидишь? А мы тут плавали-плавали и на вас наварались! Да ты сам-то хоть откуда? Я-то из Измайлова!

Схваченный мною Валерьян Борисыч тихо поскуливал.

— Ты с какого года? — орал я.

— С тридцать седьмого,— отвечал задержанный мною Валерьян Борисыч.

— А я с тридцать восьмого! Ты всего на год и старше, а вон какой бугай вымахал!

Валерьян Борисыч призадумался и наморщил лобик.

— Ты знаешь чего,— сказал он,— копай норку рядом со мной, мы ведь почти ровесники. К тому же я из Сокольников.

— Да! Да! Да! — закричал Главный Шляпоголовый.— Копайте все себе норки! Здесь очень хороший песочек, легко копаются. И мы все будем дружно сидеть в норках.

И тут я подумал, что это неплохая идея, и мне давным-давно пора выкопать себе норку в теплом песке, и хватит вообще шлаться по белу свету.

«Заведу себе велюровую шляпу,— думал я,— стану истинным Валерьян Борисычем, а там разберемся». И я опустился на колени и стал двумя руками загребать песочек, выкапывая норку. Песок струился с моих ладоней, и суть его, копая, я пытался постичь.

«В чем же суть этого песка? — напряженно думал я.— Эту вечную загадку я и стану разгадывать, сидя в норке».

Струился, струился песок с моих ладоней, тянул к себе и засасывал.

Вдруг кто-то сильно дернул меня за шиворот и выволок из норы.

— Ты что делаешь, дубина? — сказал Суер, щипая меня повыше локтя.— Опомнись!

— Норку копаю, а вы разве не будете, кэп?

— Будем, но позднее.

— Позвольте, позвольте,— встрял Главный Шляподержатель,— откладывать копание не полагается. Копайте сразу.

Тут я заметил, что Валерьян Борисычи в норках надулись и смотрели на нас очень обиженно.

— Копайте норки, а то поздно будет,— приговаривали некоторые.

— Нам нужно вначале осмотреть достопримечательности,— отвечал Суер-Вьер,— а уж потом будем копать.

— Какие еще достопримечательности? Здесь только песок да Валерьян Борисычи.

— А где же музей восточных культур? — спросил Суер.

— Мы его разграбили,— мрачно ответил Главный Валерьян Борисыч.— А вы, я вижу, не хотите норок копать! Бей их, ребята! Это поддельные Валерьян Борисычи! Их подослали Григорий Петровичи!

— Вот ведь хреновина,— устало сказал Суер.— Только приплываем на какой-нибудь остров — нас сразу начинают бить.

Головной Борисыч снял шляпу и метнул ее в капитана. Шляпа летела, вертясь и свистя.

Капитан присел, и шляпа попала в лощмана. Кацман рухнул, а шляпа, как бумеранг, вернулась к владельцу.

Все прочие Валерьян Борисычи засвистели по-узбекски и стали принакручивать шляпами. Через миг несметное количество шляп загудело над нашими головами.

Волоча за собой, как чайку, подбитого лощмана, мы отступили к шлюпке. Над нами завывали смертоносные шляпы.

Пахомыч изловчился, поймал одну за тулью, зажал ее между коленей, но шляпа вырвалась, схватила корзину с финиками, которая стояла на корме и понеслась обратно на остров.

Эти финики спасли нам жизнь. Валерьян Борисычи, как только увидели финики, выскочили из норок. Они катались по песку, стараясь ухватить побольше фиников.

— А мне Валерьян Борисычи даже чем-то понравились,— смеялся сэр Суер-Вьер, выводя нашу шлюпку на правильный траверз.— Наивные, как дети, хотели нас шляпами закидать.

Тут в воздухе появилась новая огромная шляпа. Она летела книзу дном, тяжело и медленно.

Долетев до нас, шляпа перевернулась, вылила на капитана ведро помоев и скрылась в тумане.

ОСТРОВ ТЕПЛЫХ ЩЕНКОВ

Линия холмов, отороченная серпилиями пальм, впадины лагун, обрамленные грубоидальными ромбодендронами, перистые гармоникки дюн, укороченные кабанчиками вокабул,— вот краткий перечень мировоззрения, которое открылось нам с «Лавра», когда мы подходили к Острову Теплых щенков.

Конечно, мы знали, что когда-нибудь попадем сюда, мечтали об этом, но боялись верить, что это начинает совершаться. Но это начинало.

Суер-Вьер, который прежде бывал здесь, рассказывал, что остров сплошь заселен щенками разных пород. И самое главное, что щенки эти никогда не вырастают, никогда не достигают слова «собака». Они остаются вечными, эти теплые щенки.

— Уважаемый сэр,— расспрашивали матросы,— нам очень хочется посмотреть на теплых щенков, но мы не знаем, что с ними делать.

— Как чего делать? — ответил Суер.— Их надо трепать. Трепать — вот и вся задача.

— А щекотать их можно? — застенчиво спросил боцман Чугайло.

— Щекотание входит в трепание,— веско пояснял капитан.

Совершенно неожиданно трепать щенков вызвалось много желающих. Чуть не весь экипаж выстроился у трапа, требуя схода на берег...

— А мне хоть бы одну серпилию пальм понюхать,— говорил Вампиров.

— Отойди от трапа! — ревел Пахомыч. — А то привезу с острова кусок грубоидального ромбодендрона и как дам по башке!

— А серпилии пальм нюхать нельзя,— объяснял Суер. — Человек, который нанюхался серпилий, становится некладоискательным. Если у него под ногами будет зарыт самый богатый клад, он его никогда не найдет.

Это неожиданно многих отпугнуло. Все как-то надеялись, что когда-нибудь мы напоремся на остров с кладом.

Под завистливый свист команды мы погрузились в шлюпку и пошли к острову. Подплывая, мы глядели во все глаза, ожидая появления щенков, но их пока не было видно. Причалив честь по чести, первым делом мы побежали к ближайшей серпилии пальм, разодрали ее на куски, как французскую булку, и нанюхались до одурения.

Суер серпилию нюхать не стал. Он разлегся под грубоидальным ромбодендромом и смеялся, как ребенок, глядя, как мы кидаемся друг в друга остатками недонюханной серпилии.

— А клада нам не надо! — орал Пахомыч. — Нам серпилия роднее! К ней бы только стаканчик вермута!

Ну, я налил Пахомычу стаканчик. Я знал, что вермут к серпилии расположен, и захватил пару мехов этого напитка.

Лоцман Кацман тоже запросил стаканчик, но тут капитан сказал:

— Уберите вермут. Слушайте!

В тишине послышался тихий, щемящий душу жалобный звук.

— Это скулят щенки,— пояснил Суер. — Они приближаются.

Тут из-за ближайшего кабанчика вокабул выскочил первый щенок. Радостно поскуливая, взмахивая ушами, виляя хвостом, он уткнулся теплым носом в грубые колени нашего капитана.

— Ах ты, дурачок,— сказал Суер,— заждался ласк.

— Угу-угу,— поскуливал щенок, и капитан начал его трепать.

Поверьте, друзья, я никогда не видел такого талантливого и веселого трепания! Суер щекотал его мизинцем и подбородком, гладил и похлопывал по бокам, хватал его за уши и навивал эти уши на собственные персты, чесал живот то свой, то щенячий, распушивал хвост и играл им, как пером павлина, бегал по его спине пальцами, делая вид, что это скачет табун маленьких жеребцов.

Со всех сторон из-за кабанчиков и ромбодендронов к нам повалили щенки. Это были лайки и терьеры, доги и немецкие

овчарки, пуделя и рейзеншнауцеры, дратхаары и ирландские сеттеры. И мы принялись их трепать. Вы не поверите, но иногда у меня оказывалось под рукой сразу по семь или по восемь щенков. Я катался с ними по траве и трепал то одного, то другого.

Пахомыч, нанюхавшийся серпилий, частенько путал щенков с лоцманом Кацманом, трепал его и подымал за уши над землей. Кацман совершенно не спорил и блаженно скулил, путая себя со щенками. Правда, поднятый за уши, он больше походил на кролика.

Должен заметить, что я трепал щенков, строго следуя примеру капитана, и за минуту оттрепывал по две, по три пары.

— Главная задача,— пояснял Суер,— оттрепать всех щенков до единого.

И мы трепали и трепали, и я не устал удивляться, какие же они были теплые. Никогда в жизни не видывали мы эдакой теплоты.

У Пахомыча в карманах обнаружилась ливерная колбаса. Он кормил ею дворняг, одаривал такс и бульдогов. Вокруг старпома образовалась целая свора жаждущих ливера щенков. Лоцман Кацман, совершенно превратившийся в щенка, тоже выпрашивал кусочек. Пахомычу приходилось отпихивать лоцмана левым коленом.

До самого вечера трепали мы щенков, а на закате стали прощаться. Суер плакал, как ребенок. Он снова и снова кидался на колени и перецеловывал всех щенков.

С большим трудом погрузились мы в шлюпку, кроме лоцмана, который катался по траве, разделяя со щенками прощальный кусок ливерной колбасы. Тут к нему подскочил какой-то кабанчик вокабул, боднул его в зад, и лоцман влетел в шлюпку.

А в шлюпке мы обнаружили какого-то совершенно неоттрепанного щенка. Ему ничего в жизни не досталось.

— Возьмем его с собою, капитан,— умолял старпом. — Оттрепем на борту, накормим. И команде будет веселей!

— Нельзя,— сказал капитан. — Ему нельзя жить с людьми. Ну, оттрепем, накормим, а там он превратится в собаку, и скоро умрет. Нет.

И мы оттрепали по очереди этого щенка, отпустили его, и он вплавь добрался до берега.

К сожалению, на «Лавра» мы так ничего и не привезли — ни серпилии палъм, ни грубоидального ромбодендрона. Правда, Суер прихватил с собой одну небольшую перистую гармонику дюн. Мы подарили ее боцману, и Чугайло играл иногда на ней тоскливыми вечерами.

ДЫРКИ В ФАНЕРЕ

Недели, наверное, с две, а то и с три-четыре мы никак не могли открыть никакого острова. Ну не получалось! Острова-то, не означенные на картах, мелькали там и сям, но мы то обшивали палубу горбылем, то мочили яблоки, то попросту ленились.

Сэр Суер-Вьер, утомленный открыванием все новых и новых островов, говорил:

— Невозможно открыть все острова на свете, друзья. Лично я открывать новые острова отказываюсь. Пусть на свете хоть что-нибудь останется не открытым мною.

И наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» пролетал мимо островов, с которых порой высывались на берег фиги и тянулись в сторону «Лавра». На других островах из джунглей торчали туземные рожи, измазанные повидлом, а в пампасах пели хором какие-то младенцы без набедренных повязок. Все это мелькало мимо наших бортов, пролетало, не задевая души. Только на одном берегу задела душу стоящая на горе корова. Верхом на ней сидело штук двадцать человек, а с десятков других добровольцев сосали ее необъятное вымя. Я долго раздумывал о судьбе этой коровы, но скоро и корова позабылась, развеялась ветром океанов.

Наконец, запасы питьевой воды у нас истощились, и капитану пришлось согласиться на открывание какого-нибудь острова. И остров не замедлил появиться на горизонте.

— Не знаю, есть ли на нем вода, — говорил Суер. — Но, возможно, найдется хоть что-нибудь питьевое.

— А пресное обязательно! — поддерживали мы нашего капитана.

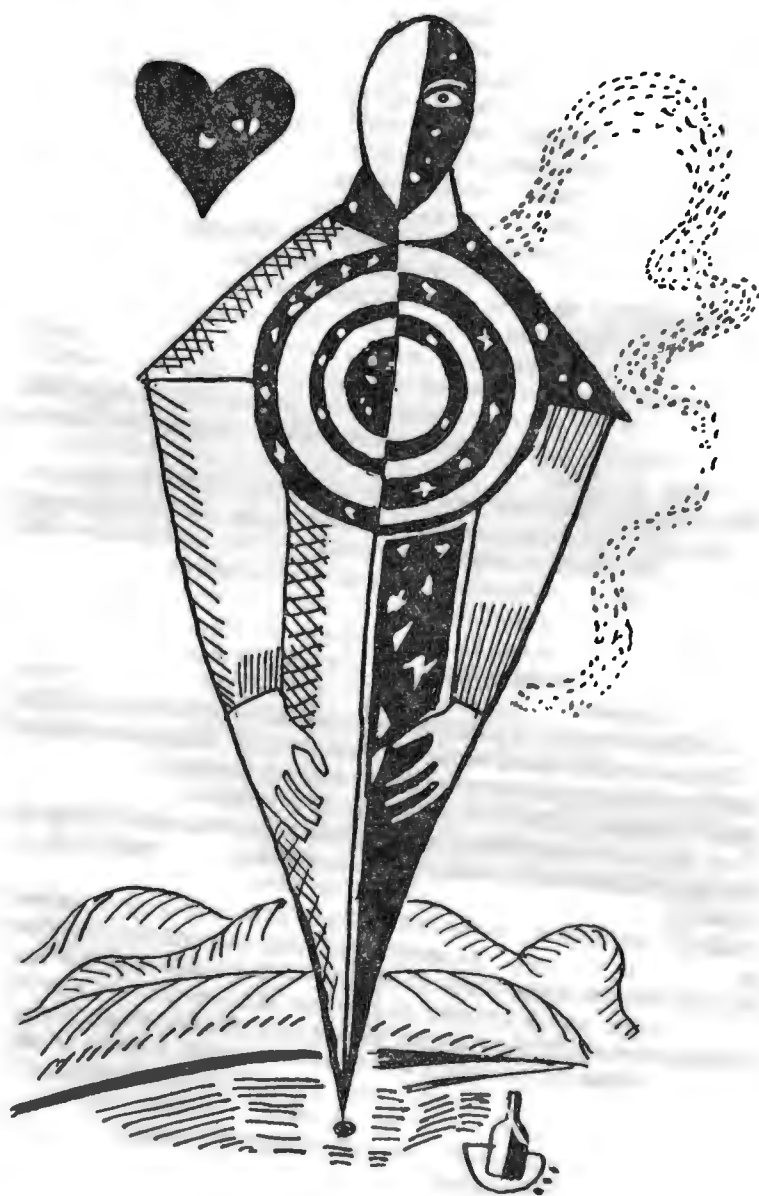
На берег мы взяли с собою бочки и баклаги, ведра и лейки, пустые бутылки и несколько матросов, которые должны были все это перетаскивать на борт. Не помню точно, кто там был из матросов. Кажется, Петров-Лодкин, Веслоухов. Возможно, и матрос Зализняк. А вот кочегара с нами не было. Впрочем, был. Конечно, был с нами и наш кочегар. Ковпак.

Новооткрываемый остров весь бы перерезан рвами, в которых и подозревалась вода.

Рвы эти и земляные валы что-то ненавязчиво напоминали, а что именно, мы не могли понять. Рядом с капитаном мы стояли на берегу, стараясь справиться со своей памятью, как вдруг послышался какой-то треск, и из ближайшего рва показался человек. Он был ромбической формы и стоял на одной ноге. И нога эта была какая-то такая — общая нога. Вы меня понимаете?

— Человек, — сказал Суер и указал пальцем.

Выслушав капитана, ромбический человек на общей ноге повернулся боком и тут же исчез.



— Исчез,— сказал Суер, а человек снова появился, повернувшись к нам грудью.

Что за чертовщина! Ромбический туземец явно вертелся. То он поворачивался к нам боком — и тогда его не было видно, то грудью — и тогда он виден был.

— Батенька! — закричал Суер на языке Солнечной системы. — Кончайте вертеться и подойдите поближе!

— Не могу, сударь,— послышался ответ на языке Млечного Пути,— здесь как раз двадцать пять метров.

Высказав это, он опять завертелся.

Тут мы рассмотрели его поподробней. Скорее всего, он был сделан из фанеры или другого древозаменителя, вот почему и не был виден сбоку. Вернее, был виден как тоненькая черточка. Если это была фанера, то уж не толще десятки. Кроме того, туземец был весь в дырках, которые распределялись по телу, но больше всего дырок было на сердце и во лбу.

— Ну, что вы на меня уставились, господа? — закричал он на языке смежных галактик. — Стреляйте! Здесь как раз двадцать пять метров!

Мы никак не могли понять, что происходит, возможно, из-за этих диалектов. Галактический сленг припудрил наши мозги. Наши, но не нашего капитана!

— Отойди на пятьдесят метров,— строго сказал он на этот раз на русском языке.

Фанерный отбежал, дико подпрыгивая на своей общей ноге.

— Обнажаю ствол,— сказал капитан и вынул пистолет системы Макарова.

— Стреляйте! — крикнул Фанерный, и капитан выстрелил.

Пистолетный дым опалил черепушку какого-то матроса, возможно, Веслоухова, а пуля, вращаясь вокруг своей оси, врезалась в фанеру.

— Bravo! — закричал простреленный, окончательно переходя на русский язык. — Bravo, капитан! Bravo! Стреляйте еще. Десятка!

Суер не заставил долго себя упрашивать и выпустил в фанеру всю обойму. Только один раз он попал в восьмерку, потому что лоцман Кацман нарочно ушипнул его за пиджак.

— Какое наслаждение! — кричал Фанерный. — Счастье! Вы не можете себе представить, какое это блаженство, когда пуля пронзает твою грудь. А уж попадание в самое сердце — это вершина нашей жизни. Прошу вас, стреляйте еще! В меня давно никто не стрелял.

— Хватит,— сказал капитан. — Патроны надо беречь. А вот вы скажите мне, любезный, где тут у вас колодец?

— Колодец вон там, поправее. В нем кабан сидит! Эй, кабан! Вылезай, старая ты глупая мишень! Вылезай, здесь здорово стреляют! Кабаняро! Вываливай!

Недовольно и фанерно похрюкивая, из колодца вылез здоровенный зеленый кабан, расчерченный белыми окружностями. Он повернулся к нам боком и вдруг помчался над траншеей, имитируя тараний бег.

— Стреляйте же! Стреляйте! — кричал наш ромбический приятель. — Делайте опережение на три корпуса!

Капитан отвернулся и спрятал ствол в карман нагрудного жилета. А лоцман Кацман засуетился, сорвал с плеча двустволку и грохнул сразу из обоих стволов! Дым дуплета сшибил пилотку с коцегара Ковпака, а сама дробь в кабана никак не попала. Она перешибла черточку в фамилии Петров-Лодкин, и первая половинка фамилии, а именно Петров, подлетела в небо, а вторая половинка — Лодкин — ухватила ее за ногу, ругая лоцмана последними словами, вроде «хрен голландский».

Кабан между тем развернулся на 630 градусов, побежал обратно и спрятался в свой колодец.

— Хреновенько стреляют, — хрюкал он из колодца фанерным голосом.

— Да, братцы, — сказал наш ромбический друг на общей ноге, — огорчили вы кабана. Не попали. А ты бы, кабан, — закричал он в сторону колодца, — бегал бы помедленней! Носишься, как будто тебя ошпарили!

— Эй, кабан! — крикнул Пахомыч. — У тебя там в колодце вода-то есть?

— Откуда? — хрюкал кабан. — Какая вода? Придумали еще! Дробью попасть не могут!

— Эх, лоцман-лоцман, — хмурился Суер, — к чему эти фанерные манеры? Зачем надо было стрелять?

— А я в кабана и не целился. Я в черточку целился. Попробуйте-ка, сэр, попадите в черточку в фамилии Петров-Лодкин. Признаюсь, эта черточка давно меня раздражала.

— Ну, что ж, — сказал Суер-Вьер, — благодарите судьбу, что вы попали не в мою черточку.

Между тем петровлодкинская черточка болталась в воздухе на довольно-таки недостижимой высоте.

— Эй ты, дефис! — орал матрос, лишенный черточки. — На место!

— Мне и тут хорошо, — нагло отвечал дефис, — а то зажали совсем. С одной стороны Лодкин давит, с другой — Петров. Полетаю лучше, как чайка.

— Ладно, хватит валять дурака, — решительно сказал Суер. — Эй, кабан, вылезай! Лоцман, одолжите ваш прибор.

Кабан выскочил и, недовольно хрюкая, побежал по прямой. Капитан пальнул, и кабан рухнул в траншею.

— Вот теперь неплохо, — хрюкал он. — Перебили мне сонную артерию! Давненько такого не бывало! А если вам вода

нужна — пожалуйста. У меня тут в траншее сколько угодно. С дождями натекло.

На звуки наших выстрелов из соседних рвов и щелей стали вылезать все новые фанерные фигуры. Были тут солдаты и офицеры, немцы и русские, душманы и башибузуки и чуть ли не весь животный мир: слоны, косули, лебеди, утки, медведи, зайцы — черт знает что! Они маячили над своими рвами, явно приглашая нас пострелять.

— Некогда, братцы! — кричал Пахомыч. — Воду надо таскать!

Пока мы таскали воду с берега на борт, ромбический человек, простреленный Суером, успокаивал своих сотоварищей:

— Не волнуйтесь, ребята! Они еще постреляют, когда воды наберут.

— Мы потом по всем по вам картечью с борта жажнем! — уверял их Пахомыч.

— Вы уж жахните, пожалуйста! Не подведите меня.

Между тем вся эта фанерная пинакотейка жалобно протягивала к нам свои простреленные десятки. Перепрыгивая рвы и траншеи, мы обошли с Суером этот трагический ряд мишеней. Я чувствовал, что капитан жалеет их и готов пострелять, но тратить даром патроны было некапитанской глупостью.

Суер-Вьер гладил слонов, жал руки офицерам. Одного простреленного душмана он много раз прижимал к сердцу. Тот был до того жалок и так мало прострелен, что мы насчитали всего 143 дыры.

— Пальните в меня, братцы, — просил душман.

Капитан не выдержал и с двух шагов пальнул ему в сердце.

А когда мы вернулись на корабль, Суер-Вьер велел зарядить пушку картечью, и мы жахнули по острову. Выстрел получился на редкость удачным: многие мишени, разбитые вдребезги, были выбиты из своих траншей. От пушечного грома в небо взметнулась сотня тарелочек, ну, тех самых допотопных тарелочек, по которым когда-то мы стреливали влет бекасинником.

Стая тарелочек перепугала петров-лодкинский дефис. В ужасе ринулся он с поднебесья вниз и, расталкивая боками Петрова и Лодкина, встал на свое место.

ОСТРОВ ПОСЛАННЫХ НА...

Необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана. Казалось — он вулканического происхождения, потом казалось — нет. И все же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях.

Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили,

что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности. Подведя «Лавра» поближе, старпом крикнул в мегафон:

— Кто вы?

Островитяне обрадовались нашему любопытству и дружно прокричали:

— Мы — посланные на...

— Ничего не понимаю, — сказал Суер. — Давайте подойдем к острову с зюйда.

«Лавра» привели к другому берегу, и старпом снова проревел в трубу:

— Кто вы?

— Мы — посланные на... — дружно ответствовали островитяне.

— Приходится констатировать, — пожал плечами Суер, — что это действительно люди, посланные на...

— А за что вас послали? — крикнул старпом.

— А по разным причинам, — дружелюбно поясняли наши островитяне.

— Ну и что вы теперь делаете?

— А ничего особенного. Стоим на этом каменном... посреди океана. Иногда хлебопашествуем. Бортничаем. Выращиваем сахарную свеклу.

— Но позвольте, — развивал беседу сэр Суер-Вьер, — признать, меня самого не раз посылали на... Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут на корабле, а вы на острове.

— О, что вы, капитан, — ответствовали посланцы. — Где-то между нами, конечно, имеется не только вы, но и вся ваша команда.

— Эй, ребята, — крикнул кто-то из посланцев, — нет ли среди нас Суера-Вьера или кого-нибудь из команды этого фрегата?

К нашему изумлению, островитяне слегка пораздвинулись, и к берегу протиснулись семь или восемь Суеров-Вьеров в капитанских фуражках. За Суерами продирались лоцманы Кацманы, а за ними пятнадцать штук меня. Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая:

— Да, да, это мы! А мы — это вы, посланные на... Вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем.

За Суером, за лоцманом, за мною стала продираться к берегу пожалуй что вся наша команда.

— Наши приехали, наши, — радостно гомонили они. — Хоть поглядеть на братьев.

Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы и многократные Семеновы, но особенно много оказалось боцманов Чугайло. Он измерялся сотнями. Это неожиданно понравилось капитану.

— Позовите боцмана,— приказал он.

Чугайло явился на палубу в каких-то полупортах, в подтяжке, крайне раздраженный тем, что его разбудили.

— В чем дело, кэп? — ревел он.— Чья вахта? Поспать не дадут. В чем дело?

— А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на... — И тут Суер, недолго думая, взял да и послал.

И что же вы думаете? Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке. А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана, и на острове становилось все больше и больше боцманов.

Чугайло терпел-терпел да вдруг взял да и всех нас послал на... и мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту.

Тут неожиданно разобиделись островитяне.

— И так места нет,— бубнили они,— а вы друг друга все посылаете и посылаете. А ведь вы не одни на свете. Вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на... Если вы уж так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из сановников или руководителей предприятий.

Ну, мы не стали спорить и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга. Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в их рядах. Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались.

— Ах,— сказал Суер,— надо отплывать, но все-таки напоследок я очень хочу послать такого-то товарища. Разрешите, братцы.

Мы дружно разрешили, и капитан послал.

Я крепился-крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана, взял да и послал одного там на... Послал, но тут же пожалел, такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно.

ОСТРОВ СЦИАПОД

Приближаясь к Острову Сциапод, мы несколько раз производили рекогносцировку и еще кое-какие действия.

Наши кое-какие действия сердили капитана, и он просил нас таких действий не производить. Но мы всё производили и производили...

Тут Суер плюнул и произвел такое действие, что мы сразу напугались и наши действия бросили производить.

— Вот и молодцы,— хвалил нас капитан,— а то все про-



изводите и производите... Посмотрите-ка лучше в подозрную трубу, что это там виднеется на острове.

Я посмотрел в трубу и в зарослях кривандий заприметил большую человеческую подошву голый ноги. Как некая крыша сарая или пагоды, сверкала она среди пальм и кактус. Пятка подошвы была обращена на зюйд, а мысок — на север. Подошва слегка поворачивалась то с зюйда на вест, то с норда на север.

— Весла на воду! — крикнул капитан.

Старпом кинул весла на воду, и мы попрыгали в шлюпку.

— Курс на пятку! — кричал Суер.

Вогнав наши весла в песок прибрежного ила, мы выскочили на берег и побежали в сторону подошвы, которая легко угадывалась среди пальм и кнуций.

— Осторожнее! — предостерегал Суер. — Не спугните его. Он раним и легко убегаем.

Но мы все равно, как скоты, шумно ломали лианы и пили воду из растений кривандий, откуда хлестал жидкий голландский сыр.

Наши шумные отсасывания не испугали подошву, и мы вышли на поляну, на которой и находился невиданный нами прежде Сциапод.

Прекрасная улыбка мелькнула на его бородатом лице, когда он увидел нас. Детские его глаза ни секунды не затуманились, и мы поняли, что наблюдаем действительную редкость, которая случайно сохранилась под небом великого Океана.

Действительно, как прекрасен был Сциапод, как невинен и скромнен был он, лежащий на спине! Его единственная нога с огромною подошвой обращена была прямо к солнцу, и, как зонтом, он прикрывался ею от палящих лучей раскаленного светила.

— О двуногийшие господа! — воскликнул он, когда мы приблизились. — Прошу вас скорее в тень моей подошвы, ибо даже ваши достойные ноги, собранные воедино, не смогут произвести тень моей ноги подобной.

Мы достали пиво, виски, помидоры и уселись вокруг Сциапода в тени его великой и одинокой ноги.

— Ну как? — добродушно спрашивал нас одноногий монстр. — В тени-то полегче будет?

— Весьма и весьма сладостная тень, — отвечал тепелюбивый лоцман Кацман. — В тени вашей подошвы куда приятней, чем под тентами ресторана «Савой-Берлиндер».

— А почему у вас всего одна нога? — спрашивал Пахомыч. — Что это? Боевые действия или хирургия?

— Да нет, — весело отвечал Сциапод. — Мы, Сциаподы, с детства рождаемся с одной ногой, чем и отличаемся от вас, двуногих, а также от трехногих марсиан и восьминогих моллюсков.

— Но простите, милостивый государь, — сказал Суер, — с

ногою все ясно, но интересует один вопрос: чем вы, собственно, занимаетесь?

— Как то есть чем! — засмеялся Сциапод. — Лежу здесь и ногой от солнца прикрываюсь.

— А как снискиваете хлеб свой насущный?

— Позвольте, господа, а зачем мне хлеб? Вот вы сидите в моей тени, пьете пиво, виски, а мне ведь даже шампанского не предложили. Впрочем, я не обижаюсь. Никому еще не приходило в голову, что Сциаподам нужно что-нибудь, кроме тени от подошвы. Поверьте, я только защищаюсь от солнца, а на шампанское не рассчитываю.

— Так, значит, вы не сеете и не жнете? — строго спросил Суер.

— Не сею, — добродушно разъяснял Сциапод, — и жать не умею. Но, поверьте, дружок, не так уж просто следить за продвижением светила и поворачивать свою подошву вовремя. Это тоже работа, правда, приятная и не нарушающая сущности моей души.

— Не сеет, не сеет, — проворчал Пахомыч. — Небось отвези его куда-нибудь в Орехово-Зуево, сразу бы засеял и зажал.

Суер поднес шампанского работнику личной подошвы. Сциапод с удовольствием хлебнул.

— Я вижу, что вы достойные посетители и открыватели островов. Прошу вас, залезайте на мою подошву. И я покачаю вас над вершинами пальм и кривандий.

И мы, захватив пиво и помидоры, забрались на раскаленную подошву. Только тут я понял, что, кроме необходимой Сциаподу тени, он получает нужнейшее для его ноги тепло. Нога у него, очевидно, была мерзлячка.

Мы славно попили на подошве пивка и кидались помидорами в пролетающих попугаев.

Только под вечер попрощались мы с нашим единогогим другом, обещая прислать ему грубый шерстяной носок на более промозглые времена.

БОДРОСТЬ И ПУСТОТА

...Не сразу, далеко не сразу разобрали мы, что это за прямоугольники стоят повсюду на взгорках, дорогах и просто на траве открываемого нами нового острова. К прямоугольникам же, большей частью деревянным, приделаны были какие-то штуки, вроде дверей с ручками бронзового литья.

Только потом мы догадались, что это действительно двери, а прямоугольники — дверные косяки. К удивлению, никаких сооружений — домов, гаражей или сараев, — к которым эти косяки были бы пристроены, видно не было. Косяки с дверями стояли

сами по себе, и двери были распахнуты. Они поскрипывали под морским ветерком, раскачиваясь на петлях.

Кое-где над открытыми дверями прямо в небе висели окна, также раскрытые настежь. На окнах колыхались занавесочки.

— Обычная островная чертовня, — сказал Пахомыч, зевнув в сторону острова. — Какой-то болван понаставил всюду косяков. Но вот как он в небо окна подвесил?

— На вашем месте, старпом, я бы поостерегся называть болваном неизвестное пока лицо, — сказал Суер-Вьер. — А вдруг это божественный промысел?

— Свят-свят, — сказал старпом. — Да зачем же Господу заниматься такими пустяками, как дверные косяки?

— Косяки здесь ни при чем, — сказал Суер. — Главное — двери. Открытая дверь — это знак, это приглашение войти. Давайте же войдем в эти двери, раз уж нас приглашают.

На этот раз так получилось, что вместо старпома и лоцмана с нами на остров отправился мичман Хренов.

Оказавшись на берегу, Хренов взбудоражился. Спотыкаясь, вбежал он в ближайшую открытую дверь, кругом обежал косяк и кинулся нам навстречу.

— Я вошел в открытую дверь! Я вошел в открытую дверь! — кричал он, подпрыгивая, как ягненок.

Вслед за мичманом и мы с капитаном вошли в открытую дверь.

— Ну и что ты чувствуешь? — спросил меня капитан, когда мы оказались по другую сторону.

— Пока неясно, сэр. Кажется, прибавилось немного бодрости.

— Вот именно! — кричал надоедливый Хренов. — Именно бодрости! Бежим к другой двери!

Посетив следующую открытую дверь, мичман почувствовал совсем необыкновенный прилив бодрости.

— Мне чего-то очень хочется! — вскрикивал он. — Я чувствую такую бодрость! Такую зверскую бодрость!

— Чего именно хочется? — строго спросил капитан.

— Сам не знаю точно, — отвечал мичман. — Но, пожалуй, я бы хотел иметь почетный диплом королевского общества дантистов, два чемодана барахла, дезабилье и собрание сочинений Декарта.

— Вполне понятные желания, — сказал Суер. — Даже удивительно, к каким великим замыслам приводит прилив бодрости. А тебе, друг мой, — обратился Суер ко мне, — ничего не хочется?

— Хотелось бы ясности, сэр. Обычно, когдаходишь в открытую дверь, тебя что-то ожидает. Ну, скажем, бифштекс с луком или девушка с персиками. А здесь нету ничего — только бодрость и пустота.

— Но это тоже немало,— отвечал капитан.— Бодрость и пустота — целая философия. К тому же пустота, наполненная бодростью, не совсем чистая пустота, это пустота взбодренная.

— Извините, сэр,— возразил я,— но зачем нам бодрость в абсолютной пустоте? В пустоте я и без бодрости хорош. Бодрость всегда хочется к чему-нибудь применить.

— Да, да, кэп! — закричал и Хренов.— Давайте применим нашу бодрость, чего ей зря пропадать?

— Пожалуйста,— сказал Суер,— применяйте. Вон еще одна открытая дверь, можете войти.

Хренов, а за ним и мы с капитаном вошли в очередную открытую дверь.

— И здесь ничего нету,— сказал мичман,— а бодрости до хрена. Прямо не знаю, что и делать.

Мичман пригорюнился. Сел на порог, подперев щеку кулачком.

— Сломать к чертовой матери все эти двери! — сказал он.— Вот и применение бодрости! — И он пнул ногою косяк.

— Стоп,— сказал капитан.— Это уже бодрость, переходящая в варварство. Ладно, мичман, закройте глаза и считайте до двадцати семи. С окончанием счета прошу войти вон в ту открытую дверь.

Мичман послушно закрыл глаза, а капитан подмигнул мне, и мы обошли следующий дверной косяк и уселись на травку. Я достал из бушлата бутылку «Айгешата», лук, соль, крутые яйца и расставил бокалы.

Аккуратно просчитав положенное, мичман открыл глаза и вошел в открытую дверь.

— Ага! — закричали мы с капитаном.— Хренов пришел!

— Вот это дверь! — восхищался мичман.— Яйца! «Айгешат»! Вот уж бодрость так бодрость!

Мы хлебнули, съели по яйцу.

— Ну а теперь, мичман, ваша очередь ожидать нас за открытой дверью.

— Идет! Считайте до десяти и валите вон в ту квартиру напротив.

Честно прикрыв глаза, мы с капитаном досчитали до десяти и вошли в дверь, за которой таился Хренов. Он лежал на травке и, когда увидел нас, засиял от радости.

— А вот и вы! — закричал он.— А я-то давненько вас поджидаю! Скорее выкладывайте, что принесли.

— Погодите, в чем дело? — сказал я.— Мы вас встречали по-честному, а у вас даже стол не накрыт!

— А зачем его накрывать? Я же знаю, что у вас есть остатки «Айгешата».

— Мы его допили по дороге,— мрачно сказал я.

— Да как же это вы успели? — расстроился мичман. — Эх, надо было до трех считать.

Мичман поник, прилив бодрости сменился отливом.

— Все, — сказал он. — Больше я ни в какую открытую дверь не пойду.

Он уселся на песочек на берегу, а мы с капитаном прошли еще несколько дверей, и за каждой нас ничего не ожидало, кроме травы и мелких цветочков, океанской дали и прохладного ветерка.

— А это куда важнее, чем «Айгешат» с яйцами, — пояснял капитан.

— Я с вами согласен, сэр, но остатки «Айгешата» Хренову не отдам.

— Давай сами допьем его за какой-нибудь дверью.

И мы вошли в очередную дверь и чудесно позавтракали, овеваемые ветром и отделенные от мичмана десятками открытых дверей.

— Мы совсем забыли про окна, — сказал Суер-Вьер, — надо бы заглянуть хоть в одно окно, посмотреть, что там за окном. Все-таки интересно.

— Высоковато, сэр. Никак не дотянуться.

— Давай-ка я заберусь тебе на плечи.

И капитан забрался ко мне на плечи, глянул в окно.

— Ну что вы там видите, сэр?

— Много-много интересного, — рассказывал капитан. — Я вижу камин, в котором пылает полено, вазы с цветами, бифштекс с луком и девушку с персиками.

— Ну а девушка-то, что она делает?

— Улыбается, на бифштекс приглашает.

— Так залезайте в окно, а мне потом какую-нибудь веревку кинете.

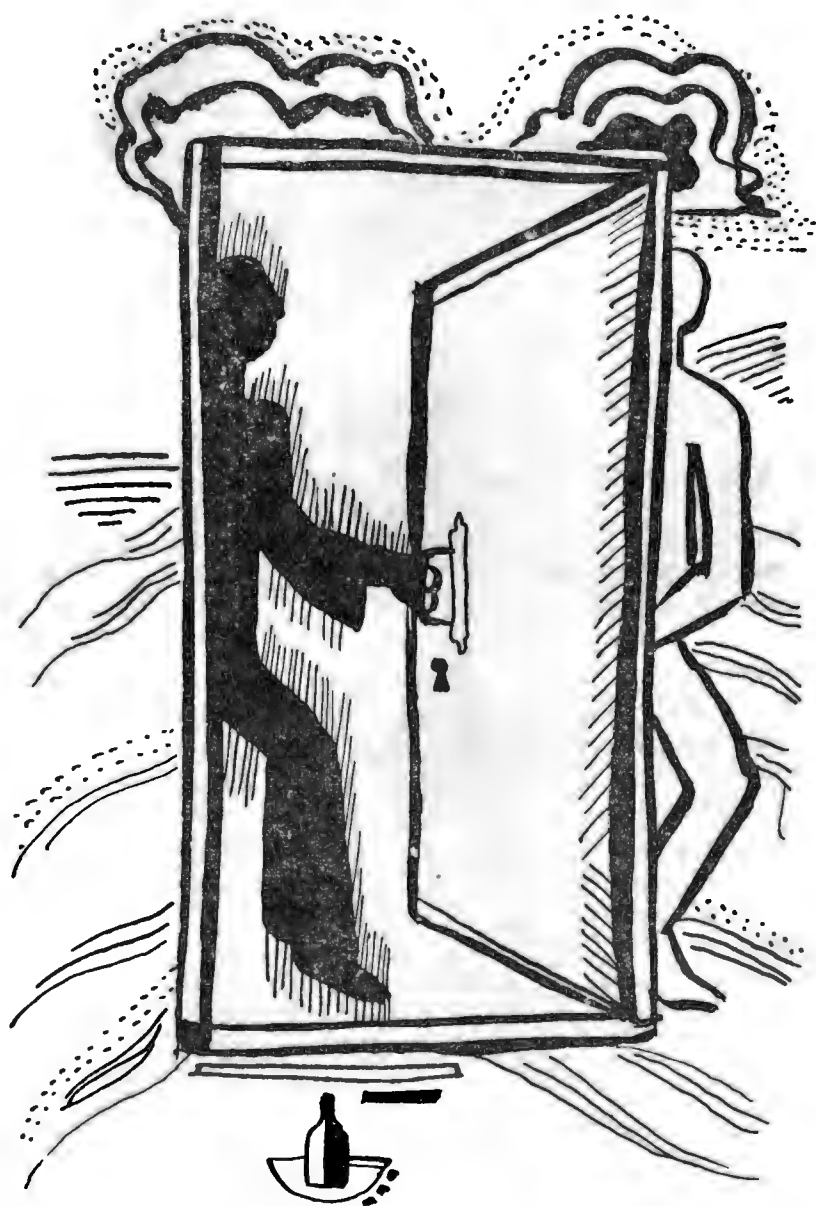
— Подсади еще немного.

Капитан подтянулся, повис на подоконнике и скрылся в глубинах окна.

Я, конечно, чрезвычайно опасался, что достойный сэр свалится по другую сторону подоконника и расшибется о землю. Но подобного не произошло. Сэр Суер-Вьер исчез, а окно по-прежнему висело в воздухе, и колыхались его занавесочки.

Некоторое время я растерянно стоял под окном, осознавая исчезновение капитана.

Вдруг из окна высунулась рука и кинула мне веревочную лестницу. И я полез по этому трапу наверх.



СОДЕРЖАНИЕ

САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ	5
БОРЬБА БОРЬБЫ С БОРЬБОЙ. <i>Рассказы</i>	165
Чайник	167
Картофельная собака	170
Капитан Клюквин	179
Белозубка	185
Нулевой класс	190
Ножевик	193
«Когда-то я скотину пас...»	197
Солнечное пятно	202
Четвертый венец	205
Красная сосна	212
Сиротская зима	220
От красных ворот	234
— Слушай, дерево	258
Веселье сердечное	268
На барсучьих правах	298
◊ Клеенка	309
◊ Нюрка	314
◊ Стожок	316
◊ Выстрел	317
◊ Чистый дор	320
◊ Вода с закрытыми глазами	322
СЭР СУЕР-ВЫЕР (<i>Фрагменты пергамента</i>)	326

Литературно-художественное издание

КОВАЛЬ Юрий Иосифович

ОПАСАЙТЕСЬ ЛЫСЫХ И УСАТЫХ

Повесть и рассказы

Редактор

Н. В. Иночкина

Художественный редактор

Н. С. Антонов

Технический редактор

А. Ф. Берникова

Корректор

О. И. Поливанова



ИБ № 261

Сдано в набор 28.06.93. Подписано к печати 30.09.93. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,0. Усл. кр.-отт. 24,0. Уч.-изд. л. 22,18.

Тираж 100 000 экз. Заказ 1182. С 13.

Издательство «Книжная палата». 127018 Москва, ул. Октябрьская, д. 4, стр. 1.
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати Российской Федерации.
127018 Москва, Сушецкий вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Коваль Ю. И.

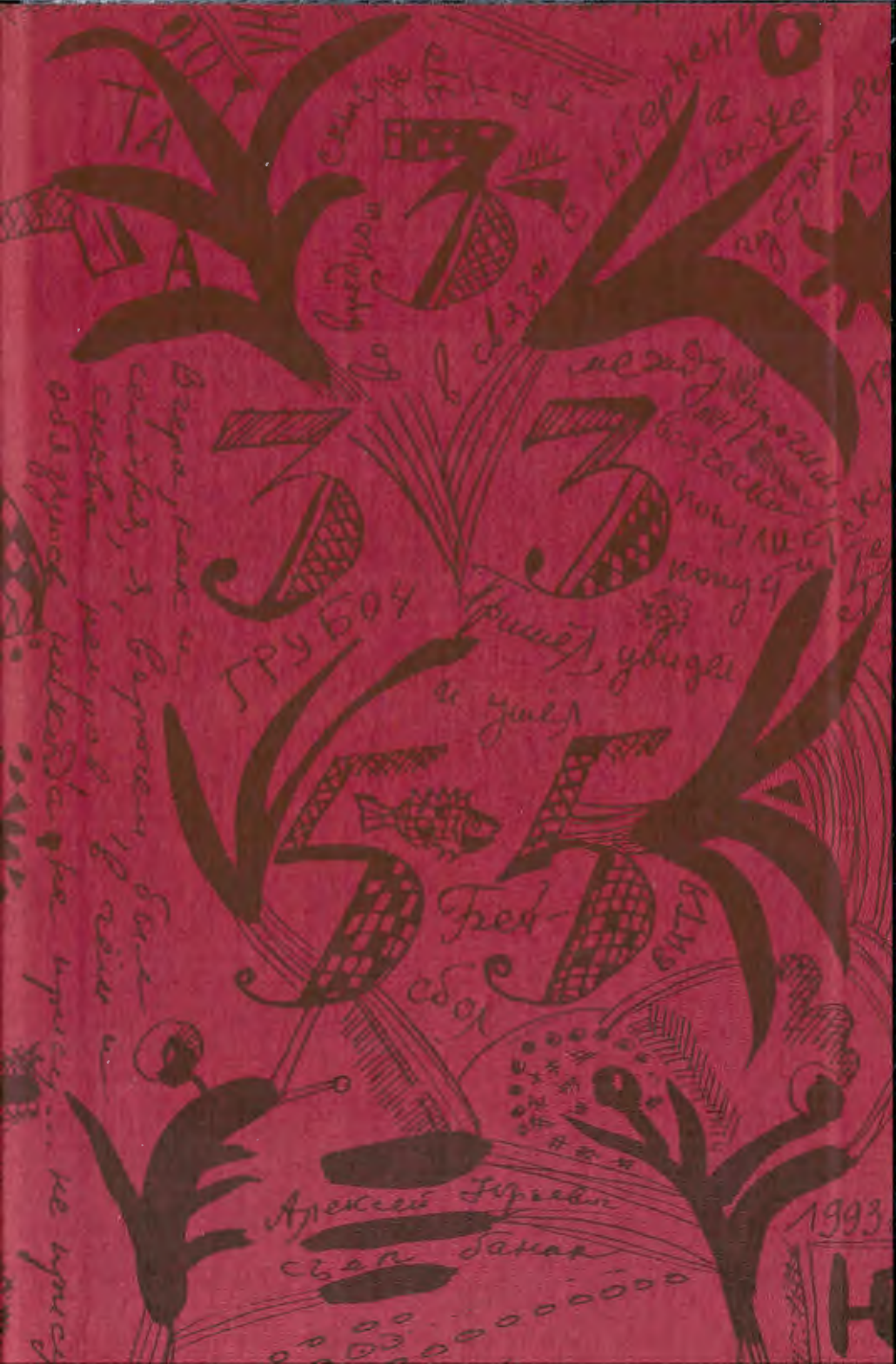
K56 Опасайтесь лысых и усатых: Повесть и рассказы.— М.:
Изд-во «Кн. палата», 1993.— 352 с.
ISBN 5-7000-0404-6

На «самой легкой лодке в мире» отправляется в увлекательное путешествие по живописным северным озерам герой повести Юрия Коваля, писателя, знакомого многим читателям по «Приключениям Васи Куролесова», «Недопеску» и другим интересным произведениям. Рассказы, вошедшие в сборник, отличаются юмор, лиризм, философия. Книжки Юрия Коваля читают и дети, и их родители.

К 4702010201-010
008(01)-93 Без объявл.

ББК 84Р7





Возраст 21
состав, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ГРУБОЧ

Финиш, убога
и убога

Ред-
сбо

Алексей Тугилов
Сван Талан

1993

